

Сергей
Колбасьев

Повести
Рассказы



Мурманское
книжное издательство · 1981

Печатается по изданию:
Сергей Колбасьев. Арсен Люпен. Повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1970.

Художник В. М. СЕМЕРЯКОВ

Колбасьев С. А.

К60 Повести. Рассказы. — Мурманск: Кн. изд-во, 1981.— 272 с.

В настоящее издание включены повести известного советского писателя «Арсен Люпен», «Джигит», «Река» и рассказы из книг «Поворот все вдруг» и «Правила совместного плавания»,

07302-18
К М150(03)-81 19-81

Р 2

© Оформление. Мурманское книжное издательство, 1981 г.

«МОРЯКИ ЧЕТЫРЕХ МОРЕЙ, НО ОДНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КРОВИ»

По-разному складываются литературные судьбы. Есть писатели, щедро наделенные талантом, ообласканные судьбой, уверенно держащие в руках синюю птицу удачи. Но есть и иная категория писателей. Кажется, дано им все — дарование, работоспособность, литературный опыт и мастерство, обилие жизненных впечатлений и — что далеко не самое последнее — настойчивое желание рассказать «о времени и о себе». Но судьба распоряжается по-своему — в силу объективных, а порой и субъективных, причин имена этих писателей оказываются в тени, и все, что связано с их творчеством, зарастает потихоньку пресловутой «травой забвения».

К таким писателям, по-видимому, следует отнести одного из зачинателей советской маринистики Сергея Адамовича Колбасьева, счастливо сочетавшего в себе разносторонние дарования, энциклопедическую образованность, прекрасные качества в высшей степени честного и порядочного человека.

Сергей Колбасьев родился в марте 1899 года* в городе Одессе.

Четырнадцатилетним юношей Сергей связывает свою жизнь с Морским кадетским корпусом в Петербурге, одним из наиболее привилегированных учебных заведений в царской России. В 1918 году старший гардемарин Колбасьев, так и не получив законченного военно-морского образования, вступает в ряды Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Мурман, многомесячные кровавые сражения с белогвардейцами в составе красных военных флотилий на Волге и Азовском море, Севастополь, снова Петроград — таковы этапы военной биографии С. Колбасьева. С детства увлекаясь ли-

* Сведения, приведенные Литературной энциклопедией о том, что писатель родился в 1898 году в Петербурге, неверны. Это подтверждается свидетельством о рождении Сергея Колбасьева, выданным Херсонской духовной консисторией, а также хранящимся у дочери писателя шутивым юбилейным дипломом, которым к своему 30-летию — в 1929 г. — наградил Сергей Колбасьев свою мать Эмилию Петровну «за высококвалифицированные услуги и неустанные труды на благо российской литературы».

тературой, превосходно зная четыре иностранных языка, Сергей много читает, пытается писать сам. Большое влияние оказывает на него Лариса Рейснер, которая в годы гражданской войны служила на Волжской военной флотилии.

Демобилизовавшись в начале 1922 года по личному ходатайству наркома просвещения А. В. Луначарского перед командованием Морских Сил Республики, он с головой уходит в литературную жизнь Петрограда. В то время среди многих молодых литераторов господствовал культ Н. С. Гумилева, этого «русского Киплинга», как его иногда называли. Не избежал модного увлечения и Сергей Колбасьев, в своих стихах он подражает Гумилеву, с которым был близко знаком. В книге «Огненный столп» (Петроград, 1921 г.) Н. С. Гумилев поместил стихотворение «Моим читателям». В нем есть такие строки: «Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над южным морем читал мне на память мои стихи». Это о Колбасьеве, о встрече с ним в Крыму, освобожденном от Врангеля. Красный военмор Колбасьев занимал в ту пору должность начальника дивизиона канонерских лодок.

Вместе с другом и поэтическим единомышленником Николаем Тихоновым Сергей Колбасьев создает литературную группу, которую они называли «Островитяне». В нее вошли также В. Рождественский, Е. Полонская, К. Вагинов и др. «Островитяне» выпустили сборник одноименного названия (в него вошли стихи С. Колбасьева). В 1922 году Сергей Адамович пишет и издает поэму «Открытое море» — произведение сложное, многоплановое, написанное под явным влиянием символизма. На стихи «Островитян», прежде всего Н. Тихонова и С. Колбасьева, обратил внимание В. Брюсов.

В начале 1923 года Сергей Колбасьев становится дипломатом, работает в Советском полпредстве в Афганистане, а затем в Советском торгпредстве в Хельсинки.

В 1928 году Сергей Колбасьев возвращается на Родину. За его плечами интересная, бурная, насыщенная богатейшими впечатлениями жизнь. Казалось бы, есть о чем писать, есть основа не одной книги. И все же Сергей Адамович остается верен своей, давно выношенной под сердцем теме — Красному Военному Флоту. «Лета к суровой прозе клонят», и Колбасьев, отходя от стихов, с пером в руке вспоминает о том, чему был свидетелем в грозные годы гражданской войны.

Новый творческий импульс дало Колбасьеву вступление в Ленинградско-Балтийское отделение ЛОКАФа (Литературного объединения Красной Армии и Флота). Литературное объединение приковывало внимание читателя к оборонной тематике, воспитывало в советских людях чувство непрестанной бдительности, го-

товности к решающим схваткам с империализмом. Локафовцы Ленинграда и Балтики создали в своей среде атмосферу доброжелательности, творчества, суровой взаимной требовательности.

Лучшие произведения, написанные С. Колбасьевым в середине и конце 20-х годов, вошли в книгу «Поворот все вдруг» (1930 г.). В семи остросюжетных рассказах сборника вырисовывается магистральная тема творчества С. Колбасьева, во многом построенная на автобиографическом материале, заявленная в самом названии книги. Писатель «обыгрывает» флотский сигнал, который обязывает маневрирующие корабли одновременно («все вдруг») повернуть на новый курс. Резкий поворот совершают герои Колбасьева — офицеры царского флота, сумевшие в круговерти страшных штормов, обрушившихся на Россию, изменить свой политический курс, выбрать в качестве главного ориентира цель, указанную Лениным, партией большевиков.

Из рассказов сборника «Поворот все вдруг» в предлагаемую вашему вниманию книгу вошло два — «Поход „Революции”» и «Рассвет».

В названиях произведений Сергея Колбасьева нередко заключен глубокий смысл, они порой вырастают в символы, их образный строй хорошо передает пафос и взволнованность содержания. Показателен в этом смысле рассказ «Поход „Революции”». Прочтите его, и вы убедитесь, что речь идет не только о героизме и самоотверженности экипажа тральщика, носившего высокое звание «Революция». Автор сумел подняться до серьезного социально-философского обобщения, рассказ воспринимается как повествование о победоносном, никакими в мире силами непреодолимом шествии Революции.

Тема «Поворота все вдруг» развивается С. Колбасьевым в трилогии, написанной в начале и середине 30-х годов и состоящей из повестей «Арсен Люпен», «Джигит» и «Река». Все эти произведения объединены «сквозными» героями — Василием Бахметьевым и Семеном Плетневым. Блестящий гардемарин Морского корпуса, один из участников остроумных каверз, направленных против начальства и проделываемых от имени Арсена Люпена, популярного в России в начале века персонажа детективных романов и рассказов французского писателя Мориса Леблана, Бахметьев начинает понимать, что далеко не все ладно в той государственной системе, которой он, завтрашний морской офицер, должен служить верой и правдой. Он знакомится с революционером матросом Семеном Плетневым, под напором жизни мировоззрение Бахметьева дает первую трещину.

Процесс размыwania кастовых предрассудков Василия Бахметьева продолжается в «Джигите». Большевики, в их числе —

Плетнев, ведут революционную работу весной 1917 года, и команда миноносца «Джигит» решительно становится на их сторону. Так юный офицер проходит революционные университеты.

Логическим завершением мировоззренческой перестройки Василия Бахметьева стал его приход в Рабоче-Крестьянский Красный Флот, когда в 1918 году началась гражданская война (повесть «Река»). Перед нами красный военмор Бахметьев, командир корабля в составе речной флотилии, которой командует Семен Плетнев, выдвинутый революцией на свой высокий пост. С каждым днем все понятнее становятся Бахметьеву идеалы, за которые он воюет, проявляя инициативу, бесстрашие и удалость. Красная флотилия одержала внушительную победу над врагом, и в этом — немалая заслуга Василия Бахметьева, бывшего офицера, а ныне сознательного борца за дело трудового народа.

К трилогии хронологически и тематически примыкает еще одна повесть (ее в этой книге нет) — «Салажонок» — одно из самых поэтических, романтико-героических произведений Сергея Колбасьева.

В полный рост перед читателем встают реальные трудности, которые приходилось преодолевать красным военморам: не хватало людей, продовольствия, артиллерийских снарядов, недоставало самого главного — кораблей, и громкое название «канонерская лодка» присваивалось переоборудованным на скорую руку землечерпалкам, буксирам, баржам. «Суда были разные... Командиры тоже, — со свойственной ему экспрессивностью пишет С. Колбасьев в повести «Салажонок». — Только команды были однородны — моряки четырех морей, но одной революционной крови».

В 1935 году С. Колбасьев выпускает в свет новую книгу рассказов — «Правила совместного плавания». Раскрывая характеры людей, проходящих службу на кораблях Советского Военно-Морского Флота, автор как бы напоминает о нормах общечеловеческого бытия, о том, как следует вести себя с товарищами по службе, с начальниками, с подчиненными, чтобы не уронить своего доброго имени, — отсюда и название книги.

Из «Правил совместного плавания» в эту книгу вошел лишь один рассказ, название которого было вынесено на обложку сборника. Здесь нам снова встречается старый знакомый Семен Плетнев, на этот раз командир дивизии эсминцев, умудренный житейским и служебным опытом человек. Именно он дает уроки «правил совместного плавания». Прототипом Плетнева служил (читателю, наверно, небезынтересно будет узнать об этом) известный советский морской командир, первый командующий Северной военной флотилией (1933—1935 гг.) Захар Закупнев, которого Колбасьев хорошо знал на протяжении многих лет. Что же касается помощника командира Клеста, то это не кто иной, как Валентин

Дрозд, ставший позднее видным советским флотоводцем, вице-адмиралом, погибший в годы Великой Отечественной войны.

Работая целеустремленно и плодотворно, Сергей Адамович в 30-х годах активно печатал отдельными изданиями и в периодике не только свои, оригинальные произведения, но и романы, которые он переводил с английского и французского.

Сергей Колбасьев — подлинный мастер художественной прозы, превосходный стилист. Написанные пластичным языком, с юмором, его повести и рассказы занимательны в первоначальном смысле этого слова, динамичны, отличаются спружиненным, быстро развивающимся сюжетом.

Самобытный и яркий писатель, С. Колбасьев не замыкался в рамках литературы, его с равным основанием можно было отнести и к «лирикам», и к «физикам». Он был одним из первых теоретиков и пропагандистов советского джаза, знатоком радио (написал даже несколько книг по радиodelу), изобретал устройства для записи человеческого голоса, собрал богатейшую в свое время коллекцию грампластинок, увлекался живописью, парусным спортом, искусно строил модели кораблей.

Внешне красивый, обаятельный человек, Сергей Адамович был блестящим рассказчиком-импровизатором, мог часами читать наизусть Лермонтова и Блока, его квартира на Моховой улице в Ленинграде была своего рода артистическим клубом. Друзья-джазисты даже посвятили С. Колбасьеву музыкальную композицию «Блюз Моховой улицы».

И вместе с тем С. Колбасьев очень ответственно относился к своему писательскому призванию — систематически работал над рукописями (не менее восьми часов ежедневно), упорно отделяя каждую строку.

Сергей Адамович Колбасьев прожил всего лишь тридцать девять лет. Он умер в расцвете сил, не воплотив в жизнь большинства своих замыслов и намерений.

Вашему вниманию, читатель, предлагается, по сути дела, сборник избранных произведений Сергея Колбасьева. Давайте же вместе с автором погрузимся в сложные перипетии классовой борьбы и гражданской войны на реках и морях, станем свидетелями подвигов красных военморов в боях с белыми и интервентами, подружимся с благородными и честными людьми — Василием Бахметьевым, Александром Сейбертом, Григорием Болотовым, от души посмеемся над похождениями незадачливого Луки Пустошкина. И это, пожалуй, лучшая память замечательному писателю — Сергею Адамовичу Колбасьеву.

Яков Черкасский

Арсен Люпен

ПОВЕСТЬ

1

Впервые столовый зал я увидел на письменном экзамене по алгебре, и он показался мне необъятным.

В нем было расставлено свыше сотни столов, разделенных широкими проходами, и за каждым столом сидело по одному экзаменуемому.

Плоский потолок и огромная пустота наверху. Высокие сводчатые окна, а между ними на зеленых стенах мрамор и золото и связки знамен. Бронзовая статуя Петра, и в проходах между столами почти такие же неподвижные, но, к сожалению, всевидящие офицеры.

И тишина, как в склепе, и холод в голове и руках, и смертельное томление квадратных уравнений. И абсолютное одиночество.

Потом я помню этот зал совсем иным.

Обед. Роты строем входят в столы. Сигнал «на молитву». Хор восьмисот голосов.

«Очи всех на тя, господи, уповают...»

Но, уповая, они не теряют из виду лежащей на самом краю хлебного блюда горбушки, ибо она есть самое вкусное из всей пищи во благовремени.

Второй сигнал горниста, шум раздвигаемых скамей — и сразу сплошной гул самых приятных на дню разговоров и деловитого звяканья ложек.

Он становился даже уютным, этот зал, но таким он был не всегда.

Еще я помню его в нестерпимом сиянии всех люстр, в блеске паркета и золотого шитья на черных мундирах, когда весь батальон стоял в ротных колоннах, имея оркестр на левом фланге, и вице-адмирал с седым клином бороды на красной орденской ленте, торжественно кашлянув, произносил:

— Здравствуйте, гардемарины, кадеты и команда!

Сейчас из всех его измерений мне почему-то вспоминается только одно: длина тридцать три сажени — как раз длина шестисоттонного миноносца. Не представляю себе его площади, но знаю, что на балах, под мощный духовой оркестр, в нем танцевало до двух тысяч пар.

Он был огромным, этот зал, но ночью становился еще больше. Раздвигаясь, уходил в темноту и казался совершенно бесконечным. Тогда стоявший в нем славный бриг «Наварин» был большим настоящим кораблем, а дежурная лампочка над бригам — звездой и, точно на штилевом море, узкой, скользящей полосой отражалась на полу.

Смутный силуэт Петра, тусклый блеск увенчанных георгиевскими лентами досок, тени знамен и флагов — здесь была вся романтика и вся история двухсот с лишним лет, имена героев и трофеи их подвигов.

«Государю императору благоугодно было повелеть, чтобы флаг с истребленного неприятельского монитора хранился в стеях Морского училища... Жалуем ему ныне гюйс, взятый пароходом «Владимир» при пленении египетского парохода «Перваз-Бахри»... Вид сего флага да возбудит в младых питомцах сего заведения, посвятивших себя морской службе, желание подражать храбрым деяниям, на том же поприще совершенным».

Здесь оглашались эти высочайшие рескрипты. Здесь перед шестью монархами одно за другим церемониальным маршем проходили молодые поколения офицеров российского флота. Здесь звучало громовое «ура» победам при Наварине и Синопе.

И здесь же однажды, в торжественный час обеда, на хорах появилась огромная, аршинными буквами, надпись: «Дермо».

2

По залу пронесся гул нескрываемого одобрения, и дежурный по корпусу старший лейтенант Посохов, расплескивая щи, вскочил из-за стола.

Это его звали Иван Дермо, и прозвище свое — кстати сказать, заслуженное — он знал.

— Дер-мо! — хором провозгласил какой-то отдаленный стол, и внезапно дежурный по корпусу совершил поступок, не предусмотренный никакими уставами

или положениями, а именно — зарычал и выхватил саблю.

Толстый и красный, похожий на памятник, с гневно торчащими усами и обнаженным оружием, он был настолько великолепен, что зал не выдержал:

— Руби! Бей его, я его знаю! Ура!

И над всем этим безобразием висел плакат, который нужно было сорвать, истребить, уничтожить! Посохов метнулся к хорам и взмахнул саблей.

— Вперед! — крикнуло несколько человек сразу. — На abordаж!

Но тут Посохов вспомнил, что он старший лейтенант и здесь командир, а те, что кричат, просто паршивые мальчишки. С лязгом бросил саблю в ножны и, круто повернувшись на каблуках, пошел прямо к столам.

Лицо его стало черным и щеки дергались, и там, где он проходил, была тишина. Зато еще громче веселились все остальные столы — впереди, позади и на другой стороне прохода. И, точно в бреду, не было никакой возможности с ними справиться, а мерзостный плакат всё еще висел на хорах.

— Дневальный! — закричал Посохов, и сам не узнал своего голоса. — Убраты!

— Ку-ку-ре-ку! — совсем так же, по-петушиному, отозвался кто-то за его спиной, и он снова перестал понимать, что с ним делается.

— Красота! — сказал старший унтер-офицер Василий Бахметьев, и сидевшие за его полустольем кадеты четвертой роты разразились восторженным «ура!».

— Тише, молодежь! — остановил их Бахметьев, старший на целых два года, а потому в их обществе почти мудрый и чуть склонный к иронии. — Не теряйте чувства меры и не старайтесь отличиться. Лучше давайте послушаем многоуважаемого нашего Ивана.

— Убраты! Убраты! — всё еще неистовствовал Посохов, хотя дневальный, лысый служитель в белом переднике, уже лез по лестнице.

— Прелестный голос, — улыбнулся Бахметьев. — Почему он не поет в опере?

— Ему бы цветов послать, господин унтер-офицер. Целый букет! Вот такой! — И кадет Лавринович ложкой в воздухе описал широкий круг.

— Убраты! — уже хрипел Посохов,

— Вы правы, мой друг, — согласился Бахметьев, и от такого ответа Лавринович просиял, потому что был влюблен в свое непосредственное начальство.

Унтер-офицеры, или в просторечии — капралы, из старшей роты назначались во все-прочие в целях поддержания в них дисциплины и порядка. Теоретически рассуждая, им в подобных случаях следовало бы вести себя совершенно иначе, но весь корпус дружно ненавидел Посохова, и традиция дружбы была сильнее устава.

Фельдфебелю самой младшей, шестой, роты Домашенко, конечно, неудобно было самому участвовать в общем веселье. Всё же он сумел вполне дипломатично этому беселью помочь.

— В мое время, — вздохнул он, — славная шестая рота непременно лаяла и мяукала, — каковым советом его юные питомцы не замедлили воспользоваться.

Уже плакат был снят с хоров, осмотрен дежурным по корпусу и вынесен из зала. Уже за щами подали зразы с гречневой кашей, и Посохов сделал вид, что ничего не слышит и обедает. Но всё же зал гудел, и всё еще над общим гулом господствовало всё то же обидное слово.

Однако хуже всего для Посохова была небольшая визитная карточка, которую он сорвал с принесенного ему дневальным плаката.

Сорвал, скомкал и сунул в карман.

3

Вышеизложенным бурным событиям предшествовали другие, непосредственно с ними связанные и довольно таинственные.

Началось с того, что знакомый читателю носитель неблагозвучного прозвища Иван Посохов стал проявлять какой-то почти болезненный интерес к жизни старшей гардемаринской роты.

Правда, он в ней же был командиром первого взвода, но по службе ему отнюдь не полагалось чуть ли не сплошь с утра до вечера находиться в ротных помещениях, разгуливать, заложив руки за спину, и испытующе всматриваться в лица всех встречаемых.

Еще меньше ему полагалось далеко за полночь тенью бродить по спальням и при свете карманного

фонарика читать доски над пустующими койками. И уж, конечно, совсем не следовало во время отсутствия роты на цыпочках ходить по пустому ротному залу и осторожно заглядывать в кое-какие гардемаринские конторки.

Само по себе поведение Посохова никому особо удивительным не показалось. Все знали, что его склонность к сыску, в сочетании с некоторой врожденной глупостью, и послужила причиной удаления его с флота и водворения в корпусе. Но причины этого поведения оставались совершенно непонятными.

Решительно никаких происшествий за всё последнее время в старшей роте не было. Жизнь протекала до смешного смиренно и дисциплинированно. Даже не было случая, чтобы кто-нибудь, будучи в отпуску, в трамвае повздорил с каким-нибудь офицером.

— Разыскивает, — говорили в курилке, традиционном ротном клубе, — вынюхивает.

Но что именно разыскивает и вынюхивает, понять никак не могли, а потому с особым интересом следили за всеми движениями Ивана.

Наконец он раскрыл свои карты, но, раскрыв их, привел всех в окончательное недоумение.

Однажды, совершенно неожиданно, он остановил в картинной галерее Степана Овцына из второго отделения и спросил:

— Ну, как дела?

Степан, которого не только за его фамилию звали «блаженной овцой», смутился и проблеял нечто невнятное.

Было уже десять часов вечера, и само присутствие гардемарина в картинной галерее, где делать ему было решительно нечего, показалось Ивану Посохову подозрительным. Смятенный вид Овцына еще больше укрепил его подозрение, а потому он ласково взял его под руку:

— Гуляете?

— Так точно, — ответил Степа, и после некоторого колебания добавил: — Господин старший лейтенант.

— Отлично! Отлично! — обрадовался Посохов. — Здесь нас окружают такие превосходные произведения искусства. Слушайте, — и в порыве нежности даже сжал Степину руку, — я сам поклонник всего прекрасного и, когда был молод, тоже мечтал что-либо создать.

— Есть, — нерешительно согласился Степа.

— Ну вот, вы меня понимаете. Видно, и в вас горит священный огонь. Говорят, вы литературой увлекаетесь. Верно это?

На свою беду, Степа писал очень сентиментальные и очень плохие стихи. Как-то раз в этом был уличен и поднят на смех, и с тех пор свою слабость тщательно скрывал. Как и следовало ожидать, он густо покраснел и сразу же отрекся от своей музыки:

— Никак нет, не увлекаюсь.

Посохов покачал головой, что-то изрек о ложной стыдливости и, доведя Степу до дверей роты, с ним распрощался. А потом вынул из кармана книжечку в красном сафьяновом переплете, записал в ней фамилию «Овцын» и поставил два восклицательных знака.

И с этого вечера Иван Посохов переменялся. До сих пор всё время молчавший, теперь он заговорил. Заговорил приветливо и цветисто, но исключительно на литературные темы, что по меньшей мере было странно.

Он запросто беседовал с кем придется о Пушкине и Тургеневе, а иной раз о Гончарове, сочинившем книжку «Фрегат „Паллада“», или о Станюковиче, который когда-то учился в этих славных стенах.

Но всегда незаметным образом переводил разговор на литературу авантюрную и криминальную, знаете ли такую, что от нее не оторваться. И больше всего ему хотелось узнать, читают ли в роте, например, Конан-Дойля или, скажем, Мориса Леблана, и если читают, то кто именно.

Конечно, разнесся слух, что он слегка спятил от однообразной жизни и, решив во что бы то ни стало сделаться великим писателем, уже творил нового Пинкертон. А для практики осматривает и обнюхивает всё, что подвернется.

Утверждали даже, что его видели на четвереньках, с лупой в руках исследующим кафельный пол в галюне классного коридора.

Разговоры эти, однако, не имели под собой никакой почвы. Слишком уж практичным был старший лейтенант Посохов, чтобы так сходить с ума, и слишком неподходящей для литературной деятельности была его полулягушечья внешность.

Да и самый слух на проверку оказался пущенным Борисом Лобачевским, юношей способным, но с пове-

дением всего на девять баллов и к тому же язвительным.

Поэтому лучшие умы роты считали, что в действительности всё обстоит как раз наоборот: первопричиной были какие-то таинственные поиски, а следствием их — несколько непонятные литературные беседы.

И, конечно, они не ошибались. Вскоре стали известными факты, которые разъяснили всё, вплоть до Мориса Леблана.

Оказалось, что в течение недели дежурные офицеры по корпусу, по батальону и даже по кадетским ротам стали находить у себя на столиках визитные карточки с загнутыми уголками.

Как известно, загнутый уголок означает: был, но, к сожалению, не застал. Но кто же именно был?

На этот вопрос визитные карточки отвечали прямо и без всяких уверток. Изящным шрифтом по-французски на них было напечатано: *Арсен Люпен*.

4

Визитные карточки были всего лишь, так сказать, предисловием. Следуя церемонным правилам светского обихода, Арсен Люпен представлялся начальству Морского корпуса, а представившись, сразу начал действовать.

Командир четвертой роты капитан первого ранга Ханыков, по прозвищу Ветчина, после многотрудного дня, проведенного в дежурстве по корпусу, готовился отойти ко сну.

Чувствовал он себя неважно, потому что на утреннем батальонном учении его рота нарочно шла не в ногу, а за обедом экононом подал на второе ветчину с горошком, что вызвало бестактный восторг всего столового зала.

Всякие неприятности, однако, рано или поздно кончаются, и теперь перед Ханыковым стояла превосходная мягкая кровать, на которой устав разрешал ему отдыхать раздетым.

А был он человеком пожилым и тучным, медлительным в мыслях и движениях и отдыхать любил больше всего на свете.

Не спеша он разделся. На стуле рядом с кроватью в строго установленном порядке разложил: портсигар,

серебряную спичечницу, часы и кобуру, в которой для легкости, вместо нагана, он носил сверток мягкой туалетной бумаги.

И так же не спеша полез под одеяло, но тут с ним случилось нечто неожиданное. Ноги его встретили какую-то непреодолимую преграду и, несмотря на все его усилия, застряли на половине кровати.

От обиды он чуть не заплакал. Это был мешок, точно такой же, в какие заворачивали тридцать с лишним лет тому назад, когда он учился в корпусе. Верхняя простыня, вдвое сложенная и нижней своей частью подвернутая под тюфяк, так что в ней непременно запутаешься.

Даже в те времена ему ни разу не пришлось сесть в мешок, а теперь, на старости лет, он попался, как какой-то мальчишка. Не хватало только, чтобы ему узлами завязали рукава ночной рубашки.

Рукава ему тоже завязали. В этом он убедился на ощупь, как только сунул руку под подушку.

Тогда им овладел гнев. Такой гнев, что он весь затрясся, закашлялся и чуть не задохся.

Кто мог позволить себе такую шутку? Кто посмел? — С невероятной для него резвостью он соскочил на пол, обеими руками раскидал постель и увидел: на его ночной рубашке лежала визитная карточка Арсена Люпена. Тут он испугался. Почему испугался, сам не смог бы сказать, но со страху сел на стул, прямо на свое имущество, и от этого пришел в себя.

На карточке была какая-то надпись по-французски. Обязательно нужно было узнать, в чем дело, а он уже давно забыл все французские слова, кроме «же ву при» и «пardon».

Полторы минуты спустя, в ботинках на босу ногу и с подтяжками, предательски висевшими из-под кителя, он прибежал в картинную галерею к дежурному по батальону лейтенанту Стожевскому.

Стожевский, по положению, стал «смирно» и сделал вид, что подтяжек не заметил. Слушая Ханыкова, также ничему не удивился, но во французском языке, к сожалению, оказался нетвердым.

— Не всё здесь понимаю, — сказал он. — Вот тут написано: слишком долго спать, а дальше... вы меня простите, господин капитан первого ранга, но этот негодяй написал «Ветчина».

Ханыков вздрогнул, выхватил у Стожевского карточку, сказал: «Спасибо», — убежал так же стремительно, как появился.

Только тогда Стожевский, за свою любовь к внешним проявлениям дисциплины прозванный «здравия желаю», позволил себе улыбнуться, а потом даже засмеяться.

Смеялся он долго и беззвучно, откинувшись на спинку кресла и мотая головой, но смеялся совершенно напрасно.

Ложась спать, он разделся, чего ему, дежурному по батальону, делать не полагалось. А проснувшись поутру, обнаружил, что у него пропали брюки.

Под кроватью их не оказалось и на письменном столе, конечно, тоже. Обеспокоенный, он из своей ниши выглянул в галерею и увидел свои брюки висящими на люстре.

Со стула до них было не дотянуться. Пришлось спешно тащить тяжелый стол, громоздить на него стул и самому лезть наверх в своем весьма сомнительном туалете.

Конечно, это было печальное и недостойное зрелище, и, как назло, за этим занятием его застали явившиеся с рапортом дежурные по старшей и третьей ротам. Оба любезно предложили ему свои услуги, но, присев на корточки на своем стуле, он закричал и прогнал их.

Он сознавал, что через полчаса его приключение будет известным всему корпусу, и от этого сознания ему было невесело. Но совсем скверно ему стало, когда он выяснил, что на брюках были спороты все пуговицы до последней и что сзади у них на ниточке висела неизбежная карточка Арсена Люпена.

На этот раз надпись на ней была краткой и вполне понятной:

«Поступай так, как учишь поступать других, и будешь счастлив».

Он был наказан за нарушение того самого устава, который с таким рвением проповедовал. Теперь ему оставалось только терпеливо сидеть за столом, потому что всякое иное положение для него было невозможно, и дожидаться какого-нибудь дневального, чтобы послать его на квартиру за новыми брюками.

Хорошо еще, что жил он в соседнем доме и что по службе ему пока что можно было никуда не ходить.

От дежурного по корпусу он успел скрыться в уборную, но шедшая строем на чай четвертая рота застала его за разговором с дневальным.

— Рота, смирно! — скомандовал фельдфебель барон Штейнгель. — Равнение налево!

По уставу встать и для отдания чести приложить руку к головному убору ему бы, наверное, не удалось. А как отдавать честь сидя?

— Вольно! — крикнул он и неопределенно махнул рукой.

— Вольно! — повторил невозмутимый фельдфебель, но рота продолжала держать равнение налево, и по глазам ее было видно, что она уже знает.

В конце концов Стожевский остался без чая, а потом имел неприятный разговор с начальником строевой части генерал-майором Федотовым, после чего сменился с дежурства, пришел домой и, не отвечая на расспросы жены, слег в постель с повышенной температурой.

В тот же день за обедом Арсен Люпен устроил старшему лейтенанту Ивану Посохову уже известный нашему читателю бенефис с плакатом в столовом зале.

И еще по почте прислал свои карточки с обидными надписями всему высшему начальству вплоть до самого его превосходительства директора корпуса.

Естественно, что вышеупомянутое начальство от всего этого пришло в сильнейшее беспокойство.

5

Они очень гордились своими старыми традициями и особенно тем, что шестого ноября, в день корпусного праздника, у них свыше ста лет подряд к обеду подавали гуся.

Они были очень занятыми людьми, но сейчас я их не совсем понимаю. Хотелось бы мне снова их встретить. Хотя бы для того, чтобы узнать, что же еще, кроме гуся, числилось в активе этих самых старых традиций.

Хотелось бы, чтобы пришел ко мне живой гардемарин шестнадцатого года, к примеру тот же Сергей Кол-

басьев из четвертого отделения или Леня Соболев из пятого.

Чтобы был этот гардемарин, как полагается, в черном с золотом мундире и в не дозволенных уставом, но все же непременно носимых в отпуску манжетах, восемнадцать лет от роду и преисполненный всей соответствующей ему мудростью.

Чтобы сел он вот на этот стул пред моим письменным столом, взял у меня папиросу и был бы со мной откровенным.

Боюсь, что мой вопрос застал бы его врасплох о старых традициях принято было говорить вообще, но над тем, что же они собою представляют, едва ли кто задумался.

Скорее всего, он просто перевел бы разговор на другие темы, но, может быть, рассказал бы о «золотой книге» и о похоронах альманаха.

Правда, самой «золотой книги» он не видел, но знает, что вплоть до какого-то года она исправно передавалась из выпуска в выпуск и что было в ней немало любопытных стихов, сочиненных прежними питомцами корпуса.

О похоронах альманаха он знает больше. Это очень старая и отличная церемония, сопутствовавшая окончанию выпускных экзаменов по астрономии.

Тайный ночной парад всей старшей роты в столовом зале, удивительные обряды, речи и песнопения. Нептун на троне из столов и красных одеял, гроб альманаха на пушечном лафете и залп самой последней брани, изображающей громовой салют с брига «Наварин».

Нет, всё это, конечно, было очень весело, но всерьез можно говорить только об одной традиции корпуса, о действительно древнем и неистребимом законе братства всех воспитанников, о строгом законе, не допускающем даже малейших проявлений неверности.

Одна из рот шла на обед по звериному коридору, и дежурный по корпусу, стоя в дверях своей комнаты, расслышал, как кто-то в строю негромко обозвал его прохвостом.

После обеда роту не распускали, пока не пришел ее командир. Произнеся краткую проповедь на тему о хамстве и о гражданском мужестве, он скомандовал:

— Кто сказал слово «прохвост», шаг вперед, шагом... марш!

И вся рота, не сговариваясь, четко и точно сделала шаг вперед. Вся, кроме одного человека.

Это был невысокий и сильный человек с темным лицом. Он знал, что за такое дело рота останется без отпуска, а для него в ту самую субботу отпуск был дороже жизни. Не знаю почему, кажется, из-за девушки.

Конечно, всю роту оставили и пустили его одного. И он пошел, хотя ему было сказано: «Лучше останься с нами».

После этого с ним никто не разговаривал, его не замечали, смотрели сквозь него, — он стал пустым местом.

Он был сыном командующего флотом, но никакие силы на свете не могли ему помочь. Он должен был жить всё в том же безвоздушном пространстве и мог спастись только уйдя из корпуса.

Но сдаваться он не хотел. Он во что бы то ни стало, как его дед и отец, должен был стать моряком.

Шесть дней в неделю он не имел права произнести ни одного слова, и все-таки учился, но наконец не выдержал и остался на второй год в надежде, что новая рота его примет.

Он ошибся. Снова к нему обращались только по службе, снова ему подавали руку только на уроках танцев, снова он оказался отделенным глухой стеной от всех остальных.

Его прежняя рота прислала ему прощенье ровно через год. В этот день он смог заплакать, но еще в течение всех трех лет до выпуска он говорил с трудом.

Так было всегда, и иначе быть не могло.

Несколько сот человек нужно было согнать в рамки твердой и не слишком умной дисциплины, и дело это было поручено примерно тридцати, по большей части совсем неумным, ротным или взводным командирам.

А во главе стоял его превосходительство директор, знаменитый своей налаженной седой бородой и умением внушительно кашлять.

С этой его привычкой у него иной раз получались недоразумения. Так, однажды, услышав в лазарете кашель и решив, что его передразнивают, он на двадцать суток посадил двоих кадет, которые, кстати, и не кашляли.

Вероятно, он сделал это для укрепления той самой дисциплины и для поднятия героического воинского духа.

Вероятно, ради тех же высоких целей генерал-майор Федотов и ему подобные насаждали в корпусе культ строевой шагистики, а милейший Посохов усиленно занимался сыском.

И так было всегда, и всегда, неизвестно почему, люди, за пегодностью выброшенные с флота, могли стать воспитателями будущих моряков.

И всегда они очень старались, но своими стараниями добивались только одного: сплочения против себя братства всех шести рот.

Конечно, никакой дружбы и никакого мира между ними и ротами не было и быть не могло. А о войне братство сложило обширный, в достаточной степени кровавый фольклор.

Вот окно — последнее по правой стене столового зала, если стать лицом к брига. Из этого окна в семидесятых годах прошлого столетия прямо сквозь стекла на двор выбросили одного ротного командира.

Вот картинная галерея. Здесь, уже в начале двадцатого века, одного офицера избили шарами от кегельбана, который после этого случая был упразднен.

Вот компасный зал — небольшой круглый зал, по самой середине классного коридора; с ним связана фантастическая, почти средневековая легенда о гардемарине Фоудезине.

Это было не то во время декабристов, не то в год польского восстания, но во всяком случае еще при Николае Первом.

В корпусе нашли крамолу, и судить виновных должна была особая комиссия под председательством директора.

У дверей столового зала поставили караул, а по самой его середине — стол, накрытый зеленым сукном. Там, за этим столом, в огромной пустоте, и должна была заседать комиссия, каждое слово которой было тайной.

Но плоский потолок зала был подвешен на цепях, и друзья виновных решили отомстить. Они пробрались на чердак и под цепи заложили пороховые заряды. Им оставалось только выждать, пока соберется судилище, поджечь фитили и обрушить потолок.

Директором корпуса был адмирал Фондезин, и был у него сын гардемарин. Сын знал, что отец идет на смерть, и, не выдержав, его предупредил.

Мстителей схватили на чердаке, и судьба их была печальной. Но сам гардемарин Фондезин пропал на следующий день, и пропал бесследно.

И уже много лет спустя, во время ремонта компасного зала, его скелет с остатками полуистлевшей форменной одежды был найден замурованным в одной из стен компасного зала.

Так рассказывали, но, насколько я знаю, в корпусе никогда не было директора по фамилии Фондезин, да и сама операция замуровывания мне кажется едва ли технически осуществимой.

Всё это, однако, несущественно. Мораль легенды ясна: во все времена была война с начальством, и во все времена измена братству каралась с предельной жестокостью.

Я видел только самый конец этой двухсотлетней войны. При мне начальство завершило то, что ему казалось приведением Морского корпуса в полный порядок.

Действовало оно воистину превосходно. С такой же блестящей бездарностью и таким же самодовольным упорством, с каким в масштабе всей Российской империи орудовали последние горемыкины царя. Деятельность его неплохо была освещена в той же «золотой книге», в одном стихотворении о некоем весьма глубокомысленном адмирале.

Адмирал этот понял, что в мире существует какой-то определеннный порядок, а именно: женщины производят на свет детей, павлоны, сиречь юнкера Павловского военного училища, занимаются печатанием с носка и прочими пехотными штуками, а гардемарины Морского корпуса изучают морские науки и в свободное время пьют водку.

Такой порядок, по его мнению, отнюдь не соответствовал цивилизации и прогрессу навигации, а потому он порешил:

Порядок новый, отменный и толковый немедля учредить,
Чтобы без исключений всем дамам водку пить,
Павлонам, средь мучений, детей производить,
А в корпусе Морском, во вред морским наукам,
Ввести пехотный строй, учить павлонским штукам.

И, надо сказать, учили этим штукам действительно несколько больше, чем следовало, и это мало кому нравилось.

Опять-таки очень старались, и опять-таки его превосходительство директор сажал на двадцать суток дежурных по кухне, являвшихся к нему на квартиру с пробой пищи и неверно державших в руке фуражку.

И за все эти старания и за всю науку в один из дней шестого ноября корпус отблагодарил своего директора так, что лучше не надо.

Это было за обедом, вскоре после традиционного гуся. За длинным столом у брига восседало приглашенное на праздник высшее начальство — обрамленная золотом радуга орденских лент. Поближе к гардемаринам несколько столов занимали просто флотские офицеры.

Гусь был отличный, и с яблоками, и, кроме гуся, подали превосходный сахарный квас, но главное, что было, — это отличное настроение духа.

Сигнал горниста: «Встать!» — и в наступившей тишине его превосходительство директор провозглашает тост. За тостом — ура, — и снова сигнал и продолжение занятий с гусем.

Тосты следовали в строго установленной очередности, и, как всегда, за русский флот кричали вдвое громче, чем за государя императора. И за старейшего из присутствующих, седенького и румяного адмирала, в стиле библейского пророка, кричали совершенно оглушительно, чтобы его развеселить.

И старичок развеселился. Встал, помахал ручкой и провозгласил ответный тост за дорогого, он бы даже сказал — обожаемого Виктора Алексеевича, хозяина сегодняшнего праздника и директора корпуса — ура!

Оркестр грянул победный туш, но весь корпус промолчал. Весь корпус смотрел на своего директора и, видя, как он бледнеет, улыбался.

И туш звучал все более и более неуверенно, и кое-какие оркестранты, не зная, что им делать, постепенно умолкали, и капельмейстер окончательно растерялся.

Наконец генерал-майор Федотов сорвался со своего места, галопом подбежал к оркестру и закричал:

— Прекратить безобразия!

Тогда настала тягостная и неопределенная пауза, и за паузой сигнал: на молитву!

Праздничный обед был закончен. Кстати, это был последний праздничный обед Морского корпуса.

6

Помимо всего прочего, Степа Овцын был восторженным черноморцем.

Он мог часами говорить о «Гневном» и «Пронзительном», которые, по его сведениям, ходили узла на три быстрее новых балтийских миноносцев, о блестящих, но не слишком правдоподобных боях с «Гебенем» и «Бреслау», а заодно о знаменитой сева-стопольской жизни и, в частности, о Приморском бульваре.

Сейчас он говорил о Дарданеллах. Говорил с увлечением, размахивал руками и чуть не опрокинул урну для окурков.

Конечно, англичане их возьмут, и с англичанами в Мраморное море войдет наш крейсер «Аскольд». И сразу же мы ударим с Черного моря. В Севастополе уже готовят десант. Целую дивизию.

Царьград будет нашим, и война скоро окончится. А тогда черноморский флот станет средиземноморским, будет плавать в Италию и черт знает куда, и получится сплошная красота.

— Степа! — остановил его унтер-офицер Василий Бахметьев. — Пожалуйста, перестань молоть чепуху.

— Чепуху? — возмутился Овцын. — Какую чепуху? Неужели ты не понимаешь? Турок в два счета вышибут в Азию — и конец.

— В два счета? — переспросил фельдфебель Домашенко, тоже черноморец, но не в пример Степе человек положительный. — Нет, душа моя, не так это просто.

— Да что ты! — И, всплеснув руками, Овцын снова толкнул урну, но вовремя успел ее подхватить. — Что ж тут трудного? Просто как палец. Боюсь только, что мы с тобой туда не поспеем. До выпуска еще целых шесть месяцев.

— Не бойся, Степанчик, — и Бахметьев похлопал Овцына по плечу. Хороший он был, этот самый Степа Овцын. Трогательный.

— Слушай,— сказал Домашенко,— англичане уже долго возятся с Дарданеллами, и что будет дальше — неизвестно. Попробуй, назови мне случай, чтобы флот взял береговую крепость.

— Конечно,— поддержал Котельников, тихий блондин из породы зубрил,— благодаря настильности своего огня судовая артиллерия не имеет возможности поражать складки местности, в которых могут укрываться батареи береговой обороны.

— Садитесь,— сказал Бахметьев,— двенадцать баллов,— и повернулся к Овцыну:— Беда мне с тобой, Степа. Вгравишь ты меня в войну с Англией, потому что ей твой средиземноморский флот не понравится.

— Несомненно,— согласился Котельников.— На примере кампаний Ушакова и Сенявина ясно видно, что...

— Довольно! Довольно! — перебил Бахметьев.— Вас не спрашивают. Замолчи, пожалуйста.— Остановился, чтобы сформулировать свое окончательное суждение по вопросу о проливах, но высказаться не успел.

В курилку боком влетел старший гардемарин Костя Патаниоти. Влетел и дал волю обуревавшему его чувствам:

— Очередной номер! Опять Арсен Люпен! Молодчище! Опять обложил Ивана!

— Стой! — И Бахметьев поймал его за руку.— Что случилось?

— Пустяки! — Костя физически не мог говорить, когда его держали.— Вы понимаете, до чего здорово! Он прислал ему целый букет цветов.

— Кто, кому, почему и зачем? — не понял Бахметьев.

— Конечно, Арсен Люпен Ивану, а не наоборот. Ты дурак. Здоровый букет с какими-то ленточками, и на карточке написано: «За незабываемое сольное выступление такого-то числа в столовом зале Морского корпуса от благодарного поклонника» — или что-то в этом роде.

— Врешь,— усомнился Домашенко.— Откуда ты знаешь, что там написано?

— Нет, не вру. Мичман Шевелев видел. С ним Иван советовался насчет французского языка. А потом рассказал нашим.

— Иван рассказал? — И Бахметьев покачал головой.— Ты что-то путаешь.

— Да нет же! Ты идиот. Шевелев, конечно. Он у нас в прошлом году капралом был. Ну, и рассказал по дружбе.

— Спасибо, — сказал Бахметьев. — Теперь всё ясно. А то я испугался, что ты Арсен Люпен и выбалтываешь свои секреты.

— Я? — ахнул Патаниоти. — Арсен Люпен?

Сразу же распахнулась дверь из классного коридора, и в нем появилось темное лицо Ивана Посохова. Одно мгновение была пауза. Потом Посохов широко улыбнулся и закивал головой:

— Ну-у! Курите-курите! Только скоро будет звонок. — И, продолжая кивать, исчез.

— Фу! — вздохнул Патаниоти. — Напугал.

Но Овцын приложил палец к губам, на цыпочках подошел к двери, осторожно ее раскрыл и выглянул в коридор.

Посохов, согнувшись, стоял у стенки и завязывал шнурки на ботинке. Увидев Овцына, лукаво ему подмигнул, выпрямился и пошел прочь.

Овцын даже отшатнулся назад. Слишком необычным и страшным показался ему подмигивающий Иван.

— Вот черт! — негромко сказал он. — Подслушивал.

— Наверняка, — согласился Домашенко, — такая у него натура, — и, подумав, добавил: — Впрочем, я тоже хотел бы знать, кто этот самый Арсен Люпен.

— Зачем? — спросил Бахметьев.

— Я бы посоветовал ему бросить это дело. Слишком оно рискованно.

— Конечно, рискованно, страшно рискованно, — заволновался Котельников и от волнения покраснел. — Ведь это же ужас какой-то. Никогда в нашей истории ничего подобного не случалось, и, если его поймают, его наверняка вышибут.

Бахметьев усмехнулся:

— Вышибут, говоришь? Нет, юноша, здесь пахнет похуже вышибки. Мы принимали присягу и находимся на действительной службе. Дисциплинарный батальон мосье Люпену обеспечен, а может быть — Сибирь.

Он был прав. Эпопея Арсена Люпена сразу выросла за пределы простой шалости, и начальство, конечно, постаралось бы так с ним расправиться, чтобы другим было не до шуток.

— Будьте уверены, — сказал Домашенко, — ему жарко будет, если его изловят. Он совершенно правильно делает, что даже от нас скрывается.

— Ну вот еще! — возмутился Патаниоти, — Как будто мы проболтались бы.

— Не волнуйся, грек, — успокоил его Бахметьев, — он не о тебе думает. Он знает, что ты надежен, как скала, и отнюдь не болтлив.

Но ирония его была слишком очевидной, и Патаниоти нахохлился:

— Ченуха! Ты болван! Просто хочется знать, кто же он такой.

— В самом деле... — медленно повторил Бахметьев. — Ну что ж, я полагаю, что это кто-нибудь из нашей роты. Больше никто не посмел бы так свободно шататься по всему корпусу. И, надо думать, какой-то отчаянный мужчина.

— Отчаянный! — даже вскрикнул Котельников. — Сумасшедший, а не отчаянный. Лезть на такую авантюру перед самым производством.

— Не смей! — в свою очередь рассвирепел Патаниоти, — Ты тля, вот ты кто!

— Нет! — тихо сказал Овцын. — Он не сумасшедший, а герой. И, будьте спокойны, его не поймают.

В коридоре задребезжал звонок, и Бахметьев пожал плечами:

— Одно из двух: или поймают, или нет. Джентльмены, идем по классам.

7

Иван Посохов купил себе карманный французский словарь и изготовился к длительной борьбе со своим врагом. В частности, начал систематически заносить свои наблюдения в красную записную книжку.

Одну из страниц этой книжки он украсил красивой, с каллиграфическими завитушками, надписью:

«Дело Арсена Люпена».

И ниже, в подходящем месте, пометил:

«Приложения (смотри в карманчике переплета) — визитные карточки, при различных обстоятельствах полученные разными лицами, всего числом девять штук, из них четыре с надписями».

На последующих страницах он развернул целую стройную систему. Слева подробно излагались события

и обстоятельства дела, а справа помещались комментарии и умозаключения.

Всё вместе было великолепной смесью канцелярщины с детективной литературой, и особенно хорошо выглядели заголовки, которыми характеризовались отдельные эпизоды:

«Таинственные визитные карточки».

«Ночное приключение капитана первого ранга Ханыкова».

«Случай с брюками лейтенанта Стожевского».

Этот последний случай дал Посохову материал для очень смелого и оригинального вывода. Он написал:

«Не подлежит сомнению, что в деле этом замешаны два человека, оба высокого роста и отменные гимнасты».

Здесь Посохов применил типичный конан-дойлевский литературный прием. Сперва показал поразительные результаты своей дедукции и лишь потом разъяснил, каким путем она шла:

«До люстры возможно было достать только со стула, установленного на столе. Единственный в картинной галерее стол дежурного по батальону был чрезмерно тяжел и стоял в непосредственной близости к койке, на которой почивал Стожевский. Нельзя себе представить, что злоумышленник осмелился двигать его с места на место, и еще более невероятным было бы предположение, что этот Арсен Люпен пришел с собственным столом. Отсюда следует, что в подвешивании брюк на люстру участвовали двое, из коих один стоял на стуле и держал на руках другого».

Немало места в книжке было отведено Степану Овцыну, который продолжал вести себя подозрительно. Снова без дела разгуливал вечером по картинной галерее и имел таинственный вид. Выглядывал из курилки и высматривал: близко ли он, старший лейтенант Посохов, стоит к дверям.

Кое-что было написано и о Константине Патаниоти, все последнее время находившемся в каком-то особо возбужденном состоянии и также внушавшем подозрения. Больше того — даже уверенность в его виновности, ибо, насколько удалось расслышать через закрытую дверь курилки, он откровенно хвастался тем, что он и есть Арсен Люпен.

Во время занятий гимнастикой выяснилось, что он

ловок, как обезьяна, и бесспорно мог бы добраться до люстры.

Овцын хотя никаких гимнастических способностей не проявил, но выглядел сильным и устойчивым. Он мог стоять внизу и поднимать своего сообщника.

К тому же и Овцын, и Патаниоти были высокого роста, и в довершение всего оба интересовались литературой, что само по себе тоже было кое-какой уликой.

Так мыслил и писал Иван Посохов, но одними пассивными наблюдениями он не ограничился и вскоре сделал чрезвычайно хитрый ход.

Он конфиденциально переговорил с преподавателями французского языка мосье Грио и мосье Чижувым и попросил их в ближайшую диктовку включить слова: ваш восторженный поклонник.

А потом сидел всю ночь напролет и сличал почерки полтораэта тетрадей с почерком на карточках. Работа эта была нешуточная, зато и результаты ее оказались значительными.

Патаниоти писал в точности как Арсен Люпен!

Правда, судя по всем его письменным работам, он был весьма слаб в орфографии и едва ли смог бы самостоятельно сочинить даже самую простую из всех надписей на карточках.

Однако и тут сразу же удалось докопаться до истины. Овцын оказался превосходным знатоком французского языка. Конечно, он сочинял все фразы за Патаниоти, и, конечно, это было лишь хитрой уверткой, рассчитанной на то, чтобы сбить с толку расследование.

Разгадав ее, Посохов настолько обрадовался, что эти свои мысли озаглавил: «Сеть сужается».

8

Во всех ротах, кроме старшей, унтер-офицерам была отведена отдельная комната, носившая наименование унтер-офицерской курилки.

Мебель в такой комнате стояла нехитрая: всё те же желтого дерева конторки и табуреты, но, как это явствует из самого ее названия, в ней разрешалось курить, а значит, приятно было посидеть и поговорить о разных разностях.

И вечером в унтер-офицерских курилках собиралось немало гостей. Особенно в четвертой роте, где наиболее популярной личностью был Василий Бахметьев:

— Удивительное дело,— сказал барон Штейнгель и от удивления поднял брови.— Если только ты не врешь, конечно.

— Вруж? — возмутился Патаниоти.— Это ты всегда врешь. Нам сейчас перед фронтом прочли приказ. Старый хрен Максимов вышибается по случаю неизлечимой болезни, и вместо него в исполнение обязанностей ротного командира заступает Иван Дермо. Так там всё и написано.

— Жаль старика, он был безвредный,— сказал Домашенко.— Не знаешь, чем он был болен?

— Каким-нибудь размягчением мозгов,— ответил Бахметьев.— Старческими последствиями юношеских развлечений.

— Не иначе,— согласился Штейнгель и повернулся к Домашенке:— Ты говоришь, он был безвредный, а по-моему, и бесполезный.

— Он скоро подохнет,— решил Патаниоти.— Барон, дай папиросу.

Наступила тишина, и стало слышно, как за стеной в гальюне кадеты пели переделку старой песни на собственный новый лад. Жалобный голос запевалы затянул:

Ветчина пошел на дно,
И достать не трудно,
И досадно, и обидно.

Пауза, а потом многоголосый хор:

Ну да ладно, всё одно.

Это была длинная, местами не слишком приличная песня, и особых симпатий к своему ротному командиру в ней кадеты не проявляли.

— Красиво поют,— улыбнулся Домашенко, но Бахметьев покачал головой:

— Ветчина поет еще лучше. Сегодня после строевого ученья опять развлекал публику. Бегал взад и вперед, кричал: «Мне и государю императору таких, как вы, не надо», и от злости кудахтал.

— Вот дурак! — обрадовался Патаниоти.— Совсем как в наше время орал. Ему и государю императору!

— Дураки бывают разные,— сказал Домашенко.— Ветчина плохой дурак. Хитрый. Даже в глаза никогда не смотрит.

— И всё старается перед начальством отличиться, — поддержал Штейнгель.

Бахметьев встал, подошел к печке и приложил к ней ладони. Неизвестно почему, в этот вечер он чувствовал себя исключительно скверно. Он определенно устал от всего, что делалось на свете.

— Знаешь, Штейнгель, — сказал он наконец, — ты зря осудил старика Максимова. Он совсем не был бесполезным. Может, помнишь, у Салтыкова хорошо сказано насчет разных губернаторов. Польза была только от тех, которые ничего не делали и никому не мешали.

— Не читал, — ответил Штейнгель. — И не согласен. Чтобы была польза, нужно работать.

— Ты немец-перец. Ты не понимаешь нашей великой, прекрасной и неумытой славянской души. Ты любишь деятельность, а у нас она, видишь ли, ни к чему. Все равно никакого толку не получается.

И Бахметьев закрыл глаза. С какой стати все эти мысли лезли ему в голову? Откуда они взялись?

— Ты городишь чушь, — сердито сказал Штейнгель.

Отчего у него было такое на редкость поганое настроение? Может, от всего, что творилось дома, а может, от мыслей о Наде? Нет, лучше было не думать, а говорить.

— Дурацкая жизнь, друг мой барон фон Штейнгель-циркуль. Подумай о том, что тебя ожидает. Вот ты вырастешь, будешь служить как пудель, примерно к тысяча девятьсот тридцать второму облысеешь и станешь капитаном второго ранга. Наверное, твоей жене надоест, что ты всё время плаваешь, и придется тебе перейти в корпус. Получишь роту, поставишь ее во фронт и начнешь перед ней бегать и петь насчет государя императора.

Штейнгель покраснел, но сдержался:

— Неостроумно. Попробуй еще раз.

— Ладно, — вмешался Домашенко. — Не обращай на него внимания. У него просто болит живот, — и круто повернул тему разговора: — Итак, друзья мои, начинается славное царствование Ивана. Интересно знать, какое прозвище утвердит за ним история.

— Иван Грязный, — быстро ответил Бахметьев, и Патанноти пришел в восторг:

— Вот здорово! Вот орел!

— Правильное прозвание, — согласился Домашенко. — Теперь второй вопрос: что предпримет по сему торжественному случаю наш Арсен Люпен?

Бахметьев поморщился:

— Какую-нибудь очередную пакость. Он мне надоел.

— Ты спятил! — возмутился Патаниоти. — Он же герой! Как хочет долбаёт начальство, а ты рожи строишь!

— Не хорохорься, грек, — успокоил его Бахметьев. — Допустим, что он герой. А что дальше? Кому и на кой черт нужно всё его геройство?

— Дурак, — пробормотал Патаниоти, — честное слово, дурак, — и больше ничего не смог придумать. Вместо него заговорил Домашенко:

— Насколько я понимаю, сейчас он начал борьбу с кляузной системой штрафных журналов. Утащил эти журналы из всех рот, кроме нашей шестой, и, надо полагать, все их уничтожил.

— Вот! — обрадовался Патаниоти. — А ты скулишь: кому и на кой черт? Он еще сегодня утром спер из шинели Лукина штрафные записки и вместо них сунул ему в карман бутылочку с соской. Разве не здорово?

Это, действительно, вышло неплохо. Соска была намеком на слишком моложавую внешность мичмана Лукина и фрменным образом довела его до слез. Он нечаянно вытащил ее из кармана перед фронтом роты.

— Ну, хорошо, грек. Допустим, что здорово, — согласился Бахметьев. — Только миленький пупсик Лукин завтра заведет новые штрафные записки, а в ротах послезавтра появятся новые журналы. Только и всего.

— Нет, — сказал Домашенко. — Кое-чего он добился. Начальство никогда не сможет на память восстановить все старые грехи всего корпуса.

— Чем плохо? — спросил Патаниоти.

— А что хорошего? — вмешался Штейнгель. — По моему, это просто неприлично. — От волнения он остановился и пригладил волосы. — Я совсем не хочу защищать начальство. — Нужно было как-то объяснить, что он всецело на стороне гардемаринского братства, но подходящие слова никак не приходили. — Я не против Арсена Люпена, только это никуда не годится. Вы

поймите: мы состоим на службе в российском императорском флоте.

— Ура! — вполголоса сказал Патаниоти, но Штейнгель не обратил на него внимания.

— Значит, мы должны уважать все установления нашей службы, а ведь это самый настоящий бунт. Чуть ли не революционный террор.

— Ой! — не поверил Домашенко. — Неужто?

— Так, — сказал Бахметьев. — Значит, нам нужно уважать все установления. И Ивана тоже?

Штейнгель снова покраснел:

— Ты не хочешь меня понять. Иван, конечно, негодяй, но он офицер, и так с ним поступать нельзя. Ведь мы сами будем офицерами.

— Да, офицерами, — воскликнул Патаниоти. — Но не такими, как Иван. Это ты, может быть...

— Тихо, — остановил его Бахметьев. — Ты по-своему прав, Штейнгель, только мне твоя логика не нравится. По ней выходит, что любой подлец становится неприкосновенным, если состоит в соответствующем чине.

— Как же иначе? — И Штейнгель развел руками.

— Как же иначе, — усмехнулся Бахметьев. — Знаменитая прибалтийская верноподданность.

— А ты? — холодно спросил Штейнгель. — Разве не собираешься соблюдать присяги?

— Не беспокойся, барон, — сказал Домашенко, — он не хуже тебя собирается служить.

— Ивана нужно уважать, — медленно повторил Бахметьев. — Иван есть лицо неприкосновенное. — Подумал и совсем другим голосом спросил: — А как ты думаешь, можно было убивать Гришку Распутина?

Штейнгель поднял брови:

— Опять не понимаешь. Что же тут общего? Распутин был грязным хамом. Своей близостью позорил трон. Его убили верные слуги государя. — И вдруг остановился. Переменился в лице и даже отер лоб платком. — Знаешь что? Пожалуй, его все-таки нельзя было убивать.

Снова наступила тишина, и снова стало слышно пение за стеной. На этот раз глухое и совсем печальное. Потом под самой дверью просвистела дудка дежурного: ложиться спать!

Мне кажется не случайным, что Бахметьев вспомнил об убийстве Распутина. Всё, что происходило в корпусе, вплоть до Арсена Люпена, было лишь отражением событий, постепенно захватывавших всю страну.

Только Штейнгель ошибся. Это ни в коем случае не было революционным террором или бунтом. Это была всего лишь дворянская фронда.

— Пойдем спать, — предложил Домашенко и был прав, потому что другого выхода из разговора не существовало.

9

Самым приятным местом в корпусе, бесспорно, был лазарет, и попасть в него особого труда не представляло. Для этого нужно было утром прийти на амбулаторный прием и устроить себе воспаление слепой кишки, ларингит или просто повышенную температуру.

Воспаление слепой кишки изображалось глухими стонами при нажимании соответствующих частей живота, но далеко не всегда выглядело убедительным, потому что больному трудно было решить, когда следует стонать, а когда нет.

Ларингит действовал значительно надежнее, но требовал предварительной подготовки. В гортань через трубку вдувалась небольшая порция соли, после чего следовало подышать у раскрытой форточки.

Легче всего получалась повышенная температура — либо при помощи носового платка, подогретого на паровом отоплении, а потом пристроенного рядом с термометром, либо осторожным пощелкиванием головки термометра ногтем большого пальца. Последний способ пользовался наибольшим распространением, хотя и содержал в себе некоторую долю риска: легко было загнуть ртуть на сорок градусов и с позором вылететь с приема.

Наиболее уютной из всех палат лазарета считалась палата старшей роты. Из ее окон через двор был виден столовый зал, и утром в ней можно было, лежа на койке, наблюдать, как твои товарищи старательно прогуливаются церемониальным маршем.

— Прекрасное зрелище, — потягиваясь, говорил

в подобных случаях Борис Лобачевский, — возвышающее душу.

Он безошибочно умел попадать в лазарет, когда ему только хотелось, и обязательно выписывался в пятницу, чтобы в субботу пойти в отпуск.

— Ты непослодателен, — с досадою возражал ему всерьез болевший желудком Котельников. — Ты же всегда говоришь, что не любишь воинских забав.

— Я не люблю в них участвовать, — отвечал Лобачевский, — а потому мне доставляет удовольствие смотреть, как ими занимаються другие. — Он отлично умел ладить со всеми врачами и даже со сварливым Оскаром Кнапперсбахом, по специальности акушером и назначенным в корпус по совершенно загадочным соображениям.

Во время его ночных обходов он, в точности подражая его голосу, в нос кричал:

— Оскар! Оскар! Что ты со мной сделал?

— Ну что я с вами сделал? — удивлялся Кнапперсбах, еще не успев определить — сердиться ему или беспокоиться.

— Простите, ваше превосходительство, — очнувшись, говорил Лобачевский, — у меня был бред.

От такого ответа Кнапперсбах сразу таял. Он был всего лишь статским советником и на величание превосходительством права не имел.

— Успокойтесь, молодой человек, успокойтесь. Фельдшер, дайте ему бром.

И, вылив бром в плевательницу, Лобачевский успокаивался, потому что цель его была достигнута. Его не пускали в классы, и письменную работу по астрономии он мог делать в своей палате, что было чрезвычайно удобно.

В превосходном расположении духа он однажды встретил в коридоре толстую сестру Пахомову, которая потрясала кулаком и бормотала, видимо, недобрые слова.

За шесть лет верной службы она не получила ни единой награды и только что из письма подруги узнала, что та награждена уже дважды. От этого она настолько расстроилась, что ее накладные волосы съехали набекрень.

— Безобразие, — согласился с ней Лобачевский, — наверное, козни Оскара.

В этом она не сомневалась и по адресу Кнапперсбах произнесла яростную обвинительную речь. Он был злым, негодным старикашкой и преследовал ее за то, что сам разбил кружку Эсмарха.

— Сударыня, — сказал Лобачевский, — хорошо, что вы меня встретили, потому что с моей помощью справедливость восторжествует, — и обещал похлопотать о награде через своего вымышленного дядю, товарища морского министра. — Напишите прошение, уважаемая сестра.

Но сестре это оказалось не под силу, и за нее написал он сам. На четырех страницах, решительно обо всем, начиная с разбитой кружки и кончая сестрами, награжденными за то, что они ухаживали не столько за больными, сколько за здоровыми.

Растроганная сестра Пахомова подписала прошение и подарила Лобачевскому среднего размера выборгский крендель.

Конечно, Лобачевский собрал у себя в палате своих друзей, щедро угостил их кренделем и прошением и попросил высказаться.

Друзья были в восторге и постановили Пахомову наградить. Она этого заслуживала.

Андрюша Хельгесен обещал принести из дому большую серебряную медаль, полученную его пойнтером на собачьей выставке, а Домашенко и Бахметьев взялись составить подобающий случаю приказ.

Торжество вручения медали происходило конспиративным порядком в тишине зубокабинета, и сестра Пахомова волновалась.

Бахметьев произнес речь в стиле речей его превосходительства директора. Покашливал и, останавливаясь, долго рассматривал потолок.

Затем Домашенко строго официальным тоном огласил приказ, и Лобачевский на резиновой надувной подушке поднес сестре синюю бархатную коробку с медалью.

Последним выступил Хельгесен. Тоже с речью, но на французском языке, и с букетом из шести белых роз — по одной за каждый год службы сестры.

Прочие сдержанно аплодировали и приносили свои поздравления.

— Послушайте, — вдруг перебила их сестра, — почему же на этой медали изображены две собачки?

Лобачевский, однако, не растерялся.

— Это символ верности и милосердия, — пояснил он и посоветовал медаль ни в коем случае никому не показывать. — Оскар страшно разозлится, если узнает, что прошение шло помимо него.

— Конечно, конечно, — согласилась сестра. Спрятала медаль на груди, а цветы под фартуком и убежала, сияя гордостью.

— Жизнь великолепна, — резюмировал всё происшедшее Лобачевский, — но больше всего я хотел бы быть на ее месте, ибо, как известно, только дураки испытывают совершенное счастье.

— Брось, — с неожиданной резкостью ответил Бахметьев. — Мы с тобой тоже дураки.

10

В ночь с пятницы на субботу над койками, растопыренными пальцами вверх, сушились в мыле свежewe-мытые замшевые перчатки.

Утро субботы начиналось особо приподнятым настроением духа и особо старательным приведением в порядок собственной своей персоны.

До завтрака шли занятия, на которых трудно было сосредоточиться. Лекции тянулись значительно дольше обычного, и без часов казалось, что звонок определенно запаздывает.

Зато после завтрака время летело вихрем. Не хватало платяных и сапожных щеток, и перед зеркалами собиралось столько народу, что бриться приходилось, выглядывая из-за плеча впереди стоящего.

В два часа начиналось долгожданное увольнение.

— Господин лейтенант, старший унтер-офицер четвертой роты Бахметьев просит разрешения идти в отпуск. Билет номер тридцать два.

— Идите, — разрешил дежурный офицер, и, повернувшись кругом, Бахметьев пошел.

Он шел невесело. Он совсем не испытывал той радости, которую ему следовало бы испытывать, и даже ясный морозный день на набережной не принес ему облегчения.

Снег скрипел под его ногами, иней садился ему на башлык, солнце высоко стояло над Невой, и трамваи с веселым звоном сворачивали на Восьмую линию.

— Вася! — позвал его запыхавшийся Овцын. — Чудесно!

— Да, — согласился он, хотя ничего чудесного вокруг себя не видел. — Прости, мне налево. Я домой.

Овцын специально бежал, чтобы его догнать, и, конечно, обиделся. Но сразу же забыл о себе, потому что очень любил Бахметьева.

— Что с тобой такое?

— Со мной ничего такого, — сухо ответил Бахметьев. Приложил руку к фуражке и быстро зашагал прочь. Теперь он совершенно зря обхамил добрейшего Степу Овцына, и от этого ему стало еще хуже. Жизнь была невыносимо глупой и просто ни к черту не годилась.

Дома ждала расслабленная, вечно страдающая мать, запах одеколона и валерьяновых капель, новые жалобы на карточную игру усатого купидона отчима, на скверный характер хмурой сестры Вареньки, на масло, которое стоило полтора рубля фунт, на прислугу и на погоду.

Конечно, с деньгами было плохо, совсем плохо. Конечно, с фронта от старшего брата Александра снова не было писем. И, конечно, у Вареньки уже сидела ее подруга Надя, которую лучше было бы никогда в жизни не встречать.

Лихость. Проклятая, никому не нужная гадремаринская лихость. Пользуйся обстоятельствами и действуй. И, как назло, обстоятельства сложились благоприятно.

Он совсем не хотел на ней жениться. Она слишком много вздыхала и говорила о любви. У нее был альбом с невозможными стихами и коллекция фотографий актеров, которых она обожала.

Он вообще не собирался жениться сразу же по выпуске из корпуса. Это было бессмысленно и даже опасно для службы, и все-таки неизбежно. Есть вещи, которых порядочные люди, к величайшему сожалению, не делают. Но даже с женитьбой дело обстояло не просто. До выпуска оставалось пять с половиной месяцев, — слишком длинный срок в данном неприятном случае. Значит, предстояли объяснения с ее родителями и дома, укоры, нравоучения, слезы, истерики и всякое прочее.

— Моряк, — вдруг окликнул его картавый голос, и он остановился. Прямо перед ним стоял с иголки одетый, несомненно новоиспеченный, прапорщик како-

го-то чстыреста двадцать сьдмого пехотного полка:—
Честь полагается отдавать!

У прапорщика были голубые глаза навывкате и вообще не слишком умный вид. Можно было попытаться его разыграть:

— Прошу прощения, я не моряк, а старший гардемарин.

Прапорщик явно не понял что к чему, но всё же решил поднять брови:

— А что из этого, собственно говоря, следует?

— Собственно говоря,— строгим голосом повторил Бахметьев,— из этого следует, что я старше вас и что вам первому надлежало меня приветствовать.

— Позвольте...— начал было прапорщик, но рукой в белой перчатке Бахметьев его остановил:

— Вам не мешало бы знать, что флотский чин мичмана соответствует чину поручика и что старший гардемарин, чин, предшествующий мичманскому, есть не что иное, как подпоручик.— Для большей убедительности положил руку на палаш с офицерским темляком и кивнул головой:— Будьте здоровы.

Сошло. Определенно сошло. Прапорщик так и остался стоять с разинутым ртом. Лихо было сделано! Но внезапно Бахметьев замедлил шаг. Это опять была та самая гардемаринская лихость, черт бы ее побрал.

У дверей булочной шумели какие-то бабы. Почему их было так много и чего им не хватало?

Сидя на тумбе, плакал пьяный извозчик. Плакал и безостановочно повторял:

— Убили! Убили!

Смешно! Он вытирал слезу кулаком, в котором был зажат кнут. А может быть, это было совсем не смешно.

Все равно, задумываться не приходилось. Навстречу, на буксире у дряхлого осанистого бульдога, шел совсем такой же дряхлый отставной генерал. Нужно было, развернувшись, стать во фронт и ждать, пока кто-нибудь из них не соблаговолит отдать честь или сказать: «Проходите!»

Было бы отлично, если бы соблаговолит бульдог, и от этой мысли Бахметьев неволью улыбнулся.

Нет, жизнь все-таки была забавной. И солнце светило на полный ход, и воробьи чирикают как следует,

и даже огромный серый дом на углу Шестой линии и Среднего выглядел приветливо.

— Здравствуйте, Василий Андреевич, — открывая ему дверь, сказал швейцар, величавший его Василием Андреевичем с тех пор, как ему исполнилось пять лет. — Какова погодка-то!

— Красота, Терентий, красота! — согласился Бахметьев и через ступеньку побежал наверх. Все-таки чудесно было возвращаться домой, и, наверное, дома его ожидала какая-нибудь приятная неожиданность. Не иначе как Надя ошиблась.

Он позвонил резко и радостно, но в прихожей сразу похолодел. Его встретила сестра Варенька и злополучная Надя, обе молчаливые и обе с заплаканными глазами. Все было ясно, и теперь следовало взять себя в руки. Он выпрямился и сказал:

— Девицам привет!

— Здравствуй, — тихо ответила Надя, а Варенька только опустила голову.

Из кабинета отчима доносились заглушенные рыдания матери. Значит, ей уже рассказали. Глупые девочки. Пакость. Впрочем, рано или поздно это все равно должно было случиться, и теперь оставалось идти напрямик.

Он усмехнулся, оправил мундир, но, раскрыв дверь в кабинет отчима, почувствовал, что у него дыбом становятся волосы.

Откинувшись на спинку глубокого кресла перед письменным столом, сидел человек в защитном кителе с погонами артиллерийского капитана. Нет, не человек, потому что вместо головы у него на плечах был бесформенный шар из белого бинта.

И это был брат Александр.

11

Белый шар потом преследовал его во сне. Он так же медленно и невнятно говорил, и от его голоса холодели руки.

Войны не было, была глупость и подлость. Войны не было, был разгром, бойня, и теперь никакие снаряды не могли помочь. Грязь, вши и трупы. Самые разные: целенькие и рваные на куски, а на стене одного откоса троих солдат разрывом тяжелого

снаряда расплющило в дикий карикатурный барельеф.

— Перестань, — просил Бахметьев, но шар, расплываясь, качался в воздухе и смеялся. Смеялся с трудом, захлебываясь и кашляя, и Бахметьеву хотелось кричать, потому что это был брат Александр.

Нужно было от него бежать, но не слушались ноги, и останавливалось сердце, и нечем было дышать. Из последних сил он откидывался назад и просыпался в сводчатой, полутемной спальне четвертой роты.

Под красными одеялами лежали тела, и это было невыносимо страшно. Чтобы успокоиться, он вставал и шел пить воду, а потом, вернувшись, ложился и старался не уснуть. Слушал, как тяжело дышат спящие, и ждал, чтобы окна начали светлеть. Но окна не светлели, и он снова забылся и снова видел белый шар. И опять просыпался в испарине с металлическим вкусом во рту.

— Ты болен, — на следующий день сказал ему Лобачевский.

И Бахметьев рассказал ему всё, что мог.

— У меня в самом начале батьку убили, — ответил Лобачевский. — Но это тебе известно. — Подумал и взял Бахметьева за локоть: — Слушай, послезавтра у нас репетиция по минному делу, а я, как любила выражаться моя покойная бабушка, ни хрена в этом самом деле не смыслю. Будь другом, расскажи мне что-нибудь о пресловутой самодвижущейся мине образца двенадцатого года.

Но это не помогло. Бахметьев был просто не в состоянии рассказывать о минах.

— Тогда идем на кухню, — предложил Лобачевский. — Там сегодня Степа дежурит. Потребуем у него пирожных или, на худой конец, горбушек. Идем! — увлек за собой сопротивлявшегося Бахметьева и всю дорогу болтал без умолку.

Патаниоти сочинил для Ивана новое прозвище: полицейская ищейка Трезор. Вообразил, что это необычайно остроумно, и ходил счастливый. Всем рассказывал и первый смеялся, но в конце концов напоролся на Ивана. Сел на десять суток.

Иван неизвестно почему старательно выслеживал Степу Овцына. Всё с ним заговаривал и всюду за ним ходил, а вчера вечером полез за ним даже в галюн,

Тут, однако, произошло неожиданное и прелестное происшествие. Старательный Котельников, решив почтить нового ротного командира, сдуру скомандовал: «Смирно!»

— Конечно, для веселья все вскочили кто как был, и получилось табло. Котельников сел тоже на десять суток.

Вообще Иван свирепствует и, кроме всего прочего, клянется, что выведет Арсена Люпена на чистую воду. Подбил себе на ботинки резиновые подметки, ходит как привидение и одним видом своим вселяет в окружающих ужас.

Бахметьев шел молча. Ему было страшно слушать Лобачевского. Как будто тот говорил на не совсем понятном иностранном языке о вещах, которых он никогда в жизни не видел.

Тогда Лобачевский переменял тактику:

— Брось о своем думать, слышишь? Когда убили отца, я тоже сходил с ума, а потом понял — не надо думать. Надо что-нибудь делать. Все равно что.

— Ты прав, — ответил ему Бахметьев, — спасибо.

В буфетной красной медью блестели чудовищные стенные самовары, и перед ними суетились люди в белом. От длинной шеренги супников шел теплый, вкусный пар.

— Это война, — сказал Лобачевский, спускаясь по лестнице в кухню. — И твой брат еще дешево отделался. Челюсть у него зарастет, а с одним глазом люди тоже живут. Нельзя только смотреть в стереоскоп, но это несущественно. — И тем же равнодушным голосом закончил: — Вот мы и пришли.

Навстречу им на противнях несли сотни уложенных плотными рядами котлет и в огромных чанах дымящиеся горы пюре. Здесь, внизу, было еще больше движения, чем в буфетной, и только впереди, за стеклянной перегородкой, было тихо. Там сидел скучающий Степа Овцын с тремя младшими дежурными гардемаринами третьей роты.

Лобачевский открыл застекленную дверь и низко поклонился:

— Степан, мы бьем тебе челом. Наши организмы требуют еды и, в частности, пирожных.

Арсеном Люпенем, по-видимому, овладел приступ бешенства. За два дня он натворил столько дел, сколько за всё время своей плодотворной деятельности.

Его превосходительству директору прислал дешевый венок из железных цветов с надписью на траурной ленте: «Дорогому и незабвенному Виктору Алексеевичу от А. Люпена».

Начальнику строевой части генерал-майору Федору Ивановичу Федотову преподнес парадный кивер Павловского военного училища с запиской: «По Федьке шапка».

Дежурившего по корпусу Ветчину телеграммой предупредил, что ночью бриг «Наварин» выйдет в плавание, и, действительно, в ту же ночь, открыв пожарные краны, затопил весь столовый зал.

В лазарете вывесил плакат: «Завтра поставлю Оскару клизму» — и так напугал бедного Оскара Кнапперсбаха, что тот на следующий день не явился на службу.

И, наконец, ликвидировал журнал классных взысканий, что, пожалуй, было самым потрясающим из его подвигов.

Журнал хранился в кабинете инспектора классов, и, чтобы попасть в этот кабинет, нужно было пройти через классную канцелярию, где постоянно сидел похожий на мышь писарь.

Писарь был на месте, и сам инспектор классов генерал-лейтенант Кригер как раз просматривал журнал, когда пришел один из дневальных пятой роты и доложил, что его превосходительство инспектора какой-то гардемарин просит выйти в коридор.

В этом не было ничего необыкновенного, и Кригер вышел вслед за дневальным. В коридоре, однако, никого не оказалось, и, на всякий случай посмотрев по сторонам, он вернулся к себе.

Лежавший на столе журнал был разорван в клочки и сверху залит черными и красными чернилами и вдобавок гуммиарабиком. Конверт со штрафными записями пропал, а вместо него лежала визитная карточка Арсена Люпена,

Писарь всё время сидел на месте. Кто и каким образом мог проникнуть в кабинет и потом бесследно исчезнуть?

— Входили ко мне в кабинет, пока меня здесь не было?

— Никак нет, — ответил писарь неестественно громким голосом, и Кригер вспомнил: он был глуховат и спрашивать его о том, слышал ли он в кабинете какую-нибудь возню, не стоило.

А потому он приказал ему взять то, во что превратился журнал, и вместе с ним направился к дежурному по корпусу.

Как нарочно, дежурил Иван Посохов. Выслушав Кригера, он стал пепельно-серым и забегал по своей комнате.

— Эти вещественные доказательства нового злодеяния врага... — и от волнения задохнулся. — Ваше превосходительство, они вопиют о мщении, но, клянусь, я отомщу!

Кригер пожал плечами. Он был умным человеком, и пафос Ивана Посохова ему не понравился.

— Делайте ваше дело, — и повернулся, чтобы уйти, но Посохов его остановил:

— Разрешите осмотреть место происшествия?

Не хотелось, однако пришлось разрешить.

Посохов обошел весь кабинет, обстучал стены и внимательно обследовал замазанное на зиму окно. Потом, забравшись на стул, заглянул в вентилятор, потрогал выюшку и сокрушенно покачал головой. Потом спустился и принялся за письменный стол.

Чуть что не обнюхивал каждую бумажку и, прищурившись, отыскивал на опрокинутых чернильницах неизвестно зачем ему понадобившиеся оттиски пальцев преступника.

Наконец Кригер не выдержал:

— Вы бы лучше допросили писаря и дневального. — И, увидев, что Посохов уже вытаскивает из кармана свою красную записную книжечку, поспешно добавил: — Только где-нибудь в другом месте. Мне нужно работать.

Иван раскланялся и ушел, и с ним ушел больше чем когда-либо похожий на перепуганную мышь писарь. Теперь можно было спокойно подумать.

За двадцать два года службы в корпусе он не видел

ничего подобного. И не слышал, чтобы раньше такое случилось.

Странные наступили времена. Гардемарины играли в разбойников, а офицеры в сыщиков. Что здесь было причиной и что следствием?

Кригер пожал плечами. В конце концов это было безразлично. Игра получалась плохая, очень плохая. Она расшатывала самые основы всей системы корпуса, и чем она кончится, просто нельзя было себе представить.

А с чего она началась?

Гардемарины были такие же, как всегда. Как всегда, был хороший преподавательский состав и посредственный строевой. Директор, в конце концов, такой же, как все прочие директора.

Кригер спустил голову на руки и закрыл глаза. Ему было не по себе.

— В чем же дело? — вслух сказал он, и внезапно рядом с ним зазвонил телефон.

— Слушает инспектор классов.

— Ваше превосходительство, — пропищала телефонная трубка, — с вами говорит Арсен Люпен.

— Так... — И после небольшой паузы добавил: — Чему обязан?

— Разрешите принести вам свои извинения. Я вас глубоко уважаю и очень сожалею, что принужден был напасть в вашем кабинете.

Кригер улыбнулся печальной улыбкой:

— Что же вас к этому принуждало?

— Моя борьба со всяческими кляузами. Вы ведь понимаете, ваше превосходительство.

И совершенно неожиданно Кригер понял. Несмотря на свою седину и тяжелое золото генеральских погон, вдруг почувствовал себя самым настоящим гардемаринном. Это было очень глупое чувство, и очень хорошее. От него он даже покраснел.

— Допустим, что понимаю. — И во что бы то ни стало захотелось узнать, каким путем этот юноша пришел к нему в кабинет. — Послушайте, господин Люпен, как вы всё это проделали?

Теперь на другом конце провода наступила пауза. Наконец Арсен Люпен заговорил. Он готов был всё рассказать и надеялся этим хоть отчасти загладить свою неактичность.

Всё обстояло чрезвычайно просто. Еще до прихода его превосходительства инспектора писарь из классной канцелярии был вызван в приемную к городскому телефону. Зря, конечно, потому что ему никто не ответил. Но отнюдь не случайно, ибо к его возвращению Арсен Люпен уже сидел в одном из шкафов в кабинете инспектора классов.

Из этого шкафа он вышел, когда, также не случайно, вызвали самого инспектора в коридор. Сделал всё, что ему требовалось сделать, и вернулся в тот же шкаф. Окончательно покинул его, а заодно и кабинет, когда остатки журнала были отнесены к дежурному по корпусу.

Что, если бы нечаянно инспектор этот шкаф открыл? К счастью, этого не случилось, но Арсен Люпен был в маске и, несомненно, прорвался бы (пауза), несколько обеспокоив инспектора.

— Нахал же вы, я вам скажу.

— Так точно, — ответил Арсен Люпен, — но, согласитесь, иначе мне нельзя.

Соглашаться не было никакой охоты. Уже наступила реакция против прилива мальчишеских чувств, и левую руку свело внезапно проснувшимся ревматизмом. По-настоящему этого Арсена Люпена следовало бы изловить и выпороть! Вернее — с треском выгнать вон из корпуса.

— Откуда вы говорите?

— Из лазарета. Только простите, ваше превосходительство, ведь вы же не Иван Посохов.

Негодяй! Понял, в чем дело, и имел наглость прямо об этом сказать.

— Плохо кончите! — рассердился Кригер, повесил трубку и оттолкнул от себя телефон. Чтобы успокоиться, вынул из кармана носовой платок и громко высморкался.

Глупости. Конечно, он не был Посоховым и даже не собирался кому-нибудь рассказывать о своем телефонном разговоре, но то, что творилось в корпусе, было просто страшно. Просто невероятно.

И откуда только всё это пошло?

Он всё свое внимание и всё свое время отдавал службе. И не успевал думать о сдвигах, происходивших в большом городе за стенами корпуса и в огромной стране за пределами города.

На репетицию по минному делу Бахметьев явился с опозданием. Его задержали в роте всякие служебные обязанности, и он очень извинялся.

— Чепухи, чепухи! — густым басом успокоил его преподаватель по минному делу, необъятной толщины генерал-майор Леня Грессер. — Садитесь, молодой юноша, и вытрите вашу физиономию. Она у вас мокрая.

Бахметьев, действительно, был весь в испарине, и в ушах у него тяжелыми ударами отдавался пульс. Только усилием воли ему удалось включиться в окружающую его обстановку.

— Благодушен? — шепотом спросил он, садясь рядом с Домашенко.

— Не слишком, — ответил тот. — Зарезал Котельникова на приборе Обри. Обозвал его зубрилой и глупым попугаем.

Бахметьев раскрыл свою тетрадь, но в ней было слишком много чертежей. И он до сих пор не мог отдышаться.

На полу огромными блестящими рыбами лежали две торпеды. Третья, с вырезанными в стенках окнами, внутренностями наружу, стояла на козлах. Длинный стол, перекрытый брезентом, был полностью завален отдельными механизмами и деталями.

Противно на всё это было смотреть, и Бахметьев отвернулся.

— Ну вот! Ну вот! — басил Леня Грессер. — Значит, вам, уважаемый господин Овцын, кажется, что в подогреватель наливают спирт. Напрасно! Совершенно напрасно!

— Так точно, напрасно, — с места подтвердил Лобачевский. — Спирт наливают в маленькие рюмки.

— Вот это другое дело, — обрадовался Грессер, но вспомнил, что сейчас время не для шуток, и сделал строгое лицо. — Сидите тихо, нахал Лобачевский. Сам-то вы тоже ни черта не знаете.

— Что вы? — всплеснул руками Лобачевский. — Ваше превосходительство! Да ведь я больше всего на свете интересуюсь минным делом и когда-нибудь непременно стану флагманским минером Балтийского моря.

— Ну, тихо, тихо!

Но за всеми разговорами Леня Грессер не заметил, как Домашенко из-под парты показал Овцыну бумагу, на которой было написано: «керосин».

— Никак нет, керосин, — спешно поправился Овцын, — я оговорился.

— Ну понятно, керосин. Ясно, что керосин. Самый обыкновенный, который наливают, например, в при- мус. — Леня Грессер остановился, почесал бороду встачкой и провозгласил: — Оговариваетесь и плаваете, Садитесь, семь баллов.

— Ваше превосходительство! — нараспев огорчился Лобачевский. — Мы вас так любим!

— Мы вас так любим! — подхватило еще несколько голосов.

— Чепухи! — неуверенно заговорил Грессер. — Не годные мальчишки! Очень мне нужна ваша любовь! Плевать я хотел на вашу любовь! — Но тем не менее переправил отметку, которую только что поставил в журнал.

— Овцын, убирайтесь вон. Нечего подглядывать. Девять, хотя вы этого не стоите. Понятно? — Подумал и вызвал сразу двоих: — Бахметьев, Домашенко, пожалуйста сюда.

— Есть, — вставая, ответили оба вызванные, и, к своему удивлению, Бахметьев почувствовал, что не волнуется. Вероятно, его успокоил хороший голос Лени Грессера.

— Ну-с, вы нам сейчас кое-что порасскажете, только подождите минутку. Плетнев, а Плетнев!

Сидевший у печки инструктор по минному делу старший минный унтер-офицер Плетнев молча встал и подошел к Лене. Он был всего лишь матросом, но в своих отношениях с генералом Грессером не слишком придерживался уставных формальностей, и тот не протестовал.

— Будь другом, Плетнев, поверни мне эту штуковину. Я сегодня не могу. Я запыхался.

Штуковина оказалась многопудовой хвостовой частью, но в руках Плетнева повернулась с совершенно неожиданной легкостью.

— Ну и молодец! Вот спасибо!

Однако и тут Плетнев не произнес ни одного слова. Он был знающим и исполнительным специалистом, но на редкость молчаливым человеком. Надо полагать, что

Лене Грессеру это даже нравилось, потому что сам он обладал способностью говорить за двоих.

— Итак, Домашенко, мы с вами потолкуем о рулевом устройстве, а Бахметьев пока что подумает о том, как производится изготовление к выстрелу.

Это был самый пустяковый вопрос, какой только мог быть, и, конечно, Бахметьев к нему не приготовился. Впрочем, за всё последнее время ему вообще было не до подготовки. А плавать, как Овцын, было просто стыдно.

Домашенко отвечал уверенно и с прохладцей. Видимо, знал свою рулевую машинку в совершенстве.

— Черт, — пробормотал Бахметьев. Обидно было, что эта самая машинка попала не ему. Он тоже мог бы о ней порассказать.

Изготовление к выстрелу — небольшое дело, но в голову без толку, все сразу, лезли ненужные и нужные детали торпеды, и не удавалось сообразить, с чего начать.

Рядом с ним оказался Плетнев. Вероятно, он сразу понял, в чем дело, потому что взглянул на Бахметьева и улыбнулся одними глазами.

А потом сделал то, чего никак нельзя было от него ожидать, — взял со стола ключи, подал их Бахметьеву и еле слышно сказал:

— Запирающийся клапан. Стержень глубины. Прибор расстояния.

Наклонился к торпедке и с безразличным лицом стал протирать ее стрижкой. Дошел до хвоста и многозначительно постучал пальцем по стопорам на рулях и гребных винтах.

Почему он это сделал? Он не только никогда не подсказывал, но даже не разговаривал с гардемаринами. И теперь получилось как-то не совсем удобно.

— Бахметьев, прошу рассказывать.

Больше раздумывать было некогда, и Бахметьев заговорил. Чтобы заглушить свои мысли, заговорил быстро и решительно и рассказал всё, что следовало.

— Ну, умница, умница! — похвалил его Леня. — Посмотрим теперь, что вы знаете об ударниках.

Об ударниках Бахметьев знал решительно всё. Леня подпер голову кулаком и слушал его с видимым удовольствием на лице. Когда он кончил, Леня расплылся широкой улыбкой и обеими руками расправил бороду:

— Ну вот. Всё без осечки, Двенадцать, дорогой мой, двенадцать. Продолжайте в том же духе.

Тогда Бахметьев густо покраснел и почувствовал, что дальше оставаться в минном кабинете не может:

— Разрешите идти в роту, ваше превосходительство.

— Сделайте одолжение. Пожалуйста, и будьте здоровы.

И Бахметьев как стоял, так и ушел. Даже позабыл взять из парты свой учебник и тетради по минному делу.

14

В роте стоял сплошной гул. Воспользовавшись отсутствием капралов, кадеты развлекались как умели, и дежурный офицер, лейтенант Птицын, ничего не мог с ними сделать. Он был шляпой.

Первым, кого Бахметьев увидел, был восторженный Лавринович. Он барабанил кулаком по конторке и с увлечением пел «Тореадора», но кому-то это пение не понравилось, и рядом с ним в стену с размаху ударились табуретка.

Это, конечно, было безобразием и требовало принятия решительных мер. Бахметьев немедленно подошел к месту происшествия:

— Чья это табуретка?

— Казенная, господин унтер-офицер, — вскочив, ответил Лавринович. Красиво было отвечено. Даже малость слишком красиво. За такую красоту полагалась определенная мзда:

— Благодарю вас. Станете на два часа под винтовку. — Теперь сразу же нужно было найти следующую жертву: — Кушелев, что вас рассмешило?

— Никак нет, ничего, — растерялся Кушелев, — Я между прочим.

— Советую, между прочим, не хихикать. Готовьте ваши уроки. Это полезнее.

Еще кое с кем пришлось переговорить и еще троих поставить под винтовку. Тогда только в ротных залах наступила тишина, но на всякий случай Бахметьев продолжал прогуливаться между конторками.

Только что на репетиции он был мальчишкой, а сейчас сразу стал начальством и на малейшее нарушение

дисциплины был готов немедленно ответить полной мерой дисциплинарного взыскания.

Впрочем, ничего необычного в этом не было. Таковой была любопытная унтер-офицерская психология, над которой сам Бахметьев, кстати сказать, отнюдь не задумывался.

Приводя роту в порядок, он действовал просто по привычке и теперь также по привычке ходил взад и вперед из одного зала в другой.

И вдруг он остановился. Почувствовал, как у него подпрыгнуло сердце и всё тело прохватило холодом. Крайним напряжением воли сдержался — ведь на него со всех сторон смотрели кадеты — и медленными шагами пошел к умывалке.

Он в минном кабинете забыл свою тетрадь, а в ней то, что никак не годилось забывать.

Бежать, бежать что есть духу, пока кабинет не закрыли, найти тетрадь и ту штуку разорвать в клочки и спустить в первый попавшийся галльон.

— Вы уходите, Бахметьев? — пропищал неизвестно зачем слонявшийся по умывалке лейтенант Птицын. Он явно боялся оставаться наедине с кадетами, но на него было наплевать.

— Так точно. Нужно взять у товарища записки по химии.

Для виду пришлось остановиться у лагуна и выпить полкружки воды. Она была тепловатой, с медным привкусом. Сплошной мерзостью.

На лестнице удалось развить самый полный ход, но наверху, в холодном коридоре, склонив голову набок, стоял Ветчина. Бежать мимо него не годилось.

— Хм! — ни с того ни с сего сказал он. — Бахметьев!

Черт бы его драл. Теперь начнет разводить всякую муть на воде, нужно будет его слушать.

— Есть!

Ветчина, действительно, решил прочесть Бахметьеву кое-какую лекцию об обязанностях унтер-офицера. Для порядка он подобные лекции читал ему не реже чем раз в неделю.

Как всегда, начал с лирики. Он помнил Бахметьева еще ребенком, милым шалуном, кадетом шестой роты, и теперь счастлив был видеть его прекрасным юношей. Прямо-таки образцовым молодым начальником, сумев-

шим превосходно поставить себя со своими подчиненными.

Тетрадь лежала в крайней парте справа в первом ряду. Кто-нибудь мог случайно ее взять, и тогда случилось бы такое, что лучше не думать. Слух, конечно, разнесся бы по всему корпусу и рано или поздно дошел бы до начальства. Скоро ли эта гадина кончит свою песню?

Но Ветчина пел дальше. Ему хотелось, чтобы Бахметьев ему помог. По старой дружбе.

Смешная была дружба, но возражать не стоило.

Чтобы Бахметьев с этими подчиненными был строже. Мальчишки окончательно распустились, и нужно как следует их подтянуть. Не стесняясь наказывать и обо всех случаях докладывать ему, ротному командиру, потому что ведь все-таки у него было гораздо больше служебного опыта.

Больше служебного опыта — неплохая мотивировка для восстановления попорченной за последние дни системы доносов! Но хуже всего было то, что репетиция уже, наверное, закончилась и в любую минуту кабинет могли закрыть.

А Ветчина, увлеченный собственным красноречием, вздыхал, мотал своим печальным коровьим лицом и до бесконечности развивал всё ту же тему:

— Главное, обо всем докладывать, — и тут его голос понизился до таинственного шепота. — Вы понимаете, какое значение имеет эта прискорбная история с Арсеном Люпенем?

Бахметьев невольно усмехнулся, но, к счастью, Ветчина этого не заметил. Всё дальше и дальше шептал что-то длинное, путаное и непонятное, и наконец от шестеста его слов у Бахметьева начала кружиться голова.

И вдруг шепот оборвался, и нормальный голос Ветчины спросил:

— Вы нездоровы?

Бахметьев вздрогнул:

— Очень устал, господин капитан первого ранга. Только что сдал минное дело.

Ветчина скосил голову, что у него было признаком подозрительности. Наконец решил сделать вид, будто поверил, и забеспокоился:

— Ах! Ну, конечно, вы устали. Ступайте, отдохните.

Опять пришлось идти не спеша. Мимо пятой роты, мимо лавочки и направо. Но у самых дверей классной канцелярии, темный и задумчивый, стоял Иван Посохов.

К счастью, был свободен обходной путь звериным коридором. Только опять нельзя бежать. Иван мог выглянуть и, заинтересовавшись, заняться слежкой.

Сверху со стен недоброжелательно смотрели огромные лешные звери — кормовые украшения старинных корветов. Рысь припала на передние лапы и склонила голову набок, точно Ветчина. Буйвол поднял плечи и насупился, как Иван Посохов.

Существовало поверье, что этот буйвол приносит счастье. Идя на репетицию или на какой-либо другой риск, рекомендовалось подскочить и, изловчившись, шлепнуть его по соответствующему месту.

Теперь, впрочем, было некогда, нужно было спешить. Но, уже миновав буйвола, Бахметьев вдруг пожалел, что не заручился его поддержкой. Даже замедлил шаг и, чтобы успокоиться, должен был вслух сказать:

— Глупости!

И внезапно оказался лицом к лицу с самим его превосходительством директором. Еле успел стать во фронт.

— Кхе! — погладив бороду, сказал директор. — Здравствуйте, унтер-офицер Бахметьев.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

Откуда он знает его фамилию и с какой стати остановился? Неужели тоже начнет разговор?

— Кхе! — снова кашлянул директор. — Гуляете?

— Так точно, гуляю.

Пауза. Длинная, мучительная. Что же дальше?

— И я тоже гуляю, — сказал наконец директор. — Ха-ха, — и, величественно повернувшись, пошел во свояси.

Пронесло! Мимо парадной лестницы Бахметьев уже бежал и в картинной галерее чуть не натолкнулся на пасшегося там Степу Овцына.

— Слушай! — обрадовался Степа, хватая его за рукав. — Арсен Люпен выкинул новый трюк,

— Отстань. Знаю.

Но Степа не хотел его выпускать:

— Да нет же, не можешь знать. Нам только что рассказал Шевелев. У Кригера в кабинете...

— Всё знаю. Журнал классных взысканий, — перебил Бахметьев и сразу понял, что зря сболтнул. — Нам тоже Шевелев рассказал. Пустишь ты меня или нет?

Овцын покорно его выпустил, и он снова побежал. Теперь было безразлично, лишь бы не опоздать. Через пустой, полутемный и бесконечный столовый зал. Вправо, в лазаретный коридор. Еще немного — и вот дверь минного кабинета.

Но дверь оказалась закрытой, и сквозь стекла было видно: кабинет пуст.

— Так, — сказал Бахметьев и оперся о стену, потому что у него подгибались колени.

15

Первый приступ слабости быстро прошел. Еще далеко не всё было потеряно, только нужно было сохранять спокойствие.

Никто из товарищей его тетради не брал. Это удалось выяснить осторожными расспросами в роте. Значит, она осталась там, где была.

Конечно, ее найдут при первой же приборке и, конечно, представят по начальству. Скорее всего, это случится на следующее утро, но возможно, случилось уже. Инструктор Плетнев был человеком исполнительным.

Можно было его разыскать и посмотреть, что он думает. Или даже прямо попросить его открыть кабинет. Нет, всё это было слишком рискованно. Особенно в том случае, если тетрадь уже дошла до начальства.

Еще можно было попытаться ночью проникнуть в кабинет без всякого Плетнева. Просто подобрать ключ. Но и это было не без риска. Иван, если только ему доложили, был способен устроить засаду.

Бахметьев ходил взад и вперед по столовому залу и сам не заметил, как оказался в лазаретном коридоре. Его притягивала закрытая дверь кабинета, и, чтобы мимо нее пройти, ему пришлось сделать над собой усилие.

Дальше был лазарет, и в лазарете отдыхал Лобачевский. Верный друг и умный союзник. Но было трудно признаться ему в том, что сделал такую глупость.

И в дверях лазарета торчал ключ. Что, если подойдет? Что, если попытаться сейчас?

Искушение было слишком сильным. Бахметьев вынул ключ, быстрыми шагами возвратился к минному кабинету и, остановившись, прислушался. Была полная тишина, только на лестнице в третью роту тоскливо шипел радиатор парового отопления.

Ключ подошел в точности, и дверь раскрылась без скрипа. До первой парты было всего три прыжка, но в ней ничего не оказалось. Ни учебников, ни тетради с конвертом. На ощупь пустой ящик. Заглянул — тоже пустота.

Снова захотелось сесть, но нужно было выскочить отсюда возможно скорее, и сердце колотилось так, что даже мешало думать.

И еле успел Бахметьев закрыть за собой дверь, как со стороны столового зала послышались шаги. Он бросился им навстречу — так было легче — и на углу коридора прямо лицом к лицу встретился с Иваном Посоховым.

— Здравия желаю, господин старший лейтенант! — Странно, он был совершенно спокоен и вдруг вспомнил: наступление есть наилучший вид обороны. — Разрешите спросить, который час?

В темноте лицо Посохова осталось непонятным.

— Да, — глухо сказал он, — здравствуйте, Бахметьев. — И, подумав: — Примерно без четверти девять.

Теперь — отчаянный шаг:

— Я на репетиции забыл свои учебники, а кабинет заперли. Как бы мне их достать?

Посохов молчал. Сейчас он выглядел совсем как тот буйвол, и молчание его было невыносимым. Хотелось броситься и сбить его с ног. Знал он, наконец, или не знал?

— Ерунда! Пошлете дневального. Ступайте в роту.

Значит, не знал. Красота! И был не расположен к разговорам. Совсем хорошо!

— Есть! — весело ответил Бахметьев, по уставу повернул налево и пошел в столовый зал, но сразу замедлил шаги. Тетради у него все-таки не было. Куда же она девалась и что будет дальше?

Огромный зал был пуст. Тусклый блеск мрамора, маленькая лампочка над бригам и длинные черные те-

ни на паркете — сколько раз он всё это видел, но еще никогда так остро не ощущал, как сейчас.

Говорят, всегда любишь то, что скоро должен потерять. Городом, перед тем как из него уехать. Дорогими чертами лица, которое больше не увидишь. Кто это ему сказал? Чуть ли не поэт Степа Овцын, но когда и по какому случаю? И неужели это было так?

Он шел с тяжелым сердцем, и над ним в гулкой высоте шел звук его шагов. Больше ни о чем не хотелось думать. Хотелось, чтобы всему пришел конец. И чем скорее, тем лучше.

— Господин Бахметьев!

Это был Плетнев. Он стоял в тени под хорами, и Бахметьев его сперва не заметил. В протянутой руке он держал небольшой пакет:

— Вот, вы забыли. Возьмите.

Но Бахметьев не пошевелился.

— Возьмите, — повторил Плетнев. — И не беспокойтесь. Никто не узнает.

Тогда Бахметьев шагнул вперед, вырвал у Плетнева пакет и со всей силой пожал его руку.

— Легче, господин гардемарин, — усмехнулся Плетнев. — Еще кто увидит.

В самом деле, пожимать руку нижнего чина отнюдь не годилось, но сейчас было не до устава.

— Почему... — назвать Плетнева на ты, как того требовал тот же устав, Бахметьев не смог. — Почему вы это сделали?

— Спокойной ночи, — ответил Плетнев и сразу ушел.

Пакет был аккуратно завернут в газету и перевязан смоленой ворсой. Не терпелось его развернуть, и, кстати, поблизости никого не было.

Учебник минного дела, часть вторая. Описание самодвижущейся мины в 45 сантиметров, образца 1912 года. И, наконец, тетрадь, и в тетради тот самый конверт со штрафными записками, который он взял из кабинета Кригера.

Теперь пужно было бежать к Лобачевскому и на радостях придумать с ним что-нибудь посмешнее.

Утром горнист неожиданно сыграл большой сбор. Неожиданно, потому что по расписанию в этот день полагалась прогулка.

— Большой сбор! — кричали дежурные. — Большой сбор!

К рундукам бежали бегом со всех концов роты. Фуражки, подсумки и портупеи, а потом толкотня у пирамид с винтовками и лязг насаживаемых штыков.

— Становись! — уже командовал фельдфебель. — Направо равняйся! — И подбегали последние опоздавшие. — Смирно, равнение направо!

Второй неожиданностью было появление в старшей роте лейтенанта Стожевского. Одетый в строевую форму и при сабле с шарфом, он прошел вдоль фронта, лошадиному вскинул голову и крикнул:

— Здравствуйте, господа!

Рота ответила по положению, но удивилась: ее настоящий командир Иван Посохов еще вчера вечером был в дежурстве, а теперь куда-то исчез.

И сразу же по второй шеренге прошел неизвестно кем пущенный слух: Иван не то свернул себе шею, не то окончательно спятил с ума и ночью расстреливал из револьвера портреты в картинной галерее.

— Фельдфебель, — распорядился Стожевский, — ведите!

— Рота, направо! — скомандовал фельдфебель Метлин. — Шагом марш!

В картинной галерее, приставив ногу, уже ждала пятая рота. Третья и шестая входили в столовый зал с противоположной стороны, а посредине, у памятника Петру, окруженный офицерством, маленький и, видимо, смертельно злой, стоял генерал-майор Федотов.

Как всегда, построились во взводные колонны и выровнялись по линейным. Как всегда, офицеры заняли места в строю. Потом, по обыкновению, была тишина и в тишине звонкая команда:

— К встрече слева... слушай, на кра-ул!

Встречный марш — и, точно заводная, фигурка Федотова перед строем всего батальона. Резко оборванные звуки оркестра, и снова тишина.

— Здравствуйте, гардемарины и кадеты!

Гулкий и раскатистый ответ. Всё как всегда, ничего

необычного. Очередное обучение осточертевшим строевым красотам.

— К ноге! — И короткий стук прикладов о пол.

Так было сотни и тысячи раз, и так, по-видимому, будет до скончания века. Сухие команды и скука четких движений. Бесконечные репетиции бесконечных парадов.

Федотов поднимает руку с белым платком:

— К церемониальному маршу, на двух линейных дистанцию. Первая рота, правое плечо вперед!

Резкий выкрик Стожевского:

— Первая рота, первый взвод!

И молодой голос мичмана Шевелева:

— Первый взвод, равнение направо, шагом... марш!

Громкий и победный марш Морского корпуса, тяжелый шаг проходящих взводов, блеск сабель, вскинутых на караул. Новые команды и новые перестроения. Всё в точности, как в прошлый раз, и совсем так же, как будет на следующем учении.

И тот же конец: батальон снова стоит на месте, и опять перед фронтом прохаживается Федотов. И вдруг — полное нарушение установленного порядка:

— Кадетские роты... по ротам!

Почему одни кадетские? Что будут делать с гардемаринами?

А сделали с ними вот что: первую повернули правым плечом вперед, а третью — левым, и на середину образовавшей буквы П вышел генерал-майор Федотов:

— Стоять вольно! Мне нужно с вами поговорить.— И высморкался в тот самый платок, которым подавал сигнал к церемониальному маршу.— Гардемарины!

Он явно нервничал и, чтобы успокоиться, сделал несколько шагов:

— Гардемарины, на нас обрушился небывалый позор! Неслыханный позор, понимаете?

Но гардемарины ничего не понимали.

— Кто-то из вас... Да, я знаю наверное, что это кто-то из вас скрывается под личиной преступника и творит гнусные мерзости.

Он остановился и снова высморкался. У него, несомненно, был насморк.

— Мерзкие гнусности, которые несмываемым пятном ложатся на нашу честь, на честь нашего корпуса!

Постепенно его речь становилась понятнее, а главное — интереснее:

— Вчера в кабинете инспектора классов была совершена дерзкая кража. Кража в наших славных стенах!

Передние шеренги сохранили подобающее спокойствие, но задние позволили себе улыбнуться.

— Этот негодяй избрал мишенью для своих дерзостей всеми нами любимого и уважаемого генерал-лейтенанта Александра Христиановича Кригера. Разве это не позор?

Пока что это была всего лишь явная передержка и на слушателей особого впечатления не произвела.

— А знаете ли, что он сделал с нашим честным и самоотверженным командиром старшей роты Посоховым? Знаете ли вы, где сейчас находится наш дорогой Иван Акимович Посохов?

Этого гардемарины не знали. И очень хотели бы узнать.

— Сегодня ночью преступник украл... Да, именно украл у Ивана Акимовича записную книжку... — Нужно было сделать обвинение еще сильнее: — И бумажник с деньгами.

По строю прошел короткий вздох. Лгать было опасно, и Федотов это почувствовал:

— Во всяком случае, бумажника на Посохове не нашли.

На Посохове! Это звучало по меньшей мере интригующе, и, чтобы лучше слушать, весь строй наклонился вперед.

О ночной истории он, пожалуй, зря заговорил, но теперь приходилось продолжать. А чтобы собраться с мыслями, можно было снова воспользоваться носовым платком.

— Старший лейтенант Посохов был надежной опорой порядка и, естественно, возбуждал в злодее особую ненависть. — Нет, все-таки лучше было на эту тему не распространяться. — Сегодня ночью, в результате новых оскорблений и душевного потрясения, он сломал себе ногу и сейчас находится на излечении в Морском госпитале.

Это было совсем здорово и совсем непонятно, но Федотов сразу же свернул в другую сторону.

Снова заговорил о чести и о долге. Заверил слушателей в том, что их священная обязанность — самим найти поганую овцу, которая портит всё стадо, и исторгнуть ее из своих рядов. Или же, если они не захотят дать делу законный ход, принять соответственные меры в целях прекращения этого кошмара.

Говорил долго и убежденно, все время сморкался и к концу даже охрип. Но речью своей остался доволен и позже, прогуливаясь по классному коридору, сказал шедшему рядом с ним Стожевскому:

— Теперь, я думаю, они поняли. Теперь всё это безобразие должно закончиться. — Потянул из кармана носовой платок и вдруг остановился. А потом, точно ужаленный, отскочил в сторону.

Из его кармана на пол выпала визитная карточка Арсена Люпена.

17

Это был странный разговор. Вероятно, самый странный во всей жизни Бахметьева.

Плетнев через дежурного вызвал его из курилки, и они разговаривали в темноте на холоду, между двойными дверями выхода на Сахарный двор.

В корпус были приглашены сыщики из охранного отделения. Завтра же под видом вновь нанятых дневальных они должны были приступить к делу.

Откуда Плетнев это знал? Все равно откуда, но знал навёрное и предупреждал господина Арсена Люпена, чтобы тот поостерегся.

Почему предупреждал? С какой стати взял на себя миссию защитника? Всё это было дико и непонятно, но еще более непонятными оказались следующие новости.

В команде корпуса прекратили увольнения и отпуска. Возможно, что в субботу и воспитанников не выпустят. Нет, совсем не из-за арсен-люпеневской истории, — и Плетнев даже улыбнулся. Были другие, более веские основания и, между прочим, соответственный приказ командующего Петроградским военным округом.

Завтра утром Плетнев уезжал в Гельсингфорс. Как так? Просто по собственному желанию переводился на действующий флот. В этом ему помог генерал-майор

Грессер, а теперь он пришел просить помощи Бахметьева в другом деле.

Конечно, Бахметьев был рад помочь, но чем именно?

Вот чем! Плетнев уезжал утром и не имел возможности зайти к жене. Ну, прямо сказать, он с ней не был обвенчан, и его бы к ней не пустили. А нужно было переслать ей кое-какие документы и деньги, чтобы впоследствии она могла поехать за ним. Может, господин Арсен Люпен согласился бы занести? Это близко, на Шестнадцатой линии.

На действующий флот Плетнев переводился неспроста — это было совершенно ясно. Не менее ясно было и то, что жена, которая не жена, была введена в разговор для отвода глаз. И, кроме того, пакет выглядел слишком объемистым для денег и документов.

Но он был так же аккуратно завернут и перевязан такой же смоленой ворсой, как тот, который Бахметьев накануне получил от Плетнева в столовом зале.

Услуга за услугу, и, принимая пакет, Бахметьев тоже сказал:

— Не беспокойтесь, об этом никто не узнает.

Понимал ли он, за какое дело взялся? Разумеется, да, однако довольно смутно. Что он мог знать о революции и революционерах?

С детства всё представлялось сплошным злодейством, а вот двоюродный брат Миша был на редкость хорошим и веселым парнем и вдруг оказался красным. Но его сослали на Сахалин, и о нем в семье не принято было говорить.

И в церкви корпуса, кроме черных с золотом досок «Смертью храбрых павших в бою», были доски серого мрамора, посвященные «в мирное время погибшим при исполнении своего долга». И на одной из этих досок был список офицеров эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Традиционная верность монарху. Отечественная война с немцами. Чепуха! Везде была сплошная глупость, и всё на свете шло прямо к чертям собачьим. И брат Александр, честный офицер русской армии, задыхаясь, кричал:

«Выродки и предатели! Все: царь, министры, командование! Они дождутся! Всем свернут шею!»

Может быть, они уже дождались. Слишком странным был разговор Плетнева, слишком много спокойной уверенности звучало в его голосе.

Как бы то ни было, он дал слово и теперь собирался его сдержать: на следующий же день пойти в отпуск и отнести пакет по назначению. Впрочем, больше делать было нечего. По каким-то соображениям сам Плетнев идти на квартиру к своей жене не хотел и подстроил так, что за него пришлось идти господину Арсену Люпену. Ловко подстроил, ничего не скажешь, и Бахметьев покачал головой.

Чтобы уволиться, существовал только один способ: утром пойти на амбулаторный прием, показать какой-нибудь зуб с дуплом и заявить о своем желании лечить его у частного врача.

По таким делам в город увольняли только два раза в неделю, по вторникам и четвергам, но следующий день был как раз четвергом, и подходящее дупло в зубе имелось.

Однако, несмотря на записку Оскара Кнапперсбаха, дежурный офицер лейтенант Птицын сомневался.

Чего ради он, сопля такая, дежурил через день и почему не хотел отпускать? Ссылался на то, что ему казалось, будто отпуска к зубным врачам временно были прекращены, и вообще крутил и путал. Неужели уже действовал тот приказ, о котором говорил Плетнев?

Пришлось разыскивать Ветчину и изображать перед ним смертельную зубную боль. Однако и это не помогло. Ветчина мямлил, смотрел не в глаза — в левый угол потолка, просил подождать, а пока что советовал пойти в лазарет к фельдшеру. Положить в дупло карболки — это отлично помогает.

— Есть, — ответил Бахметьев и, так как уже был в шинели, пошел прямо на парадную лестницу и в город.

В случае чего решил сказать, что, одурев от боли, всё перепутал, а взять билет просто забыл. Конечно, это звучало не слишком убедительно, но идти было невозможно.

На улице стояла оттепель. С моря порывами дул сырой ветер, и снег падал мокрыми, тяжелыми хлопьями. Было тревожно и нехорошо.

Дом был кирпичный, с огромной слепой стеной, возвышавшейся над соседними крышами. Двор — колодецем с тяжелым запахом сырости. В полутьме черной лестницы надрываясь кричали коты.

Бахметьев дернул звонок у квартиры номер сорок семь. Дернул, а потом спешно стал снимать белые перчатки. Нужно было выглядеть попроще.

— Кого? — спросил из-за двери высокий голосок.

— Лазаря Циммермана, — ответил Бахметьев, — часовщика. — Так его научил Плетнев и, если что случится, посоветовал сделать вид, будто он принес часы в починку.

Если что случится, — и Бахметьев вдруг почувствовал, как у него забилося сердце.

— Кого? — повторил голосок на еще более высокой ноте.

— Часовщика Циммермана.

Дверь не отворилась. В припадке иступления наверху снова закричало кошачье трио, и нельзя было расслышать, что делалось в квартире. Наконец Бахметьеву надоело ждать, и он рванул звонок изо всей силы. Дверь раскрылась почти сразу, и на пороге оказался рослый широкоплечий человек с темным лицом. Не отпуская ручки двери, он спросил:

— Кто вы такой?

— Мне нужно видеть часовщика Циммермана. — Внешне Бахметьев был совершенно спокоен, но в действительности сдерживался с трудом. Человек, открывший дверь, ему определенно не понравился. Он мог быть кем угодно.

Вероятно, и Бахметьев, в свою очередь, показался незнакомцу подозрительным. Он долго и недоброжелательно его разглядывал, но наконец сказал:

— Пойдем.

В закопченной кухне, прижавшись к стене, стояла маленькая девочка. На руках она, точно ребенка, держала полено, и по глазам ее было видно, что она тоже не верит Бахметьеву.

В коридоре стояла совершенная темнота. Идти пришлось ощушью. Скрипел пол, и за одной из дверей слышался какой-то шорох. Было смутно и даже чуть

страшно, и в комнате, куда Бахметьев наконец попал, легче не стало.

Она была похожа на тюремную камеру: узкое окно, отсыревшие штукатурные стены, кухонный стол, табурет, железная кровать — и больше ничего. И рослый незнакомец вел себя как тюремщик. Закрыл дверь, прислонился спиной и спросил:

— Что вам нужно от часовщика Циммермана?

Бахметьев, смерив его взглядом, улыбнулся. Наступление опять было лучшим видом обороны, и для начала этого дяденьку следовало срезать:

— А кто вы, собственно говоря, такой, чтобы задавать мне вопросы?

Теперь улыбнулся незнакомец. От улыбки лицо его стало совсем молодым и добродушным, но доверять выражению лица никак не годилось.

— Кто я такой?

— Вот именно. — И Бахметьев слегка кивнул головой.

— Я Лазарь Циммерман.

Чепуха. Часовщик Циммерман, судя по фамилии и профессии, должен был быть маленьким, сгорбленным евреем в очках. Дядя явно врал.

— Вы уверены в том, что вы Лазарь Циммерман?

Голос Бахметьева звучал совершенно ровно, но вид у него, вероятно, был в достаточной степени растерянным. Циммерман рассмеялся:

— Ладио. Вам что? Часы починить? Может, вас Семен Плетнев прислал?

Всё это вовсе не было убедительным. Скорее даже тревожным. На всякий случай Бахметьев снял с руки часы-браслет:

— Пожалуйста. Иногда ни с того ни с сего останавливаются. Посмотрите, в чем дело?

— Слушайте, — ответил Циммерман. — Я в самом деле часовщик, и совсем не плохой. Я уже отсюда вижу, что часы ваши в полном порядке. — Покачал головой и снова тихонько рассмеялся. — Я же грамотный, а у вас на фуражке написано «Морской корпус». И неужели вы думаете, что я вас насквозь не вижу? — Открыл дверь и в коридор крикнул: — Катерина! Катенька! К вам пришли.

Бахметьев чувствовал себя глупо. Глупее всего оттого, что краснел как мальчишка. Кем же, в конце

концов, был этот человек и как с ним разговаривать?

В комнату вошла молодая женщина в темном платье и с нсей рябой широкоскулый солдат.

— Он от Семена, — сказал Циммерман и повернулся к Бахметьеву: — Это Катя Колобова, а это брат Семена Плетнева, Андрей. Знакомьтесь.

Пакет был адресован Екатерине Колобовой, и солдат в самом деле мог быть братом Плетнева. У него были такие же угловатые черты лица и такие же медлительные повадки.

Бахметьев молча расстегнул шинель, из внутреннего кармана вынул пакет и протянул его Катерине:

— Он уехал в Гельсингфорс, а это просил отдать вам.

Положение получилось самое дурацкое. Катерина пакет взяла, но держала его в руках и не знала, что с ним делать, солдат глядел волком, а Циммерман продолжал улыбаться. Нужно было возможно скорее уходить.

— Когда уехал? — спросила наконец Катерина.

— Сегодня утром.

Бахметьев застегнулся. Теперь осталось только приложить руку к фуражке, коротко распрощаться и уйти. Но солдат его остановил:

— Вы что, из этих самых морских юнкеров?

— Гардемарин. — Разговаривать с рябым солдатом, хоть он и был братом Плетнева, Бахметьеву вовсе не хотелось.

— А почему вы сюда пришли?

Бахметьев пожал плечами:

— По просьбе вашего брата. — Вынул белые перчатки и демонстративно стал их натягивать. Он чувствовал себя ущемленным и во что бы то ни стало должен был восстановить свое превосходство. — Скажите, а вы почему сюда пришли? Если не ошибаюсь, увольнения запрещены приказом командующего округом. Не так ли?

— Приказом?.. — насмешливо протянул солдат. — Нашему полку теперь много не прикажешь. Мы еще вчера отказались идти на фронт и повыгнали всех наших господ офицеров.

Бахметьев пошатнулся, как от удара. Это было просто невсροятно, Конечно, что-то надвигалось, но неуже-

ли зашло так далеко? Это же был бунт! И, несмотря на всё, что раньше было передумано, вдруг всплыла мысль: отказ идти на фронт — измена.

— Счастливо оставаться! — махнул перчаткой и вышел в коридор. Выходя, услышал, как сзади в комнате кто-то засмеялся. Наверное, опять Циммерман.

По лестнице, гремя палашом, бежал через ступеньки, а сверху вдогонку с явной издевкой в голосе кричали всё те же коты.

Выскочил на улицу и еле отдышался. Пошел к Неве как мог быстрее, но у Большого проспекта вынужден был остановиться. Весь проспект был запружен толпой с красными флагами.

— Что это такое? — и сам не заметил, что подумал вслух.

— Это наши, — объяснила баба в черном платке, — Балтийский завод. И казаки их не трогают.

Действительно, в перерыве между двумя колоннами демонстрантов тихо и смиренно ехал разъезд казаков. Они посмеивались и шутили с напиравшими на них рабочими. У одного из них на уздечке висела красная лента. Этого не могло быть!

— Да здравствуют наши моряки! — вдруг закричал в толпе женский голос. — Ура героям «Потемкина» и «Очакова»!

Толпа закричала: «Ура!» — и Бахметьев почувствовал, что сходит с ума. Это его приветствовали! Это он, старший гардемарин Морского корпуса, попал в революционные герои. Каким образом? И, вообще, что же здесь происходило?

Его подхватили на руки и втащили в колонну. Он не сопротивлялся. Механически шел со всеми и пробовал сосредоточиться, но не мог. Гудела голова, мешали выкрики, толкотня и пение.

Что они пели? Кажется, «Марсельезу», только какую-то странную. Такой он никогда не слышал.

— Долой кровавого царя и его прохвостов! Долой министров-изменников!

Совсем как говорил брат Александр. Значит, царь и правительство уже дождались! Но что же будет дальше?

— Ура нашим братьям казакам! — Даже казаки, верная опора, и те от них отвернулись. И снова: — Да здравствуют революционные моряки, ура!

Теперь было ясно: толпа обозналась, увидев его матросскую фуражку. И еще было ясно: нужно убежать. Как угодно, только немедленно.

Выйти из колонны ему удалось на углу Двенадцатой линии. Вся Двенадцатая линия до самой Невы была совершенно пустой, и над ней длинной желтой стеной возвышалось здание корпуса.

Что же будет дальше?

Лобачевский запахнул на себе белый халат, поднял палец и стал в позу театрального заговорщика:

— Здесь, в тиши сего гальяона, нас никто не услышит, и я могу сообщить тебе важные новости.

— Да? — Бахметьев был совершенно бледен, но Лобачевский, увлеченный своими новостями, этого не замечал.

— Слушай, ночью мне удалось пробраться в общую канцелярию и там на машинке отстукать в двадцати экземплярах гениальное произведение Ивана Посохова. Сегодня же мы его соответственно распространим.

— Какое произведение? — Бахметьев опять не понимал того, что говорил Лобачевский. Когда-то это с ним уже было, но когда именно, он вспомнить не мог. Просто не понимал ни одного слова. — Куда распространим?

— Проснись, шляпа! — и Лобачевский подтолкнул его кулаком. — Называется «Погоня за таинственным преступником» и состоит из собственных записок нашего самоотверженного Ивана Акимовича с соответствующими комментариями и дополнениями. Там всё есть: как он подстерегал злодея и заснул на своем посту, как мы накрыли его простыней и испускали нечленораздельные звуки и как он со страху прострелил себе ногу.

Это был какой-то бред. Не верилось, что это случилось в действительности и что он сам принимал в этом участие. А может, то, другое, что он видел на улице, было бредом? Нет, в его ушах еще до сих пор звучали крики и пение, и от них никуда было не уйти.

— Слушай, ты, — голос его был хриплым, но овладеть им он не мог — Всё кончено Совсем. Понимашь? И эти глупости тоже. Их забыть надо.

Только тогда Лобачевский заметил, что у Бахметье-

ва тряслись руки. Угостил его папиросой и молча смотрел, как он, прежде чем закурить, изломал две спички.

— Теперь рассказывай по порядку.

— По порядку? — Бахметьев затянулся дымом и закашлялся. Никакого порядка больше не существовало. Весь мир с головокружительной быстротой скользил неизвестно куда, и всё на свете рушилось сразу. — Это ты брось.

Он заговорил как мог. Путаясь и сбиваясь, перебрасываясь с одного на другое. Обо всем, что случилось, и тут же о том, что думалось.

Вот весь Морской корпус со всеми его безобразиями, и вот вся Россия. А потом сразу, ни с того ни с сего: конверт, забытый в минном классе (раньше он о нем не хотел говорить), отчаяние и первая встреча с Плетневым.

Вторая встреча, странный разговор в темноте между дверями и квартира на Шестнадцатой линии, — иначе он поступить не мог. То, что рассказал солдат, брат Плетнева, очень на него похожий, и слова собственного его брата Александра. И, наконец, Большой проспект, где он был всего полчаса тому назад. Красные знамена, песни, выкрики и ухмыляющиеся лица казаков. Конец, и что дальше — неизвестно.

Лобачевский слушал, не отрываясь. Даже не заметил, как у него во рту потухла папироса. Только когда Бахметьев кончил, вздрогнул, выплюнул окурочек и сказал:

— Ты с ума сошел. Ты... — но остановился, из портсигара достал новую папиросу и снова закурил. — Нет, кое-что и я слышал, только не обратил внимания. Говорили, будто бастуют заводы, но ведь они почему-то всегда бастуют... Всё равно ты врешь. Этого всего не может быть.

Но тем не менее всё это было. В ротах уже знали и про забастовки, и про разгром булочных, и про то, что войска были ненадежны.

Новости приходили неизвестно откуда. Одно и то же известие слышали будто от кого-то из офицеров, по телефону из города и от матросов, строевых инструкторов.

Но офицеры, когда их прямо спрашивали, молчали, по телефону говорить было запрещено, а матросов-инструкторов нигде было не найти.

Сперва не верили, не могли поверить. Отшучивались и смеялись. Потом начали прислушиваться. Всё те же вести шли со всех сторон, и становилось страшно.

Из угловых окон пятой роты видели толпу на Николаевском мосту. За наступившей темнотой никаких флагов разобрать не могли, но черная человеческая масса шла безостановочно, и конца ей не было.

Поползли новые, еще более тревожные слухи. Где-то шла перестрелка с городовыми. В каких-то казармах убили дежурного офицера.

Говорили вполголоса и ходили, стараясь не шуметь, как в доме, где лежит мертвец.

Потом был мучительно резкий сигнал к вечернему чаю. Он эхом прокатился точно по пустому помещению, но никто его не подхватил. Даже дежурные молчали.

Строились и шли всё с теми же трудными мыслями. Что же случилось и что будет дальше? Расселись по столам и пили чай в такой тишине, какой столовый зал еще не знал с самой своей постройки.

Он был необъятным, этот зал, и в нем была вся история двухсот с лишним лет. Бронзовый Петр, основатель Навигацкой школы, имена героев на георгиевских досках и связки плененных знамен. Но в его окнах стояла темнота, и в этой темноте вся история кончилась.

И в зале было холодно.

По внезапному сигналу горниста вскочили с мест и, вскочив, по положению повернулись к проходу. Ветчина, дежурный по корпусу, мелкой рысью бежал от своего столика к хорам, а навстречу ему медленно шел его превосходительство директор.

Так же медленно он вышел на середину зала, кашлянул в бороду, но ничего не сказал. Долго осматривался, еще раз кашлянул и только тогда поздоровался. Корпус ответил неуверенно и негромко.

Снова наступила тишина, и в этой тишине трудно было дышать и страшно было думать.

— Гардемарины и кадеты! — Голос директора звучал тускло и так тихо, что приходилось напрягать слух. — Нашему врагу, Германии, сегодня удалось одержать самую крупную победу за всё время этой беспримерной, охватившей весь мир войны.

Опять остановился и заговорил еще тише. Доходили только отдельные слова о германских агентах. Их зо-

лото руками врагов общества и предателей своей родины, революционеров, вызвало беспорядки на столичных заводах.

Темный народ, который не ведает, что творит. Приостановка производства снаряжения и возможные гибельные последствия для фронта. Опасность! Большая опасность!

Дальше что-то совсем неслышное насчет запасных полков и присяги государю императору. — Изменили они или, наоборот, верны этой присяге?

— По воле божией... — снова пропуск. Бормотание, от которого охватывает дрожь, трясение мелькающей в глазах белой бороды. — Но, конечно, — здесь голос как будто снова окреп, — конечно, не позже чем через два-три дня порядок снова будет восстановлен, и великая Россия победит!

Взмах рукой и неожиданный конец:

— По ротам!

Почему-то не попрощался и даже не дал допить чай. Почему-то остался на середине, пока все не ушли из зала.

И в ротах не знали, что думать.

Степа Овцын чуть не кричал о славе жертвы и о жертве славы, а только что выпущенный из карцера Котельников торжественно клялся умереть.

Барон Штейнгель их успокаивал. Умирать им не придется. Народ образумится, а если нет, его поучат пулеметами. Всё будет в порядке, так говорил сам директор, и ему нужно верить.

— Верь, — с горечью сказал Бахметьев. — Дурак! Всему на свете верь: и немецкому золоту, и тому, что сейчас солдаты будут стрелять в народ.

— Как ты смеешь! — Штейнгель вскочил на ноги и горячо заговорил о верности и победе, но под градом насмешек Лобачевского сел. А сам Лобачевский налил себе воды ипил ее, стуча зубами по краю фарфоровой кружки.

— Плохо, — резюмировал Домашенко, — идем спать. — И снова, так же как и в прошлый раз, был прав.

В эту ночь у ворот, на парадной лестнице и по всем угловым помещениям, выходящим на улицу, были выставлены караулы, снабженные полным боевым запасом.

И в ту же ночь в картинной галерее, против ниши дежурного по батальону, появился плакат:

Я УМЕР

А под плакатом, разорванные в клочки, были рассыпаны последние визитные карточки Арсена Люпена.

20

Утром на прогулку не пошли и не знали, что с собой делать. С опаской посматривали в окна, но улицы были пусты.

В положенный час собрались по классам, но там преподавателей не дождалось. Сидели одни от звонка до звонка, — странно было, что звонки продолжали действовать с прежней точностью, — и в перерывах ходили курить.

На третьем уроке распространился слух об измене, — адъютант, якобы по приказанию директора, снял караулы. Это было невозможно: не мог же директор сдать свой корпус предателям, купленным на немецкие деньги, мятежникам, которые через два-три дня все равно будут усмирены.

Охваченные паникой, разбежались по ротам, — там всем вместе было не так жутко. И как раз в это время со стороны Одиннадцатой линии и с набережной подошла толпа.

Из окна она казалась враждебной и зловещей, хотя на самом деле имела дружеские намерения. Она просто пришла звать за собой Морской корпус и была уверена в том, что он пойдет, как пошли почти все воинские части и военные училища столицы.

Отшатнувшись от окон, бросились к винтовкам. Это было неизбежным следствием всей знаменитой двухсотлетней истории, всяческих, старых традиций, а главное — произнесенной накануне вдохновенной речи директора.

Кричали, толпясь у пирамид. Гнали прочь и сбивали с ног изменников-офицеров, пытавшихся стать на дороге.

А сам его превосходительство директор вышел на верхнюю площадку парадной лестницы и там в одиночестве ждал конца. Еще с утра из телефонных раз-

говоров с Морским министерством он знал о действительном положении вещей, но созвать гардемарин и кадет и перед ними отказаться от своих слов он не мог. У него не хватало сил.

И конец пришел. Дверь широко распахнулась, и через порог хлынула сплошная веселая толпа. Его превосходительство двинулся ей навстречу, и в недоумении она остановилась. Тогда, высоко подняв свою белую бороду, он спросил:

— Что вам здесь нужно?

И толпа, не расслышав, ответила:

— Ура!

Ей было занято вплотную рассматривать настоящего адмирала, и вообще она была в отличном настроении духа.

Но адмирал, внезапно побагровев, взмахнул рукой и гневным голосом закричал:

— Вон! Вон отсюда!

Сперва отпрянули назад. Еще действовал старый страх перед черными орлами на золоте погон. Но потом, почти сразу же опомнившись, закричали в ответ. Набросились со всех сторон, схватили за руки и всей тяжестью притиснули к стене.

Задыхаясь, он выкрикивал угрозы и проклятия, своим большим телом бился, как пойманная рыба, но на него не обращали внимания. Громко пели и шли вверх по широкой лестнице.

21

Смятение, стрельба и крики. Штыковая атака кучки гардемарин третьей роты на кухонном дворе.

Старшую роту вовремя успел остановить генерал-лейтенант Кригер — к счастью, ему поверили, — а четвертую просто запер на ключ унтер-офицер Бахметьев.

Старик Леня Грессер, упавший на лестнице и разбивший в кровь лицо. Он оказался героем — сумел вернуть на место всех, кто выбежал во двор.

Одиночные выстрелы с чердака, ответные залпы улицы, солдаты, ворвавшиеся в картинную галерею, и новая дикая сумятица.

Потом крики:

— Во фронт! Во фронт! Винтовки в козлы! Во фронт!

Все равно защищаться было невозможно. Все равно пришел конец. Ставили винтовки в кóзлы и строились безоружные.

Тогда началось самое трудное. Стояли и смотрели, как победители охапками выносили оружие, винтовки и палаши — то, что двести лет учили считать самым священным.

Стояли опустив головы и руки, стояли смертельно долго — больше часа, и были распушены только когда последние из победителей покинули корпус.

Разошлись, но ни разговаривать, ни смотреть друг на друга не могли. С опозданием на три часа получили обед, но есть тоже не смогли.

Потом, вернувшись в роты, выслушали новый приказ исполнявшего обязанности директора корпуса генерал-лейтенанта Кригера: увольнение по домам впредь до особого распоряжения, которое будет дано циркулярным письмом,

22

Бахметьев и Лобачевский из корпуса вышли вместе. На набережной стояла темень и пустота. И такая тишина, что просто не верилось.

— Холодно, — сказал Бахметьев, и Лобачевский кивнул головой. Потом вдруг остановился:

— Знаешь, у меня без палаша такое чувство, как без штапов, — но махнул рукой и пошел вперед. — Глулости... Пройдет.

Долго шли молча. Наконец Бахметьев взял Лобачевского под руку:

— Ты прав, Борис. Всё пройдет. И, знаешь, может, оно к лучшему.

С самой шестой роты они всегда были вместе. Учились в одном классе и рядом стояли в строю, вместе плавали и гребли на одном катере, вместе ловчились в лазарет и делали «Арсена Люпена».

Но тут на углу Седьмой линии и набережной они разошлись. Резким рывком Лобачевский высвободил свою руку и коротко сказал:

— Прощай!

— Прощай!

Что теперь оставалось делать? Сворачивать налево и идти домой? К отчиму и матери в невыносимую истерическую духоту квартиры на пятом этаже?

И внезапно Бахметьев свернул направо. Через Николаевский мост на Конногвардейский бульвар — к Наде. Может быть, она сумеет помочь.

ПОВЕСТЬ

1

Самая лучшая служба, конечно, на миноносцах. Не очень спокойная и не слишком легкая, особенно в военное время: из дозора в охранение и из охранения в разведку; только пришел с моря, принял уголь, почистился — и пожалуйста обратно ловить какую-нибудь неприятельскую подлодку, или еще чем-нибудь заниматься. Словом, сплошная возня с редкими перерывами на ремонт, когда тоже дела хватает.

И всё же отличная служба. Совсем не такая, как на больших кораблях, которые воюют, преимущественно оставаясь в гаванях, и от скуки разводят всевозможную строевую службу и торжественность в казарменном стиле.

Стоит себе такая штука в двадцать пять тысяч тонн на якоре, согласно диспозиции. С утра и до ночи проводит одни и те же учения и приборки, с музыкой поднимает флаг и с музыкой его спускает, на одном и том же месте разворачивается по ветру, от времени до времени малость дымит и больше ничего не делает.

Начальства много больше, чем хотелось бы, и команды столько, что даже лиц не запомнишь. В помещениях можно заблудиться, а в каютах нет иллюминаторов, и круглые сутки гудит вытяжная вентиляция. Не видишь ни моря, ни берега, а только свою стальную коробку, и вся работа молодому мичману — вахтенным офицером стоять на баке, следить за тем, в какую сторону смотрит якорный канат.

Нет, служить надо на миноносце. Будь ты хоть самого последнего выпуска, на походе ты стоишь самостоятельным вахтенным начальником, а в кают-компании чувствуешь себя человеком. Конечно, выматываешься до последней степени, зато учишься делу, а в свободные часы живешь просто и весело.

Так весной 1917 года думал только что выпущенный из корпуса мичман Василий Андреевич Бахметьев. Так, помнится, думал в те времена и я, служил на малых кораблях и был вполне счастлив.

Не менее счастлив был и Бахметьев. В кармане у него лежало предписание: явиться на эскадренный миноносец «Джигит». День стоял ясный и теплый, и было отлично, с чемоданом в ногах, ехать на автомобиле по чистеньким улицам Гельсингфорса, в новенькой аккуратно пригнанной офицерской форме.

А то, что вместо привычных погон были нарукавные нашивки, особого значения не имело. Даже было красиво. Совсем как в английском флоте. И вообще о погонах жалеть не приходилось. Заодно со всем прочим они были сметены революцией, и от этого могло стать только лучше. Слишком уж неладен был старый порядок. Вернее — беспорядок.

Правда, новая эра началась страшновато и пока что выглядела тоже не слишком благополучно, однако иначе и быть не могло. Произошел взрыв, а взрыв всегда бывает страшным. Но, конечно, со временем всё утрясется, и тогда обновленная страна победит в войне с Германией, и дальше пойдет великолепная жизнь.

Из всех этих рассуждений Бахметьева, по-моему, с полной очевидностью явствует, что ему было всего лишь двадцать лет, что он был опьянен весенним воздухом и своим чудесным превращением из воспитанника Морского корпуса в офицера российского флота и что в тонкостях морской службы он разбирался несравненно лучше, чем в политике.

Впрочем, должен отметить, что большинство его сверстников по выпуску, и даже старших его товарищей офицеров, было еще наивнее. Они даже не представляли себе, почему вообще произошла революция, и предпочитали об этом не думать.

Автомобиль остановился на перекрестке, и две девушки шведки, взглянув на Бахметьева, улыбнулись. Как и следовало ожидать, он улыбнулся им в ответ, но сразу же снова стал серьезным. Ему, женатому человеку, подобное легкомыслие было не к лицу.

Сил нег, сколько самых разных глупостей люди делают в двадцатилетнем возрасте! Делают запросто и между прочим, а потом всем на свете, и в том числе самим себе, доказывают, будто так и надо.

Бахметьев, например, своей женитьбой был чрезвычайно доволен. Во-первых, по его понятиям, она была поступком благородным и красиво искупала последствия другого поступка, несколько опрометчивого.

Во-вторых, на пути к ее осуществлению ему пришлось преодолеть немалое сопротивление родных, и теперь, поставив на своем, он чувствовал себя человеком взрослым и вполне самостоятельным.

И, наконец, Надя была очень славной девочкой, и было занято на третий день после производства представлять ее своим товарищам: «Моя жена».

В одном из этих нарядных домов, может быть на этой самой улице с деревьями, они снимут маленькую квартирку. Совсем маленькую: две комнаты, кухня и подобающие удобства. Любопытно будет в ней расставлять вещи и придумывать уют.

Но еще любопытнее будет то, что, судя по самой простой медицинской арифметике, должно произойти не позже чем через три месяца, хотя сейчас по Надежной фигуре почти ничего не было заметно.

Молодчина Надя, хорошо держалась. И тоже хотела, чтобы был сын. Вздыхала, морщила нос и говорила, что с девчонками одно сплошное беспокойство.

Сама-то она была девчонкой. Сейчас на полный ход изучала какой-то учебник домоводства и что-то о младенцах. Просто умора. Заканчивала в Питере какие-то таинственные приготовления, а приехать сюда должна была в начале той недели, так что с квартирой следовало поторапливаться.

— Десять марок, — сказал шофер, и от неожиданности Бахметьев вздрогнул. Машина стояла — значит, они приехали. Очевидно, за этими железными воротами и был Сандвинский судостроительный завод.

— Прошу. — И Бахметьев протянул шоферу три пятимарковых бумажки. Пусть чувствует каналья, кого он вез!

Выскочил из автомобиля, вытащил чемодан и с лягом захлопнул за собой дверцу. Жизнь начиналась отменно хорошо. И, по-видимому, всем было так же весело, потому что даже сторож, распахнувший перед ним калитку — хмурый финн с винтовкой, — и тот улыбнулся.

— Дядя, — спросил Бахметьев, — где здесь ваш знаменитый сухой док?

— Туда, — ответил финн, неопределенно махнув головой.

— Ну туда, так туда, — согласился Бахметьев и быстро зашагал между двумя кирпичными зданиями. Яростно звенела пила, гулками ударами бил молот, и весь тротуар дрожал от работы какой-то машины. Это тоже было отлично. Завод делал свое дело.

Но всё же пришлось замедлить шаг. Чемодан не то чтобы был слишком тяжелым, однако бил по колену, и ручка у него была неудобная.

Нет, он зря дал шоферу целых пять марок на чай. Такая щедрость — дурацкий старорежимный шик, и, кроме того, теперь полагалось соблюдать самую строгую экономию.

Где же, кстати, был этот самый сухой док?

Правая рука начинала болеть, и чемодан пришлось перекинуть в левую. Все-таки он весил около двух пудов, но унывать не стоило. Док должен был быть где-то рядом, а на корабле можно отдохнуть.

На корабле... Это звучало чрезвычайно приятно. Начиналась настоящая служба, та, к которой он готовился пять лет. И начиналась она, как он всегда мечтал, на миноносце. Чего же еще желать?

Впрочем, можно было пожелать, чтобы этот миноносец оказался поближе. Чемодан сильно резал левую руку, и становилось определенно жарко.

Но за поворотом открылись новые красные здания, и никакого дока не наблюдалось. Собственно говоря, десять марок тоже было слишком дорого. Разбойник-шофер знал, что везет новичка, и просто-напросто его обобрал. А сторож — чтоб ему пусто было — всё это видел и над ним посмеялся. И вдобавок послал его «туда». Куда именно, хотелось бы знать?

Как назло, некого было спросить дорогу, а чертова пила визжала как оглашенная и не давала думать. Пришлось снова менять руку. Какой мерзавец изобрел эти плоские чемоданы с острыми углами?

Новый поворот — и опять ничего утешительного. Горы железной стружки и мусору, а дальше глухая стенка. Значит, нужно поворачивать в другую сторону, а в какую — неизвестно.

Бахметьев поставил чемодан наземь, помахал в воздухе затекшей рукой, отер пот со лба и вполголоса выругался, но сразу же совсем рядом услышал дудку

вахтенного и, подняв глаза, над крышей соседней мастерской увидел две мачты. Теперь всё было в порядке.

И действительно, док оказался всего в нескольких десятках шагов, и в доке стоял темно-серый трехтрубный миноносец.

2

На стук никто не отозвался, и сквозь полуоткрытые занавески Бахметьев увидел, что командирская каюта пуста. В каюте старшего офицера тоже никого не оказалось. Дальше был буфет, а за ним, по-видимому, кают-компания. И, распахнув дверь, Бахметьев в изумлении остановился на пороге.

Спиной к нему, вплотную к столу, стоял высокий человек в люстриновом кителе без нашивок. Раскачиваясь на широко расставленных ногах, он медленно опускал руку с нагайкой. Вдруг нанес удар и громко сказал:

— Сто сорок три! — наклонился к столу, внимательно его осмотрел и с удовлетворением в голосе добавил: — Даже сто сорок четыре!

Смущенный Бахметьев кашлянул, и человек у стола, не оборачиваясь, спросил:

— А?

— Простите... — начал Бахметьев, но запнулся. Разговаривать с неизвестно чьей спиной, не зная, как к ней обращаться, было трудновато.

— Так и быть, прошу. Продолжайте. — И незнакомец наотмашь ударил по дивану. — Сто сорок пять!

Кем же он все-таки был, этот человек, и с какой стати лупил нагайкой по чему попало?

— Вы не знаете случайно, где здесь командир?

— Случайно знаю. — И, выпрямившись, высокий незнакомец повернулся лицом к Бахметьеву. — Я командир.

Сразу же руку к фуражке и официальный тон:

— Честь имею представиться, Мичман Бахметьев. Назначен в ваше распоряжение.

— Здравствуйте. Константинов. — Переложил нагайку в левую руку, а правую протянул Бахметьеву: — Алексей Петрович.

Рукопожатие тоже вышло нескладным. Рука командира была со скрюченными мизинцем и безымянным

пальцем, и от этого Бахметьев почему-то окончательно сконфузился.

— Ну-с,— сказал Константинов,— закройте рот, снимите фуражку и присаживайтесь.— Он слегка заикался, и на лбу у него горел ярко-красный шрам, но голубые глаза из-под светлых ресниц смотрели весело и с усмешкой.— Прошу чувствовать себя как дома.

Бахметьев, однако, чувствовал себя просто глупо. Не знал, куда девать руки, и не мог придумать, как держаться дальше. Фуражку все-таки снял и присел на край стула.

Константинов же, развернувшись с внезапной быстротой, полоснул нагайкой по переборке.

— Сто сорок шесть!— Но, взглянув, покачал головой.— Вру, промазал,— и бросил свое оружие под стол.— Как видите, я изничтожаю мух. Они вреднейшие твари.

— Так точно,— осторожно согласился Бахметьев, а Константинов сел за стол, достал трубку и начал набивать ее табаком, который брал пальцами прямо из верхнего кармана кителя.

— А вы с завтрашнего дня займетесь тараканами.— И, точно объясняя, почему именно на Бахметьева он возлагал столь ответственное дело, Константинов добавил:— Вы будете у меня минером.

— Есть,— ответил Бахметьев.— Разрешите закурить?

— Раз навсегда: в кают-компании для этого моего разрешения не требуется. Натя спички.

— Благодарю, господин капитан второго ранга.

Константинов выпустил столб густого дыма:

— Опять неверно. Алексей Петрович. А кто вам преподавал минное дело?

— Генерал-майор Грессер.

— Небезызвестный Леня? Впрочем, вы все равно ни гвоздя не знаете.— Закашлялся и разогнал дым рукой со скрюченными пальцами.— Это, конечно, не беда, научитесь. Только если что... не стесняйтесь, спрашивайте.

— Есть, спасибо.— Но всё же не выдержал:— Почему вы думаете, что я ничего не знаю?

— Потому что это так и есть. И хороший офицер из вас выйдет только если вы будете учиться. А для тараканов рекомендую купить в аптеке порошок. Тут у них

есть какой-то вполне действительный. Забыл, как он называется.

— Дозвольте войти?

В дверях кают-компания стоял низкорослый и смуглый матрос с густыми черными усами. Константинов, откинувшись назад, повернулся к нему лицом:

— Что расскажешь, Борщев?

Матрос повертел в руках фуражку и вздохнул. Потом решительно тряхнул головой;

— Старший офицер в порт ушли и всех свободных с собой взяли. Шестерку мыть некому.

— Беда, — согласился Константинов. — А вы наверное знаете, что на корабле больше людей нет?

— Да какие же люди? Нет людей.

— Тогда ничего не поделаешь. — И Константинов вздохнул в свою очередь. — Видно, придется вам самому ее вымыть, поскольку вы ее старшина. До ужина времени много, а после ужина я проверю. Ступайте.

Борщев, однако, продолжал мять фуражку. Наконец надумал:

— Может, позвольте кого из сигнальщиков взять? Они мостик свой кончили.

— Значит, нашлись люди? Я так и думал, что найдутся. Слушайте, Борщев, с такими делами обращайтесь к боцману, а мне, пожалуйста, голову не морочьте. — Побарабанил пальцами по столу и добавил: — Берите сигнальщиков.

— Есть! — и Борщев четко повернулся кругом. Быстро взбежал по трапу и прогремел по стальной палубе над головами.

Константинов улыбнулся.

— Матросов теперь полагается называть на *вы*, однако службу с них требовать запросто можно. — Быстрым движением перегнулся через стол и дотронулся до рукава Бахметьева. — Этим вашим нашивкам пять копеек цена. Команда будет вас уважать только если сумеете себя с ней поставить. Носишко задирает ни к чему, но чрезмерный демократизм тоже не годится. Они его не одобряют, и совершенно правы. — Похлопал себя по карманам и тем же голосом закончил: — Стыдно, молодой человек, спички красть. Отдайте назад.

Спички, действительно, оказались в кармане Бахметьева, но теперь он уже не смущался:

— Это я по рассеянности, больше не буду.

— Ну то-то, — взял от Бахметьева коробок и принялся раскуривать потухшую трубку. — Надо служить — и всё. За советом приходите ко мне, но, пожалуйста, не думайте, что я буду за вас заступаться перед командой. У меня и без того забот много.

— Я понимаю, — сказал Бахметьев. Служба теперь стала не простой, однако страшного в этом ничего не было. К счастью, попался командир, который, наверное, пользовался авторитетом. Иначе не смог бы так быстро привести в порядок не слишком дисциплинированного Борщева.

— Скажите, Алексей Петрович, что это был за матрос?

— Рулевой Борщев. Отличный рулевой, как по точке лежит на курсе. Считает себя анархистом, но это нас с вами не касается. Это политика. — Снова окутался синим дымом и пояснил: — Мои офицеры политикой не занимаются. Им некогда. А дела по минной части вы примите у артиллериста Аренского. Он сейчас ползает по погребам.

— Есть. — Теперь всё было ясно и превосходно. Только почему-то плыла голова и слипались глаза. Может, от жары, а может, оттого, что не спалось всю ночь в поезде.

— Ваша каюта вот эта, — и мундштуком трубки Константинов показал на дверь в углу. — Сегодня воскресенье, и никаких происшествий не предвидится. Устраивайтесь, а я тоже посплю. — Встал из-за стола и вспомнил: — Да, ваше имя-отчество!

— Василий Андреевич.

— Василий Андреевич? Все равно забуду. — И вдруг улыбнулся: — Будем дружить, молодой.

3

Боюсь соврать, но, кажется, пневматический чекап, как пулемет Максима, дает до пятисот ударов в минуту, а то и больше. Нет, конечно, больше. Пожалуй, за тысячу.

Звучит он, во всяком случае, гораздо страшнее пулемета, потому что удары его — по листовой стали обшивки, и от них вся пустая коробка стоящего в доке миноносца грохочет чудовищным барабаном.

Прошу читателя представить себе самочувствие лю-

дей, сидящих внутри этого барабана, когда работают три пневматических чекана сразу. Работают с семи часов утра, не останавливаясь ни на одну минуту, и постепенно гремят всё громче, всё ближе и ближе подбираясь к кают-компани.

К этому грохоту прошу добавить необходимость его перекрикивать, совершенно нестерпимую жару от раскаленной солнцем стали, а главное — обязанность думать и делать дело.

К одиннадцати часам Бахметьев окончательно перестал соображать, что с ним творится.

Аренский, сдавая минную часть, просто принес ему в каюту журналы, бумаги и ящик с капсулями. Помахал рукой и убежал в город по своим личным делам. Пижон, черт бы его побрал!

Единственный человек, который мог бы помочь, старший минный унтер-офицер Мазаев, лежал в госпитале с аппендицитом. Нужно было на его место требовать из штаба нового специалиста, а потом самому его обучать.

Воздух гремел сплошным громом, со лба крупными каплями лил пот, и в горле дрожал какой-то непроглоченный комок. И приходилось знакомиться с бумагами, следить за кое-каким ремонтом по своей части на корабле и разбираться в чертежах новых противолодочных бомб, о которых он понятия не имел.

Без четверти двенадцать грохот резко оборвался. В первый момент от наступившей тишины стало еще хуже. Она давила на уши.

— К столу! — вдруг закричал в кают-компани старший офицер лейтенант Гакенфельт и рассмеялся сухим смехом.

— Что? — так же неестественно громко спросил старший механик, тоже лейтенант, по фамилии Нестеров, невысокий и полный человек с грустными глазами.

— Не могу, батюшка, приспособить свой голос к тишине.

Этот Гакенфельт Бахметьеву не понравился с первой же встречи. Слишком он был прилизан, слишком любил всякие чисто русские словечки и показное благодушие.

— Чижук, душа моя, — продолжал Гакенфельт, на этот раз обращаясь к кают-компанейскому вестовому. — Покорно прошу поторопиться.

Следовало сменить белый китель и вообще привести себя в порядок, а опаздывать не хотелось, чтобы не нарваться на какое-нибудь ласковое замечание Гакенфельта. В спешке Бахметьев сломал в волосах гребенку, оцарапал голову и негромко выругался.

— Чем могу помочь, Василий Андреевич? — спросил из каюг-компании проклятый Гакенфельт.

— Спасибо, я сейчас. — Воды в умывальнике не оказалось, потому что мыться в доке не полагается, а бутылка одеколону выскользнула из рук и, ударившись о раковину, разбилась.

— Ай-ай-ай! — посочувствовал появившийся в дверях Гакенфельт. — Не надо так торопиться, вот что я вам скажу.

Бахметьев пробормотал нечто невнятное и неизвестно зачѣм вытер сухие руки о грязный китель. Потом с мрачным лицом двинулся прямо на Гакенфельта.

— Разрешите?

— Прошу, прошу. — И, посторонившись, Гакенфельт улыбнулся углами губ.

Алексей Петрович Константинов уже сидел за столом и потирал руки. И так же потирал руки сидевший рядом с ним старший механик Нестеров и стремительно севший напротив мичман Аренский.

Не знаю почему, но подобное потирание рук неизбежно предшествует всякому каюг-компанейскому обеду. Надо полагать, что оно способствует выделению желудочного сока.

— Твои кочегары завели себе кобелька, — обращаясь к Нестерову, сказал Константинов. — Я им разрешил.

— Видал, — отозвался Нестеров. — Собака — это хорошо.

— Кобелек черненький и вертлявый, — продолжал Константинов. — Они назвали его «Распутин» и повесили ему на шею медаль за трехсотлетие дома Романовых на соответственной бело-желто-черной ленте.

Гакенфельт, разливая суп, поморщился, но промолчал.

— Кочегары — веселый народ, — твердо сказал Нестеров и в упор взглянул на Гакенфельта.

— Бесспорно, — согласился Константинов. Это явно было сказано для поддержки Нестерова, и Гакенфельт опустил глаза. Бахметьев же от радости пересолил свой суп, но, попробовав его, виду не подал.

— От собак бывает много развлечений,— пробормотал Нестеров, по-видимому, для того, чтобы повернуть разговор в другую сторону. Несмотря на свою мрачность и немногоречивость, он определенно был очень хорошим человеком.

— Правильно,— снова согласился Константинов. Должно быть, он тоже решил, что следует разрядить атмосферу, а потому предложил:— Хотите выслушать собачью историю?

— Хотим,— ответили Нестеров и Аренский.

— Конечно,— поддержал Бахметьев.

— Ну, тогда я вам расскажу.

И Константинов не спеша рассказал:

— Была у нас на «Громобое» сучка фокстерьер, по имени Дунька. Это еще в ту войну было. Во Владивостоке. Веселая была дамочка и умненькая. Каждое утро с буфетчиком съезжала на берег, бегала там самостоятельно и обделывала какие-то собственные делюшки, а с двенадцатичасовым катером непременно возвращалась на крейсер к обеду.

Конечно, больше всего на свете она любила охотиться за крысами, а у нас этого добра было достаточно. Даже по кают-компани, подлые, бегали среди белого дня.

Ну вот. Однажды смотрим: скачет Дунька как черт, и от нее удирает здоровая рыжая крыса. Крыса на диван — он у нас шел вдоль борта,— Дунька за ней. Крыса на спинку дивана — Дунька тоже.

Дальше деваться некуда, и крыса со страху бросилась в открытый иллюминатор прямо за борт.

Охота — азарт. Ясное дело, и Дунька прыгнула, только не пролезла. Застряла в иллюминаторе задней частью. Застряла и визжит. Неудобно ей.

Попробовали вытянуть назад — не идет... Шерсть не пускает. Как тут быть?

Оставить собачку в иллюминаторе нельзя. Непорядок. А пополам ее резать жалко. Думали, думали и решили спустить вестового за борт на беседке. С двух сторон Дуньку растянуть и попытаться заправить обратно.

Ну, спустили, взяли ее с обеих сторон за ноги, тянули, толкали — все равно не лезет, только еще хуже визжит. Опять думали и гадали и наконец придумали.

Был у нас такой мичман Пустошкин Лука, тот самый знаменитый, который бегал голый по Сингапуру. Так вот Лука Пустошкин и придумал выход из печального положения.

Взял чашку горячей воды, помазок, мыло и бритву и спустился за борт на второй беседке. Велел вестовому держать Дуньку обеими руками, а сам стал ее брить.

Дунька до того растерялась, что даже перестала визжать. Ну, он ее выбрил, а потом впихнул назад.

Только мельком мы Дуньку и видели — розовую с черными крапинками. Забилась она под диван и категорически отказалась оттуда вылезать.

Так там и жила, только изредка выбиралась за самой необходимой нуждой. И пока шерсть у нее не отросла, на берег, бестия, не сходила. Стеснялась.

— Угу,— сказал Нестеров, когда рассказ был кончен.— Животные понимают.

— Здорово! — обрадовался Бахметьев. — Хотел бы я на нее посмотреть, когда ее выбрили.

— Конечно, наилучший выход из положения,— отметил Гакенфельт.

— Необычайно лихо,— подтвердил Аренский.

Словом, все слушатели рассказом остались довольны, и каждый выразил это по-своему. Константинов же, протянув свою тарелку Гакенфельту, потребовал прибавки.

Веселый рассказ в кают-компании — великое дело. Он отвлекает людей от повседневных работ и огорчений судовой жизни. украшает досуг и вообще помогает существовать в обстановке далеко не всегда веселой.

Потому он и процветает на кораблях. Поэтому и вспоминают моряки — днем за обеденным столом, а вечером в уютном углу дивана — о множестве занимательных происшествий и воспоминания свои стараются излагать соответствующим языком.

И, может быть, потому же иные из них вдруг берутся за перо и неожиданно для самих себя становятся писателями.

За день Бахметьев успел узнать немало полезного. Присмотревшись к работе своих подчиненных, определил, что минеры, Сухоносов и Махмудьянов — люди

толковые и надежные, а Бублик и Лихолет, наоборот, явные лодыри, которых следовало подтянуть. Особенно вихрастый Бублик, великий мастер по части разговоров.

Познакомился с председателем судового комитета — старшим артиллерийским унтер-офицером Мищенко, мужчиной огромного роста, бесспорно положительным и грамотным, и решил, что с ним можно будет сговориться.

Конечно, тех, кто еще недавно числился в нижних чинах, он расценивал со своей, чисто офицерской, точки зрения и, конечно, сам этого не замечал. Напротив того, ему казалось, что он сумел просто и хорошо к ним подойти, чем был чрезвычайно доволен.

Кроме того, он окончательно постиг устройство противолодочных бомб, к счастью оказавшихся значительно проще, нежели он думал, и тут же на собственном опыте убедился в том, что его командир своих приказаний не забывает.

Даже о тараканах Константинов помнил и поинтересовался, почему именно он до сих пор не купил порошку: потому ли, что вообще считал ненужным исполнять приказания, или просто потому, что ему было лень?

Пришлось извиняться и краснеть, разыскивать, кого можно было послать в город, и за неимением лучшего довериться Бублику, который обещал всё справиться в наилучшем виде, но до ужина на корабль не вернулся.

Аренский посоветовал не принимать командирского гнева близко к сердцу и к слову рассказал, что Алексея Петровича на флоте звали «апостол Павел».

Звали его так за живописную привычку при случае произносить необычайные комбинации из крепких слов, обязательно заканчивая эти комбинации ссылкой: «как говорил апостол Павел».

С годами прозвание его настолько крепко к нему приросло, что фамилия его была почти забыта. Кому по чину позволено — прямо в глаза, а прочие за глаза звали его Апостолом, и он не обижался.

Всякий трудовой день, однако, рано или поздно заканчивался вечерним отдыхом, а вечером вся кают-компания эскадренного миноносца «Джигит» в полном своем составе отправилась в ресторан «Берс».

Вообще говоря, Бахметьев отнюдь не собирался ходить по ресторанам. Это никогда его не прельщало, а теперь вдобавок деньги ему нужны были совсем для иного. Однако в этот вечер отказаться он не мог. Пиршество было почти официальным и некоторым образом в честь его прибытия на миноносец.

В двадцать часов они сошли на берег, все пятеро как один в белых кителях и белых брюках, в темно-красных шелковых носках и с такими же темно-красными платочками, уголком торчавшими из карманов кителей. Такова была традиция кают-компания «Джигита» — при совместных выходах точно следовать форме одежды командира во всех ее мельчайших подробностях. Шли пешком по широкой, усаженной двумя рядами деревьев Бульварной улице, а потом по еще более широкой и зеленой Эспланаде.

Встречали немало знакомых, преимущественно своих же моряков, и в организованном порядке отдавали им честь. Встречали множество девушек самых разнообразных категорий и рассматривали их со сдержанным, но нескрываемым интересом.

Не спеша дошли до «Берса», который оказался расположенным в погребке, а потому уютным и прохладным. Нашли столик у стены, где свет был мягким, а музыка не мешала разговаривать, и расселись в таком же порядке, как у себя на корабле.

— Итак, — сказал Константинов, когда то, что он называл боевым запасом, было должным образом расставлено на столе, — первую, как всегда, за дам!

— За дам, — поддержали остальные и подняли рюмки.

Шведский пунш обладал изрядной крепостью и неплохим привкусом, но с непривычки от него хотелось кашлять.

Константинов собственноручно налил по второй рюмке и пояснил:

— Этим напитком мы сегодня начинаем, в нарушение всех человеческих правил, специально ради нашего молодого. — Посмотрел на свою рюмку на свет, подумал и добавил: — Ну, конечно, забыл его имя-отчество.

— Василий Андреевич, — подсказал Бахметьев.

— Совершенно верно, — согласился Константинов, — однако несущественно. Как бы молодого ни звали, я не хочу, подобно небезызвестному Иисусу Христу, поить

его хорошими вещами тогда, когда он уже будет не в состоянии отличить их от кваса.

С происшествия в Кане Галилейской, которое по достоинству было оценено как самое веселое чудо в священной истории, разговор естественно переключился на попов.

Попов Алексей Петрович не одобрял. Они разделялись на сладкоголосых карьеристов и просто волосатых бездельников. Самый приличный из всех был некий неромонах на «Громобое», отлично пивший водку и даже плясавший на столе качучу. Однако и тот ковырял в носу и во всех отношениях был серым, как штаны пожарного.

— Сделаем еще,— предложил старший механик Нестеров.

— Первую за дам! — провозгласил Константинов. На этот раз это была водка, и по общему счету уже не первая, а по крайней мере пятая, но формула тоста не изменялась. Так было принято.

Скрипка заиграла нестерпимо жалобную мелодию, и свет стал еще более тусклым и мягким.

— Попы,— сказал Нестеров с сильным ударением на втором «п» и засмеялся.— Расскажи еще что-нибудь.

— Расскажу,— согласился Константинов и, опрокидывая рюмку в рот, осторожно придержал пальцем верхнюю челюсть. Она у него была вставная и ненадежная.— Не удивляйтесь, молодой, мне все зубы сняли японским осколком. Почти безболезненно.

— Нет, про попов;— запротестовал Нестеров.— Помнишь нашего на «Ильмене»?

Еще бы Алексей Петрович его не помнил! Отец Симеон Сопрунов. Жирный, как два борова, и особенно глупый. В самом начале этой войны решил заработать «георгия», а для того придумал с крестом в руках воодушевлять команду на совершение ратного подвига.

— Как? — удивился Бахметьев.— Ведь «Ильмень» — заградитель. Что же там воодушевлять?

Константинов кивнул головой и обильно полил укусом свой паштет из дичи. Он любил сильные вкусовые ощущения.

— Именно. Однако он во время ночной постановки вылез на верхнюю палубу и кроме креста взял с собой складной стул. Воодушевлять можно и сидя, а долго стоять по его комплекции было ему нелегко.

Мы даже не видели, как он вылез, и вдруг в темноте слышим вопль. Этакый лающий вопль, как будто большого волкодава переехало грузовым автомобилем.

Конечно, сразу приостановили постановку. Думали, кого-нибудь прихватило миной. Бегали и искали по всей палубе. Ощупью, потому что огня открывать в таких случаях не полагается.

Ну и нашли отца Симеона. Складной стул, вместо того чтобы открыться, закусил ему его обширную корму, и он не мог ни встать, ни сесть. Находился в наклонном положении и взывал гласом великим.

Разумеется, мы его осторожненько спустили с трапа вместе со всеми его принадлежностями, и «георгий» он не заработал... За дам!

— За дам! — подхватили остальные, а Нестеров снова засмеялся:

— Ты сам лицо духовного звания. — Он явно охмелел и, ставя рюмку на стол, чуть ее не разбил. — Ты апостол Павл.

— Совершенно справедливо, — согласился Константинов и повернулся к Бахметьеву. — Вам это тоже известно, молодой?

Он держался просто и великолепно. Нужно было так же спокойно и ясно ему отвечать, а в глазах уже плавал туман, и сердце стучало прямо в самой голове. Все-таки Бахметьев взял себя в руки:

— Так точно, Алексей Петрович, кое-что слышал.

— Тогда представьте себе следующий случай... Только сперва выпейте сельтерской. Здесь жарковато, а она освежает. — И Константинов передал Бахметьеву бутылку.

Он, конечно, был самым лучшим человеком на свете. Как ясно он всё увидел и как тактично умел помочь! Бахметьев был готов за него умереть, но высказать этого не мог.

— Алексей Петрович, я всегда... — и запнулся. — Большое спасибо.

— Ну так вот, — продолжал Константинов, делая вид, что ничего не замечает. — Стояли мы как-то раз на «Громобое» в Гонконге, и приехал к нам новый поп, взамен того самого, который плясал качучу и окончательно спился.

Если вам известно мое почетное прозвище, то, вероятно, известно и то, что получил я его за несколько

своеобразное цитирование вышеупомянутого апостола.

А попу это было неизвестно. Приехал он как раз в воскресенье, отслужил свою первую обедню и надумал произнести проповедь. Начал:

«Братие, как говорил апостол Павел...» — Ну и сразу вся команда, а с ней и господа офицеры заржали, точно жеребцы. Он опять:

«Апостол Павел рече...» — Опять ржут. Все девяносто пятьдесят три человека, за исключением занятых вахтенной службой. Тут он окончательно растерялся и ударил в полном облачении курц-галопом.

Бахметьев смеялся до слез. Аренский от радости мотал головой, а Нестеров блаженно улыбался, потому что на большее способен не был. Один только Гакенфельт оставался невозмутимым и почти высокомерным.

И, взглянув на него, Нестеров вдруг помрачнел. Потом, видимо, пересилил себя и дрожащей рукой протянул к нему рюмку, чтобы чокнуться:

— Выпьем!

— Может быть, хватит пока что? — сухо спросил Гакенфельт.

Нестеров сразу изменился в лице, поставил рюмку на стол и немедленно начал вставать.

— Друг мой механик, — остановил его Константинов. — Хочешь, я тебя женю?

От неожиданности Нестеров снова сел:

— Меня? Зачем? — И, подумав, добавил: — Нет, не хочу.

— Ну, не хочешь, не надо. Тогда давай дальше пить. Только начнем с освежительного. — И Константинов налил Нестерову полный стакан сельтерской. Сделано это было с необычайной ловкостью. Нестеров до дна осушил свой стакан и сразу забыл о Гакенфельте.

— А я женился, — вдруг сказал Бахметьев.

— Да ну? — удивился Аренский.

— Невозможно, — не поверил Константинов.

— Факт. Женился. Как полагается.

Константинов неодобрительно покачал головой:

— Таким молодым совсем не полагается.

Аренский вдруг крикнул: «Горько!» — и через стол полез целоваться, а Гакенфельт не то засмеялся, не то закудахтал.

От всего этого к горлу комком подступала тошнота, хотелось убежать и расплакаться, и не было никакого выхода. Но Константинов поднял руку и сказал:

— Стоп! Прекратим разговоры на печальные темы. Кто хочет мороженого?

И сразу в зале поднялся дикий шум и выкрики, и оркестр начал играть какой-то торжественный марш. И сквозь дым и туман стало видно, как все сидящие поднимаются и все как одни смотрят на столик «Джигита».

Но одним из первых вскочил на ноги Константинов:

— Прошу встать. Это их национальный марш. Бьернборгский.— И, когда встали остальные, вполголоса пробормотал: — Политическая демонстрация по нашему адресу. Ладно, я им тоже продемонстрирую.

Он первым зааплодировал, когда марш кончился, но, поаплодировав, вынул из кармана пистолет, положил его на стол и в наступившей полной тишине скомандовал оркестру:

— «Марсельезу»!

Два раза повторять свое приказание ему не пришлось, и зал быстро и исправно снова поднялся. Без восторга, конечно, но с полным уважением. Пистолет лежал у всех на виду.

— Что вы сделали? — ахнул Гакенфельт. — Она же революционная...

— Тихо! — ответил Константинов. — Это сейчас наш гимн. Другого у нас нет.

И они стояли навтыжку: Аренский, с глупой улыбкой, Гакенфельт, бледный и растерянный, Нестеров, с неожиданным светом в глазах, и торжественный Константинов. И в зале гремела широкая песня, придуманная совсем не ими.

5

Вечером вышли из дока и сразу стали под угол к борту транспорта «Мыслете». Потом перетянулись к стенке и всю ночь грузили боевой запас. Утром должны были выходить.

Над морем висела мгла, и в бледном свете июньской ночи лица людей казались серыми пятнами. Смертельно хотелось спать.

Угольная пыль была везде. Смешанная с сыростью, она осаждалась на палубе и надстройках, облипала лицо, лезла в волосы и хрустела на зубах. От нее можно было взбеситься.

У баркаса, везшего торпеды, вдруг испортился мотор, и он добрых полчаса проболтался тут же рядом, в нескольких десятках саженей от миноносца. И не было никакой физической возможности ему помочь.

Обещанный штабом минный унтер-офицер всё еще не явился, и, как назло, исполнявший его обязанности минер Сухоносков при приемке торпед на борт сильно поранил себе руку.

Наконец все-таки торпеды были введены в аппараты. Нужно было сразу взяться за их накачку, но тут прибыли из порта противолодочные бомбы, и на все дела не хватало рук.

Помыться Бахметьеву удалось около шести часов утра. Ложиться спать все равно было поздно, а потому он вышел в кают-компанию, сел за стол и налил себе стакан остывшего чая.

В углу дивана, сложив руки на животе, дремал старший механик Нестеров. Ему тоже досталось в эту ночь. Впрочем, и остальным было нелегко. Гакенфельт до сих пор разгуливал по палубе и руководил окончательной приборкой. Он, конечно, был неприятной личностью, но тем не менее отличным служакой. Здорово понял команду.

Кстати, он любопытно рассуждал. Говорил: чем больше дела, тем меньше всякой политики. Почему сейчас на миноносцах полная налаженность, а на больших кораблях черт знает что? Просто потому, что миноносцы плавают, а большие корабли торчат в гаванях. А в море, батюшка мой, революция или не революция, но команда все равно миленькая, потому что знает: без нас ей не вернуться домой.

И еще: дайте мне волю — я их от всех разговоров отучу. Будут у меня уважаемые свободные граждане опять на задних лапках бегать, а я на них плевать буду.

Это, однако, было уже не столько любопытно, сколько противно. Это была та самая пакость, которая разложила старую Россию. Нет, все-таки Гакенфельт был гнусным типом.

Сахар в стакане не растворялся. Пришлось съесть

его просто так, а от этого снова захотелось пить. Бахметьев взялся за чайник, но, кроме разваренных чайнок, в нем почти ничего не оказалось.

Вообще с жизнью получалась какая-то сплошная чепуха. Надя приезжала с поездом восемь тридцать, а ровно в восемь миноносец снимался и уходил в Рижский залив.

Было чрезвычайно мало шансов снова попасть в Гельсингфорс раньше чем через два месяца, и все эти два месяца Надя должна была провести в полном одиночестве.

А возвращаться ей в Питер никак не годилось. Ее мать не могла ей простить всей истории с ее замужеством и теперь грызла ее с утра до вечера.

Хорошо еще, выручил товарищ по выпуску, барон Штейнгель. Обещал Надю встретить и отвезти на квартиру. К сожалению, совсем не на ту, о которой мечталось. В городе свободных квартир вовсе не было, и пришлось удовлетвориться не слишком удобной комнаткой у какой-то старой девы с громкой шведской фамилией.

К тому же проклятая старая дева согласилась их впустить только потому, что у них не было детей. Тоже казус. Ведь в самое ближайшее время она должна была заметить, что Надя готовится стать матерью. Что тогда?

Впрочем, Штейнгель обещал впоследствии подыскать что-либо более подходящее, а он был мужчиной надежным.

И чрезвычайно ловко делал карьеру. Прямо из корпуса попал в штаб минной дивизии каким-то самым последним флаг-офицером, но уже пользовался расположением начальства и имел вид солидный и деловой.

Нет, начинать службу нужно было не в штабе, а, конечно, в строю. На корабле совсем другие люди и другое отношение к делу.

Он был очень счастлив, что попал на миноносец, и все его судовые дела обстояли превосходно. Торпеды лежали в аппаратах, накачанные воздухом до полного давления. Бублик значительно сократился и стал совсем неплохим работником, а тараканий порошок, закупленный в достаточном количестве, действовал без отказа.

Тараканы, большие и маленькие, черные и рыжие, вдруг бросились врассыпную с буфета на пол, а потом

по трапу на верхнюю палубу и с палубы через сходню прямо на берег.

Когда крысы покидают корабль, корабль непременно тонет, но тараканов эта примета не касается. Тараканы — просто мразь. Пусть они убираются ко всем чертям.

— Правильно, — подтвердил Константинов, а он был великодушным человеком и всё знал. — Первую за дам! — И рукой со скрюченными пальцами разогнал тучу синего дыма.

Кают-компания уже стала залом «Берса», и бледный Гакенфельт улыбался недоброй улыбкой. Нужно было встать и ударить его по лицу, но в ногах страшная тяжесть и руки не отрывались от стола.

И Степа Овцын (почему Степа, которого он не видал с самого выпуска?) схватил его за плечо и тряс изо всей силы:

— Василий! Вася!

Как ни странно, но это в самом деле оказался Овцын, веселый и улыбающийся, в фуражке и с плащом, перекинутым через руку. Он стоял совсем рядом, и на его животе нестерпимо ярким пятном горел солнечный луч из иллюминатора.

— Проснись, пожалуйста. Уже полвосьмого.

Бахметьев с трудом поднялся на ноги. Вне всяких сомнений, это действительно был Степа. Та самая блаженная овца, с которой он проучился пять лет в одном отделении.

— Как ты сюда попал?

— Очень просто. Меня, видишь ли, к вам назначили. Кажется, я здесь буду штурманом. — И Овцын, вдруг выпучив глаза, понизил голос до таинственного шепота: — Я уже представлялся капитану. Он чудной какой-то.

Бахметьев представил себе, какой у Степы мог получиться разговор с Константиновым, и расхохотался.

— Что ты? — удивился Овцын.

— Ничего, Степанчик, золотко. Я просто очень рад, что мы с тобой будем вместе плавать. — И Бахметьев обнял Степу за талию. Он в самом деле был рад. Он его всегда любил.

— Ну вот, ну вот. — Овцын широко улыбнулся и даже покраснел. К Бахметьеву он с самой шестой роты испытывал нечто вроде институтского обожания и те-

перь совсем сконфузился. Отскочил в сторону и, стараясь вылядеть равнодушным, спросил: — А знаешь, кто еще будет с нами плавать?

— Разрешите? — раздался новый голос, и Бахметьев повернулся к двери. И, взглянув, снова не поверил своим глазам. Перед ним, неподвижный и невозмутимый, стоял Плетнев.

— Вот кто, — торжествующе сказал Овцын. — Помнишь, как он обучал нас минной премудрости и подсказывал тебе на репетиции?

Зачем только Степа сдуру сунулся? Еще бы Бахметьев забыл Плетнева после всего, что между ними произошло! Он даже слишком хорошо его помнил, и теперь ему трудно было с ним заговорить.

— Здравствуйте, Плетнев, что расскажете?

— Здравствуйте, — и после легкой паузы: — Господин мичман. — И, еще подумав, спросил: — Кто тут будет минный офицер?

— Я, — ответил Бахметьев. — В чем дело?

— Являюсь. Назначенный в ваше распоряжение старший миный унтер-офицер Плетнев.

6

Прекрасно впервые в жизни чувствовать под ногами мелкую дрожь стальной палубы, слышать ровный и густой голос вентиляторов, обонять запах теплого машинного масла и видеть вогнутую дугой волну, бегущую вдоль борта, и кипение белой пены за кормой.

В такие минуты ощущаешь миноносец живым существом, а самого себя неотъемлемой его частью. В такие минуты хочется петь и смеяться, и если не делаешь ни того ни другого, то только потому, что это выглядело бы несколько нелепо.

Солнце ярко светило с левого борта. Чайки, качаясь на узких крыльях, плавали в синеве наверху. Скользя по зеркальному, штилевому морю, за корму быстро уходила высокая башня маяка Грохара.

— Хорошо! — сказал Бахметьев. Вздохнул полной грудью и, обернувшись, вздрогнул. Рядом с ним стоял Плетнев. Он сам вызвал его наверх через вахтенного, но, заглядевшись на море, о нем забыл. А теперь получилось совсем неудобно. Он, наверное, слышал. — Вот что, Плетнев. Нужно проверить изготовление торпед к вы-

стрелу. Их Махмудьянов изготовлял. Он, вообще говоря, толковый минер, однако рисковать не годится. — Чтобы заглушить неловкость, Бахметьев говорил быстро и уверенно. И вдруг вспомнил: совсем так же было тогда, на репетиции в минном кабинете. И речь тоже шла об изготовлении торпеды к выстрелу, и тот же Плетнев ему подсказывал. Поэтому кончил он нерешительно: — Углубление девять футов, открыть клапан затопления и всякое такое. Сами разберетесь,

— Разберусь, — ответил Плетнев.

Улыбнулся он, или это только показалось? Конечно, он не мог забыть случая в минном кабинете, и это было крайне неприятно. И вообще, что может быть глупее необходимости командовать человеком, который дело знает несравненно лучше тебя!

— Пойдем, — сказал Бахметьев и, собрав всю свою храбрость, добавил: — Я поучусь.

— Есть. — И они пошли к первому аппарату.

На этот раз в глазах Плетнева было видно явное одобрение. Значит, так напрямик и нужно было действовать. И оттого, что он поступил правильно, Бахметьев снова повеселел.

До сих пор он не мог понять: доволен он или нет появлением Плетнева на корабле, а теперь знал: конечно, доволен. Плетнев превосходно знал минное дело, и с ним всё беспокойство за материальную часть отпало.

А то, что он был революционером, никого не касалось. Революция все равно уже произошла, и, кроме того, политикой на «Джигите» никто не занимался. Словом, то, о чем не хотелось вспоминать, можно было просто забыть.

— Вот, — сказал Плетнев, открыв верхнюю горловину. Пальцем провел по указателям и доложил, что всё в порядке. Потом прошел к зарядному отделению, а от него обратно к хвосту. Предохранительная чека ударника и все хвостовые стопора были сняты.

Плетнев говорил коротко и спокойно. Делал вид, будто не учит, а сам отвечает урок. Откуда у него было столько такта?

— Понятно, — сказал Бахметьев, чтобы лишний раз подчеркнуть свое ученичество.

— Пагрон, — ответил Плетнев, — который, загораясь, приводит в действие подогреватель. — И тем же ров-

ным голосом рассказал обо всех прочих проверках торпеды.

— Двенадцать баллов,— не удержался Бахметьев, и Плетнев снова как будто улыбнулся. Наверное, опять вспомнил.

— Разрешите закрывать?

— Пожалуйста. А следующую я сам проверю.— И от первого аппарата они перешли к следующему.

Из всего этого получилось очень неплохое практическое занятие, кстати сказать, прошедшее не без пользы для службы: на третьей торпедо удалось обнаружить и устранить неточность в установке прибора расстояния.

Окончательно развеселившись, Бахметьев вдруг спросил:

— А вы довольны, что попали на миноносец?

Он просто не представлял себе той пропасти, которая отделяла его от Плетнева, и совершенно неверно его понял, когда тот ответил:

— Здесь мое дело.

Обрадованный, он кивнул головой.

— Ну, конечно. И я тоже очень доволен, что попал.— Однако дальше распространяться на эту тему было неудобно, а потому Бахметьев махнул рукой:— Всё в порядке. Ступайте отдохните.— И быстро зашагал к мостику. Нужно было присмотреться к тому, что там делается. Еще поучиться.

Из всех трех труб шел легкий, почти прозрачный дым. На гафеле полоскался маленький прокопченный андреевский флаг. Хорошо бы сейчас посмотреть на свой миноносец со стороны. Наверное, он здорово выглядел.

— Разрешите? — спросил Бахметьев, останавливаясь на трапе.

— Сделайте одолжение,— ответил стоявший на вахте Аренский.— Попрою покорно.

Он стоял на правом крыле и, щурясь, рассматривал горизонт в бинокль. У него был отличный военно-морской вид, которым он малость рисовался, потому что тоже недавно кончил корпус. Всего лишь год назад.

И внезапно ему представилась возможность развернуться во всей своей красоте. Показать молодому, как нужно служить.

— Сигнальщик! Кто кому должен докладывать: вы мне или я вам? Справа по носу две мачты! Вахтенный, доложить командиру.

— Есть! — крикнул вахтенный и с громом сбежал по трапу.

Бахметьев бросился к дальномеру, но развернуть его не смог. Забыл, где он стопорится.

Мачты без дыма — это несомненно был военный корабль. Может быть, свой, а может быть, и нет, и от этого охватывала приятная тревога. Только где же был стопор?

Наконец дальномер развернулся, и в его круглом поле скачками понеслась потускневшая вода. Мачты мелькнули в глазах, но, подпрыгнув вверх, исчезли. Не сразу удалось снова их поймать, а удержать в поле зрения было еще труднее: сильно мешала тряска.

Одна из них была высокой, а другая коротенькой. Между ними намечались три низкие трубы и кое-какие надстройки. Похоже, что это был миноносец, и, скорее всего, очень большой.

Но сообщить Аренскому результаты своих наблюдений Бахметьев не успел.

— Господин мичман, — сказал сигнальщик Осипов, — это «Забияка», и мы его уже докладывали. Он вышел вперед нас, а теперь обратно повернул.

— Ну? — спросил появившийся на мостике Константинов. — Где здесь грозный неприятель?

— Это «Забияка», господин капитан второго ранга, — не смущаясь доложил Аренский. — Почему-то возвращается.

— Не препятствовать, — ответил Константинов. — А какой у вас курс?

— Как на румбе? — лихо крикнул Аренский.

— Двести два! — отозвался рулевой.

— Есть, — сказал Константинов. — Только кричать на мостике совершенно не обязательно. Пожалейте свой баритон, любезный артиллерист.

Это тоже было неплохое практическое занятие. Служить, как Аренский, явно не стоило.

Убежденный черноморец Степа Овцын вышел служить на Балтику из очень высоких и торжественных соображений.

— Ты понимаешь,— сказал он Бахметьеву,— у нас в Севастополе всё прошло спокойно. А здесь: Кронштадт и Гельсингфорс, понимаешь?

— Пока что нет,— ответил Бахметьев.— Кронштадт и Гельсингфорс всегда здесь были.

Разговор происходил в каюте Бахметьева и сопровождался глухим шумом винтов, дребезжанием стаканов в буфете кают-компания и шипом воды за бортом.

Взъерошенный Овцын вскочил с койки и, поскользнувшись, схватился за полку.

— Как не понимаешь? Забыл здешние события? Убийства и весь ужас? Потому-то я сюда и пошел!

Бахметьев невольно улыбнулся. Милейший Степа абсолютно ничего не понимал во всем, что происходило, и решил принести себя в жертву. Как это было на него похоже!

— Боюсь, что ты разочаруешься. Здесь больше никого не убивают и не собираются в дальнейшем.

— Ну вот! — И обиженный Овцын снова сел.— Как будто я этого хочу! Да ты пойми: я просто должен был пойти туда, где трудно.

— Трудно? — спросил Бахметьев и задумался.

Почему получалось так, что в разговоре со Степой он чувствовал себя чуть ли не стариком, а перед всеми остальными людьми на миноносце, в том числе и перед командой, был форменным мальчишкой?

И еще: почему старшие гардемарины в корпусе выглядели значительно солиднее, чем мичманы во флоте? Между обоими этими явлениями была какая-то связь, но отыскать ее он сейчас не мог.

— Нет, Степанчик, здесь вовсе не трудно.— Волна, хлестнув по борту, темно-зеленой тенью перекрыла иллюминатор.— Только, увы, жарковато и нельзя устроить сквозняк. Зальет.

Степа заморгал глазами и стал совсем похожим на опечаленную овцу. Нужно было срочно его утешить:

— Слушай, юноша. Я действительно забыл о первых днях революции и тебе советую забыть. Всё это, видишь ли, было закономерно, неизбежно и.. кончилось.

Разумеется, нам с тобой придется служить не совсем в тех условиях, к которым мы готовились, однако это не столь важно. Служба остается службой.

Но Овцын запротестовал:

— Брось, пожалуйста. Тут какие-то комитеты, а потом митинги. Чего-то требуют и голосуют. Почему-то мир без аннексий и контрибуций. На кой черт вся эта война, если, например, Черное море по-прежнему будет заткнуто пробкой?

Может, вся эта война и в самом деле была ни к чему, только об этом со Степой разговаривать не стоило. Да и самому над этим задумываться не имело никакого смысла.

— Стоп! — И Бахметьев поднял руку.

— Нет! — вдруг возмутился Овцын. — Дай договорить. Всякие земельные вопросы и восьмичасовой рабочий день. Какая же тут служба? И потом: оказывается, что мы с тобой сволочи. Как же нам после этого ими командовать? — Махнул рукой и отвернулся. — А ты говоришь: не совсем те условия и не столь важно.

— Тихо, Степушка, тихо!

Милейший Степа волновался совершенно напрасно. Порол всяческую чепуху, которая не имела никакого отношения к делу. Неизвестно зачем разводил панику.

Исходя из этих соображений, Бахметьев положил Овцыну руку на колено и посоветовал:

— Возьми, сердце мое, графин вот там, на умывальнике. Налей себе стакан воды и выпей. — И, не дав Овцыну времени ответить, тем же размеренным голосом стал его поучать: — Не спорю, все эти митинги и разговоры сейчас процветают. Процветают потому, что в нынешнее время они просто необходимы. Однако что же от них в конце концов меняется?

Овцын только развел руками.

— Ровно ничего, Степанчик. Ровно ничего. И по той самой простой причине, что мы с тобой плаваем по морю, а все эти разговоры происходят на берегу. На вахте, друг мой, много не помитингуешь, и в море команда все равно должна нам верить. Иначе она не доберется до порта.

Овцын тяжело вздохнул. Он был окончательно сбит с толку, что, впрочем, и неудивительно.

— Кроме того, имей в виду, что у нас на «Джигите» не так, как везде. У нас ни революцией, ни поли-

тикой никто не занимается.— И совершенно механически Бахметьев закончил: — Некогда.

Конечно, всё это было невероятно бестолково.

Мне просто стыдно за Васю Бахметьева, что он, начав почти осмысленно, вдруг припутал целую кучу чужих, отнюдь не слишком умных рассуждений, вплоть до цитат из Гакенфельта.

Однако я ничего не могу сделать. Все эти рассуждения были в ходу среди морского офицерства тех неопределенных времен, хотя и напоминали мысли страуса, спрятавшего голову и полагающего, что всё обстоит превосходно.

И, конечно, так же как и вышеупомянутый страус, Бахметьев жестоко ошибался.

Сидевший на рундуке в унтер-офицерском кубрике Семен Плетнев, не поднимая глаз от своего шитья, спросил:

— Значит, всё больше эсеры?

— Да нст,— нерешительно ответил великан Мищенко, старший артиллерийский унтер-офицер и председатель судового комитета,— всякие, конечно, есть, однако у нас споров не бывает. Хорошо живем.

Плетнев зашивал рабочую рубашу и не торопился. Клад стежок к стежку, ровно и аккуратно, изредка опуская свою работу на колени и любуясь ею издалека.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Сил нет, как хорошо,— усмехнулся хозяин левой машины унтер-офицер Лопатин.— Прямо, как бывшие цари, только чуть похуже.

Мищенко покосился на него, но промолчал. С Лопатиным было опасно связываться.

— И не спорите? — снова спросил Плетнев.

— Это как сказать,— ответил Лопатин, и Мищенко опять промолчал.

С этим Лопатиным нужно было бы познакомиться поближе и поговорить по душам, а пока что ни на кого не нажимать и не обострять разговора.

— Значит, всяко бывает. Как у всех людей,— сказал Плетнев.

— Ну бывает,— и Мищенко вдруг улыбнулся,— вот наш Ваня Лопатин всё из-за каши спорит.

Но шутка пропала впустую. Никто из сидевших в кубрике не обратил на нее внимания. Плетнев продолжал шить, Лопатин молча потирал подбородок,

радист Левчук читал какую-то брошюру, а рулевой Борщев, мрачный и неподвижный, сидел в углу.

— А как сфидеры? — спросил наконец Плетнев.

— Офицеры есть офицеры, — ответил Борщев.

Мищенко пожал плечами:

— Офицерство правильное. Командир очень уважаемый человек, и все прочие тоже ничего, Двое молодых есть. Тех не знаем, однако и в них вреда быть не может.

— Гакенфельт сука, — ответил Борщев, но Мищенко не обратил на него внимания.

Он считал его ничтожеством и до споров с ним не снисходил.

— Гад, — не отрываясь от своей брошюры, поддержал Левчук.

— Ты! — властно остановил его Мищенко. — Что ты понимаешь? Старший офицер — это такая должность, что — хочешь не хочешь — нужно быть гадом.

— Самая форменная сука, — повторил Борщев.

— Да что ты! — И Лопатин закачал головой. — Разве можно его такими словами обзывать? Он же такой хороший человек, что даже сказать нельзя. Я вот помню его еще в экипаже. Там он, конечно, старшим офицером не был, но морду бил здорово.

Такой разговор председателю судового комитета нужно было оборвать на месте.

— Тебе? — резко спросил Мищенко и всем своим телом перегнулся через стол.

— Мне, — спокойно ответил Лопатин и в упор взглянул на Мищенко. — Два раза.

Сразу наступила тишина. За бортом глухо шипела вода, и, точно огромное сердце, бились винты. Левчук, опустив брошюру, насторожился, и Плетнев на мгновение приостановил свое шитье.

Теперь оставалось только сделать вид, что всё это несущественно. Откинувшись назад, Мищенко зевнул и прикрыл рот рукой:

— Уж ты расскажешь! — Еще раз зевнул и изо всей силы потянулся. — Пойти покурить, что ли?

— Пойди, — согласился Лопатин, но Мищенко ему не ответил. Молча надел фуражку и, пригнувшись, чтобы не удариться головой, вышел в дверь.

Плетнев откусил зубами нитку. Его работа была сделана мастерски. Шов получился превосходный,

Гладкое, широкое море и четко очерченный горизонт. Совершенный мир и спокойствие, но на крыльях мостика стоят неподвижные люди и не отрываясь следят за скользящей навстречу водой. И в любой случайной ряби, в любой чайке, севшей на волну, чудится перископ неприятельской подлодки.

Смотрят специальные наблюдатели, смотрят сигнальщики, и смотрит сам вахтенный начальник. Смотрят, пока в сверкающем поле бинокля не начнут плавать мелкие черные точки и качающиеся радужные круги. Тогда на мгновение опускают бинокли, щурятся или протирают глаза и снова смотрят.

У самого мостика гулко шумит первая труба. Временами из нее выбрасываются огромные клубы черного дыма, а это никуда не годится. Дым могут заметить те, кому вовсе не следовало бы его видеть.

— Вахтенный! Узнать в первой кочегарке, зачем дымят?

И вахтенный отвечает

— Есть!

Курс проложен почти по самой кромке своего минного поля, но это не страшно. И собственное место и место заграждения известны совершенно точно.

Хуже другое: здесь могут оказаться и чужие мины. Неприятельские лодки несколько раз пробирались в тыл и ставили заграждения даже у самого Гогланда, а по последним сведениям службы связи, их видели где-то здесь, между Оденсхольмом и Пакерортом.

Вахтенный, вернувшись из кочегарки, докладывает, что всё в порядке. Первый котел больше дымить не будет.

— Есть.— И вахтенный начальник снова поднимает бинокль.

У носового орудия на брезенте выложены патроны с ныряющими снарядами и дежурит вся прислуга. Таблицы стрельбы в кармане — значит, в случае чего огонь можно открыть секунд через тридцать.

Если будет замечен перископ или след торпеды — узкая белая полоса на воде, нужно сразу же давать боевую тревогу, самый полный ход и класть руля в зависимости от обстоятельств, но в большинстве случаев на противника.

Какая дикая глупость получится, если повернешь и дашь тревсгу, а потом выяснится, что это не перископ, а всего лишь утка, взлетающая с воды! Они, подлые, имеют привычку брать длинный разгон и на разгоне разводят порядочный бурун.

Но еще хуже выйдет, если не заметишь настоящей лодки и получишь торпеду в борт.

Напряжение и страшная ответственность. Сознание, что только ты один здесь наверху решаешь всё и посоветоваться не с кем, а ошибиться нельзя. Ошибка может стоить слишком дорого.

Словом, все ужасы и неприятности первой самостоятельной вахты в боевых условиях Бахметьев испытал сполна и, только отслужив и спустившись с мостика, увидел, что Константинов тут же на палубе, рядом с рубкой, полулежал в лонгшезе и читал французский роман.

— Наслаждаюсь природой,— пояснил он, закрывая книжку и придерживая пальцем то место, где читал.— А как служба?

— Всё в порядке, Алексей Петрович. Скоро будем на траверзе Оденсхольма.

Очевидно, он все время сидел здесь, готовый ко всяким случайностям, но на мостике показываться не хотел. Приучал своего молодого вахтенного начальника к самостоятельности. Молодчина!

— Хорошо у нас служить,— невольно вырвалось у Бахметьева.

— Неплохо,— согласился Константинов,— только вы, сударь мой, поздно заметили, что у вас задымил первый котел. И потом, вахтенного в кочегарку посылать было не обязательно. Рядом с машинным телеграфом есть соответственная переговорная труба,— но сразу же смягчил: — А в общем — молодцом. Продолжайте в том же духе.

— Есть,— ответил Бахметьев, одновременно испытывая прилив острой неловкости и кое-какой гордости.— Признаться, я еще плохо освоился с нашим мостиком.

Но Константинов его уже не слушал и, задумавшись, смотрел на горизонт.

— Завтра будет дождь,— вдруг сказал он. И, еще подумав, спросил: — А вы раньше были знакомы с этим самым новым минером?

— С Плетневым? Конечно. Он у нас был инструктором в минном кабинете. Помогал Лене Грессеру.

Зачем он это спросил? Может быть, что-нибудь подозревал или просто хотел указать, как теперь следовало себя с ним держать?

Но Константинов ограничился кивком головы. Снова раскрыл свою книжку и сказал:

— Будьте другом, пришлите мне с вестовым мою трубку. Я ее забыл у себя на столе.

— Есть, сейчас же.— И Бахметьев по трапу сбежал на палубу.

Шел в корму быстрым и веселым шагом и смотрел на обгонявшую его еще более быструю волну. Встретив вестового у кают-компанейского люка, передал ему поручение командира и стремительно спустился вниз. Но, войдя в свою каюту, вдруг ощутил непреодолимое желание спать.

В сущности, желание это было вполне законным. За всю ночь он продремал всего лишь часа полтора, а взрослому человеку полагается побольше.

Снимая китель и ботинки, Бахметьев понял, что сон— это самое чудесное из всего, что случается в жизни. На редкость приятное занятие, которое предстояло ему именно сейчас.

Лег, закрыл глаза и старался ни о чем не думать. За него думали другие на мостике. Ощущал приятную равномерную тряску и покачивание, прислушивался к успокаивающему шуму корабля на ходу. Был совершенно счастлив, но постепенно заметил, что не засыпает и, вероятно, не заснет.

Скорее всего, из-за дикой духоты в каюте. Рядом был буфет, и на переборке с той стороны висел паровой самовар. Тонкий свист пара доказывал, что вестовые запустили его к ужину, и теперь он на полный ход помогал июньскому солнцу.

Прохвосты кораблестроители не могли привесить его хотя бы на переборке, выходящей в коридор! Небось никому из них не пришлось лежать вот на этой койке и обливаться потом.

Первое, что Бахметьев увидел, раскрыв глаза, был портрет Нади. Маленький портретик в круглой рамке красного дерева, который она потихоньку подсунула ему в чемодан, когда он уезжал.

Она была очень хорошей девочкой, но на этом портрете улыбалась довольно глупо. И вообще, что могло получиться из их брака? Пока что получилась одна сплошная нелепость, и он даже не мог сказать, поспет ли вернуться к тому времени, когда должен быть ребенок. Кажется, он был прав тогда, давно, несколько месяцев тому назад, когда считал, что брак несовместим с морской службой.

Может быть, так же думал и Константинов, на всю жизнь оставшийся холостяком, и механик Нестеров, который тоже не женился.

Из всей кают-компани, кроме него, женат был только один Гакенфельт, впрочем, этот женился незря, а на какой-то племяннице морского министра. И тоже ошибся, потому что министр вылетел вместе со всем старым режимом. А теперь, судя по рассказам Аренского, бедняга своей жены просто видеть не может.

А он все-таки очень хотел бы увидеть Надю. И вдруг Бахметьев поймал себя на том, что будто кого-то постороннего убеждает в своей любви к жене.

Чтобы успокоиться, попробовал представить себе ее — со вздернутым носиком и круглыми плечами, с тяжелыми косами мягких волос.

Но вместо нее неожиданно увидел сквозь стенки каюты гладкое море, масляный блеск горячего воздуха над горизонтом и напряженные спины наблюдателей на мостике.

Сейчас что-то должно было случиться. Может быть, враг был уже совсем рядом. Даже наверное готовился нанести удар.

Какой-то чужой человек с сухим лицом и веселыми глазами посматривал в перископ и, улыбаясь, рассчитывал свою атаку. Рядом с ним стояли другие, тоже довольные, что подстерегли добычу.

Успеют заметить с мостика или не успеют? Там стоит Степа. Можно прохлопать.

И вдруг звонок забил сплошной, бесконечной дробью. Сначала глухо и издалека, потом резче и громче, совсем рядом, в кают-компани. Это была боевая тревога.

Бахметьев вскочил с койки, натянул ботинки, сбросил китель и схватил фуражку. Застегивался уже на ходу и дрожащими пальцами никак не мог нащу-

пять пуговиц. По палубе бежал в толпе людей и никак не мог избавиться от самого настоящего страха.

Однако на мостике увидел Гакенфельта с секундомером и Константинова, прогуливающегося взад и вперед, заложив руки за спину.

Тревога была проверочной.

9

Изо дня в день одно и то же.

Рейд Куйвасто с миноносцами на якорях, у берега старая шхуна без мачт в качестве пристани, а подальше зеленые рощи и кое-какие домики.

Или море, пустое и неподвижное, острова, приподнятые рефракцией над дрожащей линией горизонта, и нестерпимый блеск расплавленного стекла.

Дозоры ломаными курсами взад и вперед, в пределах одного и того же квадрата: сдашь вахту, а через девять часов снова ее принимаешь на том же самом месте. Высматриваешь и ждешь, хотя и знаешь заранее, что ровно ничего не случится.

Снова стоянки на рейде. Такие же систематические и бесцельные, в конце концов сводящиеся к простому обмену любезностями, налеты неприятельской авиации.

В синем небе два-три самолета, а вокруг них мягкие шарики шрапнельных разрывов. Нарастающий вой летящих бомб. Чувствуешь, что она непременно ляжет вот сюда, прямо к тебе на палубу, а потом видишь воплотие безвредный и даже очень красивый водяной столб далеко в стороне.

В первый раз сильно волнуешься, но и в следующие налеты никак не можешь привыкнуть к бомбам, — слишком у них неприятный звук, и все-таки неизвестно, черт их знает, куда они лягут.

И вдобавок действует на нервы закон Ньютона, ибо в силу его все предметы, выстреленные вверх, неизбежно падают обратно вниз. Предметов же этих, а именно шрапнельных пуль и пустых стаканов, очень много, все они достаточно твердые и тяжелые и все отчаянно свистят.

Впрочем, к обеду налеты обычно заканчиваются. Остается только жара, вялость и неважный аппетит. А суп подают сильно перченным, потому что мясо на транспортах приходит в не слишком свежем виде.

С этими же транспортами приходят тоже несвежие газеты с нескончаемыми разглагольствованиями Александра Федоровича Керенского и всякой прочей мутью. О них, по возможности, не говорят, и только самоуверенный Аренский по утрам бестактно острит:

— Здравствуйте, здравсте, стоим в Куйвасте без твердой власти.

Или в тридцатый раз смакует одну и ту же пошлятину:

— Интернационал — это когда на русских кораблях под занзибарским флагом в финляндских водах на немецкие деньги играют французский гимн.

Всё это в достаточной степени противно, особенно механику Нестерову, но остановить Аренского нельзя. Он всегда изощряется в отсутствие Алексея Петровича, а Гакенфельт его остроты одобряет.

Походы, стоянки и походы, но дела, в общем, гораздо меньше, чем казалось поначалу, и гораздо больше времени для размышлений, далеко не всегда приятных.

Знаменитое наступление, о котором так много кричат газеты, выглядит каким-то ненастоящим, и еще тревожнее становится от дискуссии о смертной казни. Это конец демократических иллюзий и лишнее доказательство слабости правительства. Это совсем плохое дело.

Со временем все утрясется? Еще недавно можно было на это надеяться, но сейчас едва ли. Никто ничего не понимает, все отчаянно спорят друг с другом, а приехавшие из Германии большевики хотят уничтожить всё на свете.

Алексей Петрович за столом больше молчит, а в свободное время забирается в своей каюте. Даже мух бить перестал.

Но иногда вдруг входит в кают-компанию, садится, закуривает трубку и начинает рассказывать. Всем ясно, что он делает это нарочно, чтобы стало легче. Однако задумываться нельзя. Нужно только слушать, и тогда рассказы действительно помогают.

У капитана Сергея Балка была черная борода лопатой. Был он мужчиной невероятной физической силы и великолепным моряком: войдя в Портсмут на миноносце, на шестнадцатиузловом ходу спустил вельбот и никого не утопил.

Привычки имел своеобразные. Каждое утро выпивал чайный стакан водки и закусывал весьма экономно. Вестовой на блюдечке подавал ему две баранки: одну целую и одну сломанную пополам. Он нюхал сломанную баранку, вертел в руках целую и отдавал их обратно.

В японскую войну командовал спасательным буксиром в Порт-Артуре и во время сдачи заявил, что свой корабль взорвет. По условиям капитуляции этого делать никак не полагалось, и небезызвестный прохвост Стессель прислал к нему своего адъютанта, чтобы запретить.

Приплыл адъютантик на лодочке, смотрит — стоит пароход на якоре, а людей на нем нет. Вылез на палубу — палуба пуста. Усмотрел свет в одном из иллюминаторов рубки и пошел на огонек. Раскрыл дверь и видит: какой-то здоровый чернобородый дядя сидит за столом в полном одиночестве и прохладждается чайком.

— Вы здесь командир?

— Я командир.

Адъютант начал было рассказывать, зачем он прислан, но Балк замахал руками: никаких служебных разговоров, пока господин поручик не напьется с ним чаю. Спешить все равно некуда.

Протесты не помогли. Пришлось адъютанту сесть за стол и сказать: «Спасибо».

Пили долго и даже вспотели, потому что в рубке было здорово жарко. Наконец Балк перевернул свой стакан доньшком кверху, положил на него ложечку, очень ласково улыбнулся и попросил адъютанта изложить свое дело во всех подробностях.

Тот изложил, а Балк всё с той же улыбкой ответил:

— Зря вы, голуба моя, беспокоились. — Встал, потрепал его по плечу и предложил: — Давайте тикать. У меня в трюме шесть пудов пироксилину, шнур рассчитан на двадцать минут, а поджег я его минут восемнадцать тому назад.

Ну, еле успели выбраться. Порвало пароход на мелкие кусочки.

Команду Сергей Балк любил и жил с ней ладно, а начальство, особенно сухопутное, не слишком уважал. Однажды — кажется, в Николаевске-на-Амуре —

стоял он со своим миноносцем на якоре и влетел в исключительно красивую историю.

Один из его матросов нашумел на берегу, был изловлен и посажен на гауптвахту. Балк, как только об этом узнал, срочно дал семафор коменданту крепости: прошу, дескать, вернуть мне моего матроса, дабы я мог наказать его по всей строгости морских законов. Не вышло. Комендант, конечно, ответил отказом.

Тогда Балк вызвал желающих из команды на четверку, роздал им оружие и во главе десанта из четырех человек высадился на берег.

Подшел к гауптвахте, крикнул часовому: «Здорово, молодец!», сразу же вырвал у него из рук винтовку и поставил свой караул.

Потом поднялся к дежурному офицеру. С ним тоже любезно поздоровался, но так сжал ему руку, что тот сразу потерял способность соображать. Очнулся запертым в шкафу и только тогда понял, что у него отобрали ключи.

Балк без особых затруднений освободил своего матроса, спокойно вернулся с ним на миноносец и решил сниматься с якоря, потому что в Николаевске делать ему было больше нечего.

По семафору получил приказание лично явиться к коменданту крепости, однако, как и следовало ожидать, предпочел подняться на мостик и скомандовать: — Пошел шпиль!

Тут-то и началась самая замечательная петрушка. На ближайшей береговой батарее люди забегали во все стороны и стали с пушек стаскивать чехлы, а семафор передал второе, более решительное приказание:

— Немедленно прекратить съемку с якоря. Орудия крепости направлены на миноносец.

— Ха! — сказал Балк. — Боевая тревога, прицел пятнадцать кабельтов, целик семьдесят пять, точка наводки вон по тому белому домику.

И ответил крепости семафором:

— Орудия миноносца направлены на дачу коменданта. Крепко целую.

Так и ушел миноносец, потому что у коменданта на даче были дети, жена, самовар, канарейка и весь прочий дорогой комендантскому сердцу домашний уют.

Сухопутное начальство, естественно, подняло страшный шум, но штаб Сибирской флотилии за Балка ре-

шительно заступился. Вероятно, потому, что обрадовался хоть какому-нибудь развлечению.

Пошла всякая переписка и путаница из-за того, что никак нельзя было понять, кто кому подчинен. Кончилось тем, что морское министерство в пику военному заупрямилось, и дело попало на доклад к самому царю.

Царь же, как известно, был мужчиной средних лет и весьма средних умственных способностей. Он вдруг вспомнил какую-то знакомую, вполне убедительную фразу и ни с того ни с сего положил резолюцию:

«Победителей не судят».

Алексей Петрович выколачивал золу из трубки, набивал ее свежим табаком и продолжал свое повествование.

Легендарный капитан Балк под общий хохот всей команды купал в невской воде крюкотвора-инженера с адмиралтейской судостроительной верфи.

Потом на улицах Шанхая ликвидировал драку между английскими и русскими матросами. Хватал дерущихся за шиворот, приказывал: «Целуйтесь!», сталкивал лбами и, бросив на землю, брался за следующую пару.

Он всегда был полон решимости и мрачного юмора, и жизнь его была простой. А когда начальство за многие грехи перевело его с миноносца на транспорт, он выпил последний стакан водки, понюхал свою традиционную баранку и пустил себе пулю в лоб.

И казалось, что он сидит вот тут же рядом в кают-компании, огромный, чернобородый, с руками, скрещенными на животе, и широкой благодушной улыбкой.

И было спокойно.

10

— Его истребить надо, — глухим голосом сказал Борщев. — За борт списать! К рыбам!

В носовом кубрике было темно и душно. Освещенные синим светом ночников, в подвесных койках, на рундуках и прямо на палубе лежали полуголые скрюченные тела, больше похожие на трупы, разбросанные взрывом, чем на живых людей.

— За борт! — повторил Борщев. — Суку такую!

От сильного удара встречной волны весь кубрик вздрогнул, и выгнутые тени коек качнулись вправо.

Рядом с тусклым медным лагуном три темных человека тоже покачнулись, но удержались на ногах.

— Еще издевается! — и Борщев яростно сплюнул в обрез. — Говорил: может, вам отдохнуть хочется? Отдохнете, говорит, когда мы на рейд вернемся. Пять суток без берега припаял, стервец!

— Стервец, — поддержал чей-то голос из темноты, — это верно. Дышать людям не дает.

Из койки высунулась синяя в свете ночника голова с черными впадинами глаз:

— Больно много воли себе берет. Всю команду тиранит.

И снизу с палубы поднялось еще одно мертвенное лицо с крупными каплями пота на лбу:

— Неплохо бы списать.

— Ты слышишь? — чуть не закричал Борщев.

— Слышу, — ответил спокойный голос Плетнева.

Снова ударила волна, и тени поплыли влево. В дальнем углу кто-то простонал во сне. Глухо лязгнула где-то железная дверь.

— За борт! — вскрикнул Борщев.

— Ты потише, — остановил его Лопатин.

Но Борщев успокоиться не мог:

— Что же по-твоему? Целоваться с немцем этим?

Лопатин усмехнулся:

— Мы слишком хорошо с его высокоблагородием знакомы. Целоваться, пожалуй, не будем. — Подумал и добавил: — А неплохо бы потребовать, чтобы его от нас убрали. Верно, Семен?

Плетнев ответил не сразу.

Конечно, явного контрреволюционера Гакенфельта убрать следовало. Но, с другой стороны, пока что вредить он не мог, и можно было временно сохранить его на корабле, чтобы еще сильнее раскалить атмосферу.

Нет, команда уже достаточно озлобилась. Пора бы ей теперь почувствовать свою силу, а то до сих пор она слишком была пассивной.

А если не выйдет? Если командир встанет на его защиту и будет поддержан неладным ревельским комитетом? Если, несмотря на всё, Гакенфельт останется?

Что ж, и это в конечном итоге может принести пользу: силотит команду и малость подорвет авторитет командира. А главное: наверняка разоблачит Ми-

шенку, который в этом деле пойдет за господ офицеров и всем покажет, кто он такой.

— Верно,— сказал Плетнев,— Как придем на рейд, так и созовем общее собрание.

— Собрание! — возмутился Борщев. — Опять разговоры разводить? Никаких собраний, балластину ему на шею — и пусть плавает!

— Замолчи,— снова срезал его Лопатин. — Пустобрех!

— Ты! Ты! — но больше Борщев сказать не успел. Прямо над его головой во всю силу забил большой звонок.

— Боевая тревога! — крикнул Плетнев, и другие подхватили:

— Боевая тревога! Боевая тревога!

Люди соскакивали с палубы и падали с коек, в темноте и путанице хватаясь друг за друга. Набок полетел раскладной стол, и гремя отскочила крышка люка в носовой артиллерийский погреб.

Коротким громом ударила наверху стомиллиметровая пушка, и сразу весь кубрик повалился вправо. У выхода была давка, и всё время, не переставая, захлебывался звонок боевой тревоги.

Плетнев уже был на верхней палубе.

Минопосец, накренившись на правый борт, полным ходом описывал циркуляцию. Качаясь, плыла выглаженная волна с рваной каймой пены, и дальше в смутной мгле качалось какое-то серое пятно, и за ним опал высокий водяной столб.

Второй выстрел туда же влево, и с мостика искаженный мегафоном голос Гакенфельта:

— Два меньше, беглый огонь!

Пятно быстро катилось к носу и почему-то уменьшалось. Позади него пророс новый всплеск, но смотреть было некогда,— нужно было бежать к своим бомбам.

Снова грянула носовая пушка.

Бежавший навстречу Бахметьев взмахнул руками, упал, но вскочил и бросился дальше. У второго аппарата минеры уже были на местах, а подальше, на машинном люке, с биноклем в руках стоял механик Нестеров. И снизу из машины шел тонкий пар.

Плетнев не останавливался. У него было странное чувство, будто он всё это видел во сне или в кинематографе и чего-то не мог понять,

Кормовые пушки разворачивались, одна на правый борт, другая на левый, и писарь, стоявший у телефона кормового поста, тонким голосом кричал:

— На бомбах приготовиться!

У бомб возился ученик Кучин. Хватался за что попало и недоуменно бормотал. Плетнев оттолкнул его в сторону:

— Пусти.

К счастью, Кучин походное крепление отдал, а напутать ничего не успел. Теперь одно движение рычага — и бомба полетит за борт; только сперва нужно сорвать с нее предохранительную чеку.

— Готовы бомбы! — крикнул Плетнев.

— Есть, — ответил писарь и в телефон повторил: — Готовы бомбы!

— Батюшки! — вдруг сказал Кучин. — Что же это такое?

Миноносец уже выровнялся и шел прямо. Вероятно, прямо на серое пятно, которое было неприятельской лодкой. Носовая пушка больше не стреляла — значит, лодка погрузилась. Что же дальше?

Дальше по звонку бомба полетит прямо в клокочущий пенный бурун за кормой. Что, если от толчка гидростатический диск вогнетса и бомба тут же рванет? Не должна, а все-таки черт ее знает, и заряд у нее здоровый.

И, с трудом оторвавшись от кипения крутящейся пены, Плетнев вдруг увидел бледное ночное небо и на нем низкие рваные облака.

Короткий звонок. Нажим на холодную сталь рычага, еле заметный в буруне всплеск.

Ноль раз, ноль два, ноль три... и на восьмой секунде резкий толчок, от которого вся корма подскочила кверху. Такой толчок, точно миноносец с размаху ударился о камень.

— Батюшки! — повторил Кучин.

— Чеку снимай! — ответил Плетнев. — Не туда лезешь. Вот сна. — И Кучин дрожащими пальцами сорвал чеку.

Снова звонок, опять нажим на рычаг, и через положенный промежуток времени новый взрыв. Дальше как по расписанию — просто и даже скучновато — шесть бомб одна за другой с равными промежутками.

Миноносец опять накренился. Сделали новый поворот, легли на обратный курс и сбросили еще четыре бомбы. Теперь взрывы стали совсем привычными. Даже приятно было ощущать свою разрушительную силу, чувствовать, как от твоих ударов вздрагивает всё море.

Прошли еще третий раз широкой дугой, но никаких следов лодки не обнаружили. Если бы удалось ее задержать, на поверхности плавали бы пятна масла и нефти, но никаких пятен тоже не оказалось.

Значит, не удалось. Противник успел уйти и едва ли собирался вернуться. Потому был дан отбой тревоги.

Только тогда заговорили. Из-за плохой видимости лодку заметили слишком поздно, — эх, обидно! Она шла в надводном положении, но сразу же стала погружаться, — испугалась, сволочь!

Говорили со злобой. С досадой, что не смогли лодку накрыть и уничтожить, порвать в клочья и уложить на дно. С предельной ненавистью, конечно рожденной страхом.

Плетнев поймал себя на том, что вполне разделяет все эти чувства, но сразу же пожал плечами. Там, глубоко под водой, на лодке такие же рабочие и крестьяне, как эти, вероятно тоже ругались, что не успели выпустить торпеды и разнести миноносец. Всё это было невыносимо глупо.

Кстати, это было его первое боевое крещение. Почему крещение? Идиотское слово. Плетнев шагнул вперед, но сразу присел от неожиданной и нестерпимой боли в коленке. Должно быть, он ее зашиб, но когда именно — вспомнить не мог.

Только этого не хватало!

11

В какой-то компании разговор был бесстрастным, потому что показывать свое волнение не полагалось.

Лодка открылась с левого борта в двадцати кабельтовых, а может, чуть поближе. Шла в надводном положении, примерно параллельным курсом.

— Вот. — И две спички, брошенные на скатерть, изобразили противников.

Конечно, она первой обнаружила миноносец, а потому успела отвернуть и погрузиться — левая спичка быстро повернулась, а правая бросилась за ней, но слишком поздно.

Ныряющие снаряды, в общем, чепуха. Бомбы? Слов нет, великолепны, только класть их следует у самого борта лодки, а это не просто. В море, к сожалению, места хватает.

Но в холодном голосе Гакенфельта, в самоуверенных высказываниях Аренского и в горящем лице Бахметьева было всё то же чувство, о котором говорить не следовало.

Вот так же в дозоре один за другим были взорваны одной немецкой лодкой три больших английских крейсера. И в другой раз русский броненосный крейсер «Паллада» окутался столбом дыма в полторы версты вышиной и через пять секунд исчез с поверхности моря со всей своей командой.

Внезапный удар и катастрофа. Так было уже с сотнями других кораблей, и так могло быть с «Джигитом» всего полчаса тому назад.

На лампе над столом — большой абажур оранжевого шелка, в полутьме мягкая кожаная мебель, а дальше в углу стеклянный ящик с подарком завода — серебряной вазой для фруктов. Просто нельзя себе представить, что в одно мгновение все это может перемешаться с огнем и водой и сразу исчезнуть.

Алексей Петрович Константинов вошел в кают-компанию и улыбнулся. Он отлично понимал, что в ней происходило.

— Между прочим, — сказал он, — в Порт-Артуре после гибели «Петропавловска» испугались неприятельских подлодок, которых, кстати, в природе не существовало, и решили с ними бороться.

Собрали всякие паровые и гребные шлюпки и выгнали их в дозор. Сочинили для них специальную инструкцию. Увидев перископ, они должны были хвататься за него и буксировать неприятельскую лодку в гавань. Буде же это почему-либо окажется затруднительным — рубить перископ нещадно, для чего в шлюпках иметь топоры. Весело?

— Весело, — согласился Нестеров. — Расея-матушка. Всегда было глупое начальство,

Инструкция эта, конечно, была бредовой, но в конце концов так ли далеко ушли средства противолодочной обороны от порт-артурских топоров? Ведь и лодки теперь совсем не те, что были.

— Надо что-нибудь придумать, — сказал Бахметьев. — С бомбами. Какую-нибудь тактику атаки.

Алексей Петрович кивнул головой:

— Правильно. Заходите ко мне, молодой, когда на рейд вернемся. Поговорим. — Но теперь нужно было говорить о чем-нибудь совершенно ином, а потому Константинов снова улыбнулся. — Этой самой удивительной противолодочной флотилией командовал Пустошкин Лука. Тот самый, который нагишом бегал по Сингапуру. Находчивый был мужчина и всегда выделял самые неожиданные номера. Например, в том же Порт-Артуре на сухопутном фронте атаковал японцев минами заграждения.

Это уже был рассказ, и вдобавок фантастический. В самом деле: как можно атаковать минами заграждения, да еще на суше? Такой рассказ стоило послушать, тем более что уснуть сейчас все равно не удалось бы.

Табачный дым длинными струями тянулся мимо оранжевого абажура к светлому люку над головами. Глухо громыхал наверху штуртрос, и в кают-компани было спокойно.

Мичман Пустошкин Лука, затратив немало усилий, влез со своими минами на гору Высокую. Прямо под ним лежали японские окопы, а мины, как известно, имеют шарообразную форму, и ничто им не может мешать под влиянием земного притяжения катиться под гору.

Ну, установил их Лука в каких-то кустах прямо над склоном, предварительно сняв с них колпаки и приладив к запальным стаканам куски бикфордова шнура.

Подсчитал примерно, сколько времени им катиться до японцев, соответственно обрезал шнуры до сорока пяти секунд горения, недолго думая запалил первую мину и, навалившись со всей командой, спихнул ее под откос.

Она запрыгала таким мячиком порядочных размеров и пошла быстрее, чем ей полагалось. Рванула далеко позади позиций.

Следующую мину поэтому следовало пустить с некоторой задержкой. Так Лука и поступил. Поджег шнур и дал мине постоять на месте двадцать секунд. Потом скомандовал:

— Нажми!

Нажали, а мина ни с места. Еще раз — покачивается, но не идет.

Лука считает секунды: двадцать пять, двадцать шесть... мина попала в ямку — никакими силами ее не сдвинешь. Команда совсем запарилась и немножко беспокоится... Тридцать два, тридцать три...

— А ну, еще раз!

Еще раз навалились грудью, подняли мину, подтащили ее к самому краю, но запутались в кустах... Тридцать семь, тридцать восемь... а всего ждать до сорока пяти.

Один из матросиков вдруг бросился бежать, а остальные сели. Тогда Лука швырнул свой секундомер, схватил лом и подsunул его под мину.

Рычаг второго рода. Мину все-таки выпихнули, но она, подлая, разорвалась чуть ли не перед самым носом и кое-кого изрядно попортила.

Больше Луке заниматься экспериментами не позволили, и он с горя пошел на ту самую противолодочную авантюру, где преимущественно ловил рыбу.

В иллюминаторе уже светало, и часа через полтора миноносец должен был вернуться на рейд. Ложиться все равно не стоило.

Нестеров вскипятил чаю и собственноручно подал его на стол. Гакенфельт ушел на мостик, а Константинов продолжал рассказывать.

Теперь Лука Пустошкин, огорченный неудачным исходом японской войны и страдающий от избытка свободного времени,пил несколько больше, чем ему полагалось.

На одной из боковых улиц Владивостока в те дни существовала некая совершенно знаменитая харчевня. Помещалась она во дворе, который назывался садом, хотя в нем было всего лишь одно-единственное дерево.

Впрочем, дерева этого хватало на всех. Ствол у него был сажени две в объёме, и ветви перекрывали соседние дома. Не просто дерево, а форменная сикомора или баобаб.

На этот самый баобаб Лука и залез в один прекрасный вечер. Под сильным влиянием винных паров вообразил себя макакой, кувыркался в ветвях, издавал дикие вопли и вообще развлекал публику.

Но вдруг обиделся. Услышал, что за столиками смеются, и решил на смех этот реагировать в точности так же, как реагируют обезьяны. Одним словом, показал местному населению города Владивостока свою голую задницу на фоне густой зелени.

Этого было вполне достаточно, чтобы смутить присутствовавшего адъютанта коменданта крепости. Будучи юношей осторожным, он сам не принял никаких мер, но сразу же позвонил по телефону своему начальству.

Начальство тоже было толковое. Точно учитывая психологию мичмана, вообразившего себя макакой, оно приказало адъютанту разыскать старшего из присутствующих морских офицеров и поручить ему одного мичмана убрать.

Вот тут-то адъютант и совершил ошибку. Выбрал какого-то дяденьку с двумя просветами на погонах, но не обратил внимания на то, что погоны эти были не строевые, а механические. Механиков же в те времена юные мичманы по свойственной им дурости не уважали.

Дяденька в полном одиночестве сидел за маленьким столиком и скромно ужинал. Вид у него, как и полагается инженер-механикам, был серьезный. Совсем как у нашего Павла Нестерова.

Адъютант передал ему приказание начальства, и он спорить не стал, — он был человеком военным. Вытер губы салфеткой, встал из-за стола, подошел к дереву и внушительно произнес:

— Молодой человек, извольте спуститься вниз!

Лука, естественно, не послушался. Продолжал скалить зубы и выделять неприличное.

— Ах так! — сказал почтенный инженер-механик и, круто повернувшись на каблуках, ушел на кухню, откуда через минуту вернулся с небольшой пилой.

Снял тужурку, аккуратно повесил ее на спинку стула и начал пилить дерево, которое шесть рабочих могли бы спилить примерно в недельный срок.

Адъютант еще раз ошибся: солидный механик оказался не менее пьяным, чем юный мичман. И одному

аллаху известно, сколько времени он пилил бы этот баобаб, если бы в дело не вмешался наш лейтенантский стол.

Мы просто показали Луке банан и рюмку коньяку. Сказали ему: «Пст! Жако! Жако!» — и он сбежал вниз как миленький, а мы его изловили. Усадили на извозца и отвезли домой.

Мораль: с обезьянами нужно уметь разговаривать по-обезьянски.

Это была веселая мораль, но была и другая. Довольно печальная, но, кажется, правильная: бывают времена, когда человеку приходится напиваться до вполне обезьяньего состояния.

Неплохо бы вот так напиться теперь.

Но это была лишь минутная слабость. Бахметьев встал, тряхнул головой и пошел умываться.

12

Алексей Петрович Константинов командовал «Джигитом» с самых первых дней войны, и большая часть его команды плавала с ним уже четвертую кампанию.

Служить с ним было просто и жить хорошо. Артельщикам у него воровать не полагалось, а потому стол на корабле был сытный. Всякую ябеду он весьма не одобрял и еще в пятнадцатом году некоего сверхсрочнослужащего за нездоровую любовь к докладным запискам на политические темы потихоньку списал с корабля.

Все дела и проступки он судил своим собственным, не лишенным юмора судом. Матросам, увольнявшимся на берег с грязными руками, приказывал мыться тут же перед строем. Одного из своей команды, сказавшегося больным специально, чтобы увильнуть от угольной погрузки, посадил на строжайшую диету, а другого, опоздавшего из отпуска, наградил тремя рублями и на трое суток выгнал с корабля.

Но никогда и ни при каких обстоятельствах он не доводил дело до суда и никому не давал дурных аттестаций.

За всё это вместе взятое, а также за то, что дело свое он знал хорошо, команда его уважала.

Поэтому, когда он встал, все выкрики сразу прекратились, наступила полная тишина, и председатель

собрания Мищенко огромным носовым платком вытер вспотевший лоб.

— Вот,— сказал Алексей Петрович,— я вас выслушал, а теперь вы меня послушайте.

Со всех сторон на него смотрели темные, напряженные лица команды, и в палубе было душно. А снаружи шумел сильный дождь. За последнюю ночь погода переменилась, и, видимо, всерьез.

— Лейтенанта Гакенфельта я попрошу выйти.

И, когда бледный Гакенфельт, согнувшись больше, чем это требовалось, вышел в дверь, Константинов снова повернулся к команде.

Такие лица он видел впервые в жизни. Однако в жизни своей он видел немало всякого разного и теперь пасовать не собирався.

Нужно было только найти верный язык,— и ни с того ни с сего вспомнилось, что он владеет пятью иностранными языками, не считая обезьянского. При мысли о Луке Пустошкине он чуть было не улыбнулся, но шутки здесь были бы некстати, а язык требовался отнюдь не иностранный, и самый человеческий.

— Сегодня ночью мы встретились с неприятельской подводной лодкой. На вахте стоял лейтенант Гакенфельт. Благодаря его решительности и умению лодка не имела времени нас атаковать. Мы благополучно вернулись сюда на рейд и здесь рассуждаем о том, что лейтенант Гакенфельт — негодяй, гнусная личность и так далее и что его следует немедленно выкинуть с корабля. Прямо за борт, как предлагал кое-кто из присутствующих.

Если я когда-нибудь соберусь жениться, я постараюсь выбрать себе невесту, приятную во всех отношениях. Старший офицер, однако, не жена, и в нем меня интересуют не столько его личные, сколько его служебные качества.

Я вполне допускаю, что лейтенант Гакенфельт многим может казаться человеком неприятным, но мне до этого дела нет. Он отличный офицер, что доказал хотя бы сегодня ночью. Мы с вами плаваем вместе уже не первую неделю, и, надо думать, вы меня знаете. Похоже, чтобы я оказался изменником и контрреволюционером?

Пауза и громкий, почти театральный шепот Мищенко:

— Как же можно!

Кто его, чудака, просил некстати соваться со своими репликами? И без того он себя сегодня несколько раз скомпрометировал.

— Ну так вот, я считаю вредным для обороны нашей родины снимать с фронта опытного боевого офицера только потому, что он кому-то не нравится. Но еще более вредным я считаю тот разговор, который мы с вами ведем.

Сегодня мы судим Гакенфельта, завтра будем судить еще кого-нибудь. Как смогут после этого офицеры отдавать приказания и делать свое дело? Сегодня это происходит у нас на «Джигите», завтра произойдет на всем прочем нашем флоте. Как сможет этот флот сражаться с немецким — сами знаете, неплохо налаженным?

И во что в конце концов превратятся все наши гражданские свободы и прочие завоевания революции, когда немцы нас разобьют и установят у нас свой порядок? Вношу предложение этот разговор отставить.

Снова тишина — и глухой голос Плетнева:

— Разрешите задать вопрос?

Бахметьев вздрогнул. Это было то, чего он ждал с самого начала. Ждал и боялся.

— Прощу, — спокойно сказал Константинов, но по глазам его было видно, что он тоже насторожился.

Плетнев встал и повернулся вполоборота. Так, чтобы видеть лица команды. Заговорил не сразу, медленно и негромко:

— Я не про вас хочу спросить, а про Гакенфельта. Похож ли он на контрреволюционера — вот что нам хотелось бы знать. И можете ли вы, командир корабля, поручиться, что он ни в каком случае не изменит? — Плетнев вдруг усмехнулся. — Наконец: очень ли вы его любите, что так берете под свою защиту?

— Вот ведь... — вполголоса начал Овцын и, растерявшись, не кончил.

Бахметьев, совершенно бледный, не спускал глаз с Алексея Петровича. Как он теперь ответит, как выйдет из положения?

Константинов стоял неподвижно. У него чуть потемнел шрам на лбу, но голос остался тем же твердым и ровным:

— Я люблю не лейтенанта Гакенфельта, а свою родину и свое дело. Я могу поручиться, что на моем корабле, пока я остаюсь его командиром, никакой измены и контрреволюции не будет. Но командиром его я смогу оставаться только до тех пор, пока мои помощники, офицеры, будут на этом корабле пользоваться должным доверием и уважением. Понятно?

Плетнев крепко сжал кулаки. На успех, по-видимому, рассчитывать не приходилось. По лицам команды было видно, что она колеблется.

Все равно, нужно было бороться за то, чтобы из неудачи тоже извлечь пользу. А для этого — идти напролом до конца.

— Значит, если мы уберем Гакенфельта, вы тоже уйдете с корабля? Так, что ли?

— Значит, — коротко ответил Константинов.

Теперь открывалась последняя возможность для атаки, и Плетнев за нее ухватился.

— Так, — сказал он, — по-вашему, для обороны вредно, чтобы опытные офицеры уходили с фронта, а сами вы, между прочим, готовы бросить свой корабль. Выходит, что защита Гакенфельта для вас дороже защиты завоеваний революции. Это, конечно, так и быть должно, потому что оба вы офицеры, дворяне, господа. — И, повернувшись лицом к команде, Плетнев неожиданно громко закончил: — Запомним, товарищи!

Гул и выкрики, но разноречивые, и без всякого толку. Команда раскололась на две части.

Что же, корабль слишком долго был оторван от берега и слишком отстал от революции. На этот раз командир, конечно, возьмет верх, но кое-что от этого собрания в матросских головах останется. А дальше видно будет.

Плетнев сел и положил руки на колени. Вместо него вскочил на ноги рулевой Борщев. Гулко ударил себя кулаком в грудь и закричал:

— Долой! Всех вместе, если не хотят с нами быть! Предателей революции! Буржуйских псов!

Но это было явно ни к чему, и Константинов даже рассмеялся. Попытка убрать Гакенфельта окончательно провалилась. Команда крепко верила своему командиру.

После собрания Плетнев подошел к лагуну. Почему-то ему нестерпимо хотелось пить, а вода в лагуне

кончилась. Поглаживая свои богатырские усы, мимо него прошел Мищенко. На ходу сказал:

— Интересное было собрание,—и, кивнув головой, ушел.

Борщев в маленьком кругу слушателей всё еще ругался. Это было глупо. После драки—кулаками махать. Вдобавок его явно поддразнивали, а он не замечал.

Стоя в стороне, ученик Кучин с опаской поглядывал кругом и что-то бормотал себе под нос. Радист Левчук сидел на рундуке и читал какую-то книжку с таким видом, точно всё происходившее его не касалось.

Плетнев пожал плечами. Один—крестьянский парень, темпота, другой—грамотный и толковый, только слишком ладится под интеллигенцию. Трудно с такими работать, а без них ничего не сделаешь.

— Ну? — спросил подошедший Лопатин. — Что дальше?

— Дальше? — И Плетнев, пересилив себя, улыбнулся.— Дальше, друг Ваня, то же самое, бороться будем.— Но вдруг ощутил во всем теле страшную усталость и, взяв Лопатина под руку, хриплым голосом закончил: — Пить охота.

Ему было очень плохо, и он не знал, что еще хуже чувствовал себя его противник, Алексей Петрович Константинов.

Алексей Петрович сидел в своей каюте, окутанный густыми слоями табачного дыма, и против него сидел мертвенно бледный Гакенфельт. Он только что предложил Гакенфельту сразу же по возвращении в Гельсингфорс пересводиться на другой корабль.

13

От Нади давно не было вестей, и, когда Бахметьев об этом вспоминал, ему становилось не по себе. Хуже всего было то, что он чувствовал себя перед ней виноватым, а в чем именно — понять не мог.

Подолгу смотрел на ее карточку и пытался представить себе ее голос, но из этого ничего не выходило. Перечитывал ее письма — длинные, трогательные, написанные крупными детскими буквами и украшенные крестиками по счету поцелуев, но и в них голоса ее не слышал,

Что же в конце концов свело их вместе? Были ли у них какие-нибудь общие интересы? На что должна была быть похожей их дальнейшая совместная жизнь?

И тут же со всей яростью нападал на себя за подобные мысли. Твердил себе, что Надя в десять раз честнее и лучше его, что он просто ее недостойн, что более надежного друга, чем она, быть не может,— и чувствовал себя гадко.

Вспоминал, как ей трудно и что она совсем одна. Не видел никакой возможности ей помочь и, чтобы заглушить тоску, курил до одури. Но от этого легче не становилось.

Как назло, миноносец несколько суток подряд стоял на якоре, делать было решительно нечего, и даже аэропланные палеты прекратились. Все сидели по своим каютам, а наверху шел дождь.

Из-за переборки слышно было равномерное жужжание и доносился легкий запах гари. Механик Нестеров занимался своим любимым выжиганием по дереву.

Он трудился уже два года с лишним и все переборки в кают-компани выжег и раскрасил сказочными рисунками Библина. Ярко-синими небесами, золотыми маковками церквей, пряничными дворцами и райскими птицами.

Теперь ему оставалось доработать одну лишь верхнюю филенку двери в свою каюту, и для нее он, по-видимому не без умысла, готовил Всадника-Солнце, на красном коне и с пылающим мечом скачущего сквозь тьму.

Была в его жизни какая-то обида, о которой он молчал. Может быть, это была бедность и низкое происхождение — он был сыном простого мастерового, — а может, еще что-нибудь. Совсем не случайной выглядела его резкая нелюбовь к Гакенфельту, и казалось, что он хотел бы стать революционером, но по характеру своему не мог. Он был человеком слишком тихим и застенчивым. Даже говорить он стеснялся и всю яркость своих ощущений выражал только в красках.

Хорошо было молча сидеть в его каюте и смотреть, как он возится с выжигательным аппаратом. Из-под раскаленного наконечника вырывалась узкая струйка синего дыма, светлая фанера покрывалась причудливым угольным рисунком, и можно было ни о чем не думать.

Самому Нестерову, вероятно, тоже нравилось, что

Бахметьев молчал с ним рядом. Время от времени он переставал накачивать воздух в аппарат, склонял голову набок и спрашивал:

— Ну как?

— Здóрово,— неизменно отвечал Бахметьев, и выжигание продолжалось.

Но однажды Нестеров положил ручку с наконечником на пепельницу и, повернувшись к Бахметьеву, спросил:

— А дальше что?

Прочел на лице Бахметьева недоумение, провел рукой по воздуху и, видимо с трудом, пояснил:

— Вот кончу кают-компанию, а что тогда делать? — но было совершенно ясно, что он сказал не то, что думал.

Отвечать ему было можно только шуткой, а потому Бахметьев улыбнулся:

— Ну возьметесь за мою каюту, я разрешаю.

— Нахал,— сказал Нестеров, но тоже улыбнулся. И со свойственной ему непоследовательностью спросил: — Рыб любите?

Бахметьеву вдруг стало холодно, ни с того ни с сего ему вспомнились рыбы, о которых кричал на собрании Борщев. Рыбы, к которым отправляют с балластиной, привязанной к ногам. Но нужно было шутить дальше, и он кивнул головой:

— Очень. Особенно копченых.

— Да нет же,— возмутился Нестеров.— Аквариум. Всяких вуалехвостов и макроподов. Я всегда мечтал завести и не мог. Когда мальчишкой был—денег не хватало, а здесь нельзя. Качает.

От неожиданности Бахметьев чуть не расхохотался, но вовремя вспомнил, что может обидеть Нестерова. Впрочем, он вовсе не был неправ, этот механик, мечтавший о тишине и аквариуме.

— Конечно,— сказал Бахметьев.— Это отличное дело.— И Нестеров взглянул на него с благодарностью в глазах.

— Вы понимаете, я просто устал...— Но раскрыть себя на этот раз ему не удалось. Раздался резкий стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения войти, в каюту влетел Степа Овцын.

— Англичанки! — крикнул он восторженно,— Целых три штуки! Сплошная красота!

— Стоп! — остановил его Бахметьев. — Что ты блещешь, душка моя Овечкин? Объяснись, пожалуйста.

— Какие такие англичанки? — спросил Нестеров и вид имел растерянный.

— Ну конечно ж, подлодки! Пришли из Рогикюля и стали на якоре у нас по корме. А вы уже обрадовались! Решили, что какие-нибудь девицы! — И от восторга Степа даже затрясся.

Английские подлодки, действительно, стояли на якорях, примерно в полумиле от «Джигита», и сквозь пелену косого дождя еле были видны.

На них странно было смотреть. Они принадлежали к совсем иному миру и жили собственной, совершенно непонятной жизнью. Жизнью вне времени и пространства революции. Жизнью, о которой лучше было не задумываться.

Во всяком случае, приход их следовало приветствовать, хотя бы потому, что он дал тему для разговоров за кают-компанейским столом.

Вспомнили о походах в Англию и встречах с англичанами. Корабли у них были здоровые, но по сравнению с нашими грязноватые. Моряки отличнейшие, особенно по части управления, но, видимо, не шибко грамотные в артиллерии, иначе не провалили бы Ютландского боя.

Вспомнили, как одна из только что пришедших лодок во время последних боев в Рижском заливе всадила торпеду в германский линейный крейсер «Мольтке». Она стояла на позиции и внезапно сквозь туман, чуть ли не вплотную к себе, увидела какую-то движущуюся серую стенку, но не растерялась. А наша лодка стояла рядом и, к сожалению, прохлопала.

— Нет, — с неожиданной резкостью вмешался Нестеров. — Она его видела, но не стреляла, потому что там должна была быть «Слава». И англичане тоже не могли знать наверное, только им было все равно.

Алексей Петрович пожал плечами. Пожалуй, его друг Нестеров Павел несколько преувеличивал, однако, в сущности, был прав. Всяческие альянсы и сердечные чувства существовали только на торжественных банкетах, и то лишь после принятия внутрь сильных доз спиртных напитков.

И заодно вспомнил, как в тринадцатом году, во время приема англичан с эскадры Битти на флагманском

крейсере «Рюрик», ему довелось услышать любопытный образец влияния английского языка на русский.

После плотного ужина с немалым количеством возлияний какой-то наш мичман отчаянно гремел на фортепиано, а над ним, подозрительно прицелившись своим полуоткрытым ртом прямо ему в затылок, раскачивался некий инглишмен.

«Пегька, — приказал мичману проходивший мимо старший офицер, — сведи поблюй его».

«Не извольте беспокоиться, — ответил мичман, продолжая греметь, — я его уже поблевал».

Все это вместе взятое, по мнению Алексея Петровича, было единственным возможным проявлением искренней дружбы между двумя великими державами и лишней раз подчеркивало необходимость крепких напитков для внешней политики.

И тут же он вспомнил еще один, еще более разительный пример благотворного влияния вышеупомянутых напитков на международные отношения.

Крейсер «Олег» стоял в Афинах и давал бал в честь греческой королевской четы. Пальмы на верхней палубе, сногшибательно сервированный стол в кают-компании, рев духового оркестра и прочая немыслимая роскошь.

Королева эллинов, как известно, была русской и на крейсере чувствовала себя превосходно. Король же Георг, за номером первым, к танцам склонности не имел и не знал, что с собой делать.

Сей просвещенный монарх по рождению был датчанином, но за отсутствием практики по-датски говорить разучился. По-гречески учиться не хотел, — он уже вышел из такого возраста, чтобы учиться. По-французски ни слова не понимал, а по-русски, конечно, еще меньше. Вообще только мычал, и от этого ему было очень скучно.

Луке Пустошкину, который к тому времени дослужился до старшего лейтенанта, приказали его величество развлечь, и он сразу сообразил, что ему делать.

Почтительно пригласил монарха следовать за собой и увел его с верхней палубы, где танцевал весь бомонд, вниз в пустую кают-компанию. Показал ему всё, что стояло на столе, и сказал:

«Вуаля!»

У монарха лицо сразу стало более интеллигентным, и даже замычал он как-то веселее.

«Разрешите, вотр мажете?» — спросил Лука, пощелкав пальцем по графинчику, подернутому привлекательной испариной.

Его величество знаками продемонстрировал, что не только разрешает, но и всемерно одобряет, и сразу же сел за стол поближе к балыку.

Примерно после десятой рюмки Лука проникся к Георгу уважением. В первый раз в жизни своей он видел настоящего монарха, который пил, как настоящая лошадь. От избытка чувства он похлопал его по колену и предложил:

«Руа, бювон еще по одной?»

«Бювон», — согласился руа, сиречь король, который к этому времени уже немного овладел французским языком.

Танцы наверху продолжались довольно долго, и, когда публика начала спускаться в кают-компанию, союз между греческим королем и русским старшим лейтенантом был заключен на вечные времена.

Они сидели обнявшись и плакали. Лука сквозь слезы пел про камаринского мужика, а король горестно ему подвывал.

Конечно, обоих срочно отвели по каютам и уложили спать, и, конечно, когда пришла пора разъезжаться по домам, короля поставить на ноги не удалось.

Съехал он на берег только на следующее утро вместе с буфетчиком, отправлявшимся на базар. Был он вполне инкогнито, в гороховом пальто с поднятым воротником, и, прощаясь с Лукой, глядел на него собачьими глазами.

И что же? Королева, правда, малость сердилась, но тем не менее Греция, как вам известно, теперь воюет на нашей стороне.

Это был великолепный по своей нелепости рассказ, и, несмотря на некоторую мрачность его юмора, вся кают-компания дружно смеялась.

Вся — за исключением Гакенфельта, но Гакенфельт за последнее время вообще потерял способность улыбаться. Сидел опустив плечи и уставившись глазами на скатерть. Молчал и иногда без всякой причины вздрагивал.

«Отважный», на рассвете пришедший из Гельсингфорса, привез тревожные новости.

Кронштадт решительно выступил против бессмысленной бойни на фронте, против явного предательства в тылу, против правительства наемников буржуазии.

В Питере происходили крупные события. Снова бастовали заводы, и воинские части, кажется, уже вышли на улицу, с оружием в руках требуя передачи всей власти Всероссийскому съезду Советов.

Четверка с «Отважного» доставила «Джигиту» почту. Пока вахтенный начальник по положению расписывался в получении пакетов, старшина четверки Кузьма Волошанович попросил у него разрешения посетить старого своего друга, минного унтер-офицера Плетнева.

И сразу же в команде появились перепечатанные на машинке копии провокационной телеграммы помощника морского министра командующему Балтийским флотом:

«Временное правительство, по соглашению с Исполнительным комитетом С. Р. и С. Д., приказало принять меры к тому, чтобы ни один корабль, без вашего на то приказания, не мог идти на Кронштадт. Предлагаю не останавливаться даже перед потоплением такого корабля подводной лодкой, для чего полагаю необходимым подводным лодкам занять заблаговременно позицию.

Подпись — *Дудоров*».

Мищенко, размахивая руками, кричал, что это чепуха. Сплошное вранье темных элементов, которые играют на руку немецкому шпионажу и влекут свободную Россию к гибели. Такой телеграммы не было и быть не могло.

Но об этой же телеграмме говорилось в маленькой большевистской газете «Волна», последние номера которой сразу в достаточном количестве появились из-за пазухи Волошановича.

Говорилось в ней о многом другом, о чем Волошанович тут же рассказал со всеми подробностями.

Об аресте Онипко, правительственного комиссара на Балтийском флоте и изменника делу революции, о бес-

помощных попытках меньшевиков из Гельсингфорсского Совета удержать в повиновении матросские массы, о небывалом взрыве негодования на всех кораблях и о решительных действиях Центробалта, выславшего в город вооруженные патрули.

Мищенко продолжал кричать, но теперь никто его не слушал. Сразу же на месте, без всякого участия председателя судового комитета, выбежавшего из палубы, само собой созвалось общее собрание, и на этом собрании первое слово для информации получил Волошанович:

— Товарищи! — Голос у него был глухой, и говорил он невнятно, но в палубе стояла такая тишина, что каждое его слово доходило до самых дальних слушателей. Даже до Мищенко, прислушивавшегося из-за дверей. — Товарищи! Вот что сейчас делается. — И Волошанович повторил то, что уже раз рассказывал. — Телеграмму эту самую штаб припрятал, однако в Центробалте о ней узнали. И еще перехватили одну телеграмму, только той у меня с собой нет.

Господин капитан первого ранга Дудоров приказывает прислать из Рижского залива какой-то дивизион миноносцев. Чуть ли не ваш шестой, товарищи, потому что считает его надежной защитой против кронштадтцев.

Господин Дудоров приказывает, чтобы шел этот дивизион полным ходом прямо в Неву, в собственное его распоряжение. — Волошанович тряхнул головой и усмехнулся. — Не знаю я, что у него из этого получится, только не думаю, чтобы вы стали стрелять по своим.

И сразу палубу встряхнуло таким ревом, какого эскадренный миноносец «Джигит» не слышал с самой своей постройки. Таким, что Мищенко отшатнулся, точно подстреленный, и стремглав бросился в корму, в уют-компанию к командиру.

Когда постепенно снова наступила тишина, Волошанович надел фуражку. По привычке приложив руку ребром к носу, проверил, что кокарда на месте, и повернулся к Плетневу:

— Ну вот, браток, все новости. Разбирайтесь тут без меня, мне на другие корабли поспеть надо. — И неожиданно подмигнул самым хитрым образом: — Казенная почта не ждет. Сам понимаешь.

— Ступай, — ответил ему Плетнев и встал,

Теперь на него смотрели совсем не теми глазами, что на прошлом собрании. Не зря все последние дни он, Лопатин и кочегар Сихво чуть ли не часами разговаривали со всеми по очереди, и кстати пришлось новости Волошановича.

— Товарищи, правительство наконец открыло свое лицо. Оно готовит торпеды для революционных моряков и пули для питерских рабочих.— Плетнев остановился и еще раз осмотрел всю палубу. В напряженной тишине было слышно каждое дыхание. Теперь можно было действовать.

15

Алексей Петрович Константинов сидел в своем кресле, и перед ним на письменном столе лежал последний номер гельсингфорсской газеты «Волна». Мищенко, молча перебирая пальцами, стоял посреди каюты.

— Болваны,— вполголоса сказал Алексей Петрович, достал трубку и начал набивать ее табаком.

— Так точно,— с готовностью сказал Мищенко, но Алексей Петрович покосился на него отнюдь не дружелюбно.

Мищенко, по-видимому, решил, что этот эпитет относился к команде или большевикам, а в действительности сам был болваном.

Опершись обеими руками о стол, Алексей Петрович встал. Курить он раздумал и трубку положил обратно в карман.

— Пойдем.

В коридоре у подножия трапа его ожидал Бахметьев в расстегнутом кителе и с лицом, искаженным волнением.

— Алексей Петрович,— ему очень трудно было говорить, особенно в присутствии Мищенко, но он сделал над собой усилие. Теперь пришло время выбирать, с кем идти, и он не мог не выбрать Алексея Петровича.— Я должен вам сказать. Предупредить. Минер Плетнев опасный человек. Он революционер. Я знаю наверное.

Алексей Петрович кивнул головой.

— Я тоже знаю. Застегнитесь.— Поглядел поверх головы Бахметьева и, подумав, приказал: — Передайте всем офицерам, чтобы шли на общее собрание, и сами

идите. А Гакенфельт пусть сидит у себя в каюте.— Повернулся и не спеша стал подниматься по трапу.

На верхней палубе было совершенно пусто. Даже вахтенный куда-то исчез. Даже сигнальщика на мостике не было видно.

Ветер налетал сильными шквалами, пенил темное море и хлестал мелкой дождевой пылью. Этот дождь не прекращался уже десятый день. Станный был июль месяц.

И странно было идти в нос по скользкой пустой палубе точно вымершего корабля.

Впрочем, проходя мимо камбуза, Алексей Петрович услышал лязг кастрюль и заглушенное пение. Кок, несмотря на все события, оставался на своем месте и почему-то пел. Неужели только он один был верен своему делу?

Нет, сигнальщик все-таки оказался на мостике. Нагнувшись над поручнем левого крыла, он медленно отмахивал флажками. Принимал какой-то семафор,— должно быть, с «Украины».

Наступил конец всему на свете, но думал об этом Алексей Петрович с полным спокойствием. Он знал, что рано или поздно это все равно должно было случиться, и Мищенко, в нерешительности остановившемся у дверей в первую палубу, сказал:

— Всё в порядке, идем.

В палубе их точно не заметили. Посторонились, дали пройти вперед, но не сводили глаз со стоявшего посередине круга Семена Плетнева. И сам Плетнев, хотя тоже их увидел, продолжал говорить.

— Вот чего добивается буржуазия и продавшийся ей Керенский, и вот чего хочет партия большевиков и весь пролетариат.— На мгновение остановился и, взглянув на Алексея Петровича, закончил:— А теперь мы узнаем, чего хочет наш командир.

— Да,— ответил Алексей Петрович.— Прежде всего, хочу знать, в чем дело.

Плетнев усмехнулся:

— Разве Мищенко не доложил?

Нужно было выгадать время, выждать, чтобы остыли страсти. Алексей Петрович пожал плечами:

— Не слишком понятно доложил, Расскажите вы. Очень прошу.

— Ладно.

Плетнев говорил толково. Слишком толково. И факты были совершенно убийственные. Пожалуй, он зря попросил его еще раз повторять всю эту историю.

— Теперь всё ясно,— вдруг прервал Плетнева Алексей Петрович.— Я полагаю...— но в свою очередь его перебил неожиданный голос сигнальщика Часовникова:

— Товарищи! Нам приказ приготовиться к походу. К четырнадцати часам! Всему дивизиону!

Это было совершенное безумие. Чистой воды идиотизм. Неужели они не понимали, к чему это приведет? Нужно было срочно снестись с начальством дивизиона и требовать отмены похода.

Но в случае получения неверного приказа следует всё же его исполнить и лишь потом докладывать начальству о его неправильности. Так учили Алексея Петровича двадцать четыре года подряд, и эта наука привела его ко второй, уже непоправимой, ошибке.

Обведя взглядом присутствовавших и разыскав среди них инженер-механика Нестерова, он поднял руку со скрюченными пальцами:

— Механик!

Но сразу по палубе прокатился глухой гул, а Нестеров, внезапно вскочив на ноги, закричал:

— Не пойду! Не могу! Откажись, Алексей Петрович!

И гул перешел в крик, и вся масса, двинувшись прямо на Алексея Петровича, остановилась лишь вплотную к нему.

— Мы пойдем!— крикнул Лопатин.— Только там покажем, за кого стоим!

— Долой Керенского! Бей офицерьё!— неистовствовал Борщев, и казалось, что вот сейчас он бросится и схватит за горло.

— Предатели! Убийцы! Убийцы!— выкрикивал радист Левчук, а ведь он был одним из самых смиренных матросов на корабле.

От мелькания в глазах, от шума и внезапно подступившего удушья Алексей Петрович еле держался на ногах. Все-таки выстоял, и крики постепенно утихли, а кольцо на шаг отступило.

Но что можно было сказать теперь? Спорить? Убеждать? Пытаться объяснить? Нет, всё это было совершенно бесцельно, тем более что никакого выхода из положения он предложить не мог.

И он сказал:

— Решайте сами, а когда решите, приходите ко мне. Здесь мне говорить трудно.— Махнул рукой, пошел к выходу из палубы, а за ним пошли все офицеры, кроме механика Нестерова.

И снова команда, расступившись, молча дала им пройти.

16

Начальник дивизиона сообщил, что поход предполагался вовсе не в Питер и отнюдь не для борьбы с кронштадтцами. Просто часть миноносцев должна была выйти в дозор, а часть конвоировать заградители, следовавшие к бухте Тагалахти.

Неужели революционные моряки откажутся от выполнения своего боевого долга?

Но команды больше не верили ни начальнику дивизиона, ни всем прочим начальникам. Плетнев, Лопатин и Левчук пришли в каюту Алексея Петровича и сказали:

— Мы требуем, чтобы все офицеры дали подписку, что не будут участвовать ни в каких выступлениях против революции и против наших братьев кронштадтцев.

— Хорошо,— ответил Алексей Петрович, потому что больше отвечать ему было нечего.

— Мы требуем, чтобы вы подписали резолюцию протеста, которую мы направляем в Морское министерство и для сведения в Центробалт.

— Подпишу,— согласился Алексей Петрович. Теперь всё ему было совершенно безразлично.

— Мы требуем списания с корабля явного контрреволюционера Гакенфельта и подлого прихвостня Керенского Мищенки.

— Они будут списаны,— сказал Алексей Петрович и рукой провел по глазам. Его охватила смертельная усталость.

— Тогда мы согласны идти в поход и выполнять ваши боевые распоряжения.

— Передайте механику, чтобы поднимал парь, и вахтенному начальнику, чтобы готовил миноносец к походу.

Но делегация не уходила, и Алексей Петрович спросил:

— Что-нибудь еще?

Ответил Плетнев:

— Команда просила вам сказать, что вас она уважает, но будет следить за тем, как вы оправдываете ее доверие.

17

От страшного общего собрания и от того, что потом происходило в кают-компании, у Бахметьева лицо горело, точно от сильного ветра.

Конечно, он дал подписку. Он не мог не дать ее после того, что сказал Алексей Петрович, но все-таки это было похоже на трусость. И больше не оставалось никакой надежды — весь флот, вся страна катились в пропасть.

И он был совершенно одинок.

Нестеров сидел у себя и раскрашивал свою последнюю картину, но после того, что случилось в первой палубе, подойти к нему было невозможно.

О разговоре с Гакенфельтом и думать не приходилось. Ареский стоял на вахте, а Степа заперся в своей каюте и чуть ли не плакал.

И к Алексею Петровичу идти тоже нельзя было. Он лег спать и приказал, чтобы до съемки его не тревожили. Неужели после всех происшествий он был способен уснуть?

Что-то нужно было делать, а дела никакого не было. Бахметьев достал с полки толстый альбом Джэна — английский справочник военных флотов — и сел в углу кают-компанейского дивана.

Вот она, вся романтика современного боевого флота, — великолепные фотографии в профиль, вполоборота и с носа, схемы расположения брони и углов обстрела тяжелой артиллерии, сухие и сжатые комментарии, критика кораблей как произведений искусства.

Вот Россия. Флаги и уже не существующие погонны. Планы гаваней, а потом таблицы силуэтов. Гордость флота — новые линейные корабли, снятые в еще не достроенном виде. «Гангут», который чуть не взбунтовался еще при старом режиме, «Петропавловск», на котором недавно убивали офицеров.

Дальше! Дальше! «Цесаревич» — герой Порт-Артура. Теперь он сменил свое имя на «Гражданин», и это

звучало странно. Покойница «Паллада» — с нее не спаслось ни одного человека.

Нет, неважная это была романтика, и ничего хорошего из нее не получилось.

Миноносцы. Фотография самого «Джигита». Когда и где его снимали стоящим на якоре, выкрашенным в белый цвет и чистеньким, как яхта? Кто были эти офицеры в белых кителях, садившиеся в четверку у трапа? О чем они могли думать?

Сейчас они казались более далекими, чем если бы жили на луе, — странными и непонятными существами.

Хотелось ли ему перейти в тот мир? Вместе с ними сесть в шлюпку и поехать развлекаться на берег?

Нет, ему хотелось просто перестать думать и, если было бы возможно, уснуть.

— Господин мичман!

— Да!

Перед ним стоял вахтенный со сложенной бумажкой в руке:

— Вам телеграмма. Сейчас доставили.

— Спасибо. Можете идти.

Сперва он не решился ее развернуть. Казалось, что в ней могли быть только плохие новости. Потом порвал склейку и прочел:

«Поздравляю. Родился сын. Надя».

Читал еще три раза, пока наконец понял. Встал, подошел к буфету, налил себе стакан холодной воды и залпом его выпил.

18

Гакенфельт наверх не выходил, и весь поход пришлось стоять на три вахты. Впрочем, это было только к лучшему, потому что от усталости наступило отупение.

И в море, действительно, не было никакой политики, а только ветер, вода и неважная видимость.

Встретили сорвавшуюся с якоря мину заграждения и расстреляли ее из пулемета. Потом два раза видели подозрительные предметы, которые на поверку оказывались не перископами, но успокоиться не могли — слишком жила была в памяти последняя встреча с неприятельской подлодкой. А на утро третьего дня

попали в сплошной туман и убавили ход до малого, что тоже было противно.

После обеда сидели в кают-компании, но разговор не ладился. Может быть, из-за того, что Алексей Петрович вместе с вахтенным начальником Степой Овцыным стоял на мостике.

Аренский раскрыл трик-трак и предложил сыграть. Бахметьев согласился.

Это была старая превосходная игра. Кости прыгали по зеленому сукну, и шашки передвигались с красных треугольников на белые, перескакивали друг через друга и громоздились горками. За этой игрой можно было забыть всё на свете. Недаром говорилось, что в нее русский флот проиграл японскую войну.

И Бахметьеву определенно везло. Он как хотел вышибал шашки Аренского и не давал им никакого хода. Он чувствовал полную уверенность в своих силах и не сомневался, что скоро вернется в Гельсингфорс, где сразу вся жизнь должна была обернуться по-новому.

— Моя каза! — сказал он торжествующе, когда кости легли двумя шестерками.

Но круглый столик вдруг отшатнулся в сторону, а сверху с полки на него посыпались книги и журналы. Вся кают-компания подпрыгнула от громового удара. Дверцы буфета распахнулись, и горка тарелок, звеня, разбилась на палубе.

Нестеров, хватаясь за стол, вскочил, но потерял равновесие и ударился головой о переборку. Все-таки сказал:

— Господа, прошу соблюдать спокойствие!

Наверху что-то огромной тяжестью рухнуло на стальную палубу, куски пробковой обшивки посыпались на голову, почти сразу же корабль перестал дрожать, и донесся заглушенный свист пара.

— Моя машина! — вскрикнул Нестеров и бросился к трапу.

Но выбраться наверх оказалось не просто. Упавшей грот-мачтой придавило входной люк, и он открывался только до половины. Нестеров застрял.

— Эй! — кричал он кому-то на верхней палубе, но никто не приходил. Дергался и цеплялся ногами за ступеньки, но вылезти никак не мог.

Бахметьев вдруг расхохотался: ему вспомнилась история с песиком, застрявшим в иллюминаторе.

Аренский схватил его за плечи и встряхнул:

— Возьмите себя в руки! — А у самого лицо было перекошено смертельным страхом.

Только тогда Бахметьев понял, что корабль тонет. Уже появился крен на правую, и с каждым мгновением он увеличивался. А толстый механик засел в люке, и теперь все они должны были утонуть.

— Тяните меня назад! — глухо сказал Нестеров. — Машины уже не спасти. Я останусь. Мне наплевать, слышите?

Бахметьев бросился к нему, схватил его за ноги и изо всей силы толкнул вверх. Нестеров вскрикнул, но с места не сдвинулся.

— Не надо! Тяните назад и спасайтесь сами.

Снова Бахметьев навалился, и снова ничего не вышло. Не так ли в рассказе Алексея Петровича сталкивали мину? Чепуха! Нужно было сосредоточить всю свою волю, всю свою силу и еще раз нажать.

И, когда Бахметьев в последний раз напрягся, наверху грохнула гулкая тяжесть, и крышка люка сама отскочила вверх. Мачта с нее свалилась.

Над морем летел редкий туман, и гладкие маслянистые волны были уже почти вровень с палубой миноносца. Впереди клубами валил пар, и сквозь него смутно был виден искалеченный, свалившийся влево полубак с мостиком. Первая труба в осколках шлюпок лежала поперек палубы, а вокруг нее стояли и лежали черные неподвижные люди.

Из облаков пара, поддерживаемый рулевым Борщевым, вышел Алексей Петрович. Его правая рука сигнальным флагом была перевязана на груди, и из нее лила кровь.

— Задумались? — спросил он. — Двигайтесь! Надевайте пояса и собирайте всякое деревянное барахло. Оно пригодится!

Люди задвигались, но нерешительно.

— Ну! — прикрикнул Алексей Петрович. — Веселей! — И подобающим образом вспомнил апостола Павла.

Нестеров бросился к нему:

— Что случилось?

— Всё решительно, — ответил Алексей Петрович. — Первую кочегарку вдрызг и вторую слегка. Течем по

всем швам. Продержимся пять минут... Спасибо, Борщев. Здесь я присяду, а вы позаботьтесь о себе.

— Нет! — И Борщев упрямо тряхнул головой.

— Но что же это было? — спросил Бахметьев.

Алексей Петрович пожал плечами:

— Не то лодка, не то просто плавающая мина, черт ее знает. Однако вы не расстраивайтесь. Вода теплая, а тут поблизости болтаются «Стерегающий» со «Страшным»... Достаньте, пожалуйста, мою трубку. Из правого кармана... Спасибо, она набита. Только дайте огня.

Он сидел на тумбе стомиллиметровой пушки, точно на кресле в кают-компании, и сосредоточенно раскуривал свою трубку. Его служба окончилась, и он мог позволить себе отдохнуть.

19

Очнулся Бахметьев в своей каюте, но почему-то накрытый чужим одеялом. Корабль трясло на большом ходу, и из кают-компании доносился смутный гул разговоров.

Но сразу снова увидел туман, волны со всех сторон, высоко поднявшуюся в воздух острую корму миноносца и черные головы на воде. Снова почувствовал, что задыхается, что ноги страшной тяжестью тянет вниз, что всё тело немеет от холода. Рванулся, чуть не упал с койки и громко застонал.

В каюту вошел Андрюша Хегельсен. Почему Андрюша? Ведь он плавал на «Стерегающем»? Как он мог попасть на «Джигита»?

— Здорово, ут пленник, — сказал Хегельсен, но Бахметьев снова потерял сознание.

Совершенно белый Гакенфельт стоял у поручней и улыбался. Он явно был доволен. Он был врагом.

Поясов хватило не на всех. Почему-то остальные нельзя было достать. А на Алексея Петровича пояс надеть никак не удавалось. Мешала его раненая рука.

У него, у Васьки Бахметьева, родился сын. Это было необычайно смешно. Это следовало с треском отпраздновать по прибытии в Гельсингфорс.

Но кругом была совершенно пустая вода, и он чувствовал, что тонет. А он хотел жить. Жить!

— Тихо! — говорил ему Андрюша Хегельсен и из фляжки лил ему в рот коньяк.

Снова плыла вода, тяжелая и холодная. Он уже не мог двигаться. Он цеплялся за решетчатый люк, и рядом с ним на волнах качалась голова минера Плетнева:

— Держитесь, господин Арсен Люпен, там кто-то идет! — И сквозь туман он видел смутный силуэт минносца.

Окончательно он пришел в себя только ночью. Корабль определенно стоял на якоре, и было совсем тихо. Книжная полка висела ниже, чем ей следовало, и переборка была светло-розовая, а не белая.

Только тогда он понял, что лежит не в своей каюте, а в чужой, и вспомнил, как на руках его поднимали на борт «Стерегущего».

И еще вспомнил: без Плетнева он погиб бы. Плетнев поделился с ним своим решетчатым люком и все время его поддерживал. Где он был теперь?

20

Утром пили чай.

Кают-компания была в точности как на «Джигите», но, конечно, без билибинских рисунков.

Кстати: Нестерова не нашли. В последнюю минуту он спустился вниз за своей незаконченной картиной, и больше никто его не видел. Впрочем, наверное он вышел наверх, потому что картину его из воды подняли.

«Стерегущий» слышал взрыв. Он находился почти рядом, но пока разыскал место гибели «Джигита», блуждал в тумане больше получаса.

Алексея Петровича спасли. Он плавал привязанный к четырем веслам, а теперь лежал в командирской каюте, и было неизвестно, выживет он или нет. Он потерял слишком много крови.

Из всей команды в восемьдесят шесть человек подняли пятьдесят семь, из них восемь раненых, и это было большой удачей. Но всё же погибло двадцать девять. Из-за чего? Кому это было нужно?

Аренский спасся. Он не мог тонуть без шiku, а потому срочно переделался в новый костюм, но, к сожалению, в старой тужурке забыл бумажник со всеми своими деньгами.

Степа Овцын погиб в самом начале. Его на мостике убило взрывом. Бедный Степа, ему всегда не везло.

Зато Гакенфельт сидел за столом веселый и снова самоуверенный. Обрадованный последними новостями из Питера, где беспорядки были подавлены и большевиков уже начали преследовать. Откровенно смакующий гибель Борщева, Лопатина и еще кое-кого из его врагов.

— Зря, конечно, вытащили этого вашего приятеля Плетнева, однако в Гельсингфорсе я с ним разделаюсь. Будьте уверены.

Над морем постепенно прорастали два узких шпиля церкви святого Иоганна.

— Она называется «пара пива», — объяснил Бахметьеву командир «Стережущего» старший лейтенант Шенк. — Через час будем дома.

По-видимому, причиной гибели «Джигита» была подводная лодка. «Страшный» и «Донской казак» видели ее поблизости, открыли по ней огонь и заставили погрузиться. Не та ли, с которой встретился и «Джигит» в прошлый раз?

Но теперь это было неинтересно. На горизонте медленно поднимался из воды Гельсингфорс, а в Гельсингфорсе его ждала Надя и, главное, сын Совершенно непонятное и самое замечательное происшествие в его жизни.

Теперь, наверное, дадут отпуск по крайней мере на месяц, и можно будет с Надей отдохнуть. Как она обрадуется, эта девочка! Впрочем, не девочка, а самая настоящая мать семейства. Просто умора!

Бахметьев вдруг совершенно ясно увидел перед собой ее улыбающееся лицо и почувствовал, что больше стоять на мостике не может. Спустился вниз в каюту друга и приятеля Андрюши Хегельсена бросился на койку, спрятал лицо в подушку и внезапно провалился в черную пустоту.

Он был очень измучен всем, что произошло за последние дни, а потому проснулся не скоро.

Потирая руки, у его койки стоял Гакенфельт:

— Будьте любезны встать!

— Есть! — И Бахметьев вскочил.

— К вашему сведению: Алексея Петровича свезли в Морской госпиталь, и я вступил в командование над оставшейся командой «Джигита».

— Есть! — повторил Бахметьев. Почему-то ему стало холодно, — так холодно, что он весь сжался.

— Я уже был в штабе и всё согласовал. Потрудитесь взять двух человек из нашей команды, арестовать старшину-минера Плетнева и отвести его в штаб командующего флотом. Оружие получите у артиллериста «Стережущего».

Бахметьев не ответил. Это было невероятно, и даже больше того — просто невозможно.

— Вы слышали?

— Я не могу, — хриплым голосом сказал Бахметьев.

— Отказываетесь выполнить приказание?

Всё воспитание Морского корпуса, весь многовековой уклад офицерской среды, вся страшная сила воинской дисциплины были на стороне Гакенфельта, но всё-таки Бахметьев отказался:

— Я... у меня нет сил. Я совсем болен... И потом, он же меня спас...

Гакенфельт поднял брови.

— Исполнить и по исполнении доложить. — И, высоко подняв голову, вышел из каюты.

21

Плетнев к своему аресту отнесся вполне спокойно. Даже добродушно. Усмехнулся, когда увидел, что Бахметьев не смеет смотреть ему в глаза, и сказал:

— Ладно, пойдём. — А потом в виде утешения добавил: — Вы не бойтесь. Это пустяки.

По сходне вышли на стенку и вдоль стенки шли молча. Заговорить было невозможно, а так нужно было объясниться.

Накрапывал мелкий дождь, и ветер с моря гнал низкие серые тучи. Все равно, сейчас эта история должна была закончиться, а потом ему можно будет идти к Наде. И он старался думать о своем сыне.

В штабе их принял не кто иной, как флаг-офицер мичман барон Штейнгель.

— Привел большевика? Отлично... Плетнев? Кто бы мог подумать! Что ж это вы, Плетнев? Напрасно! Напрасно!

Штейнгель вызвал караул и, когда Плетнева увели, повернулся к Бахметьеву:

— Садись. Хочешь курить? — И от его голоса Бахметьеву сразу стало не по себе.

— Что случилось?

— Ты не волнуйся. Волнение делу не поможет. Хочешь коньяку? У нас тут есть малость.

Бахметьев встал:

— Слушай, ты мне говори прямо.

— Она умерла, — тихо ответил Штейнгель. — Вчера мы ее похоронили. А ребенка увезла твоя мать. Сядь, пожалуйста, и давай поговорим.

Но Бахметьев молча пошел к двери. Зацепил за столик с бумагами и чуть его не опрокинул. В коридоре наткнулся на какого-то контр-адмирала и, не извинившись, прошел мимо. Вышел на воздух и тогда только остановился.

Лил мелкий дождь, и над самой головой ползли тяжелые серые тучи. Нади больше не было. Смешной девчонки Нади, настоящей матери семейства.

И корабля не было, и весь мир был пронизан сплошным серым дождем.

Куда же он мог идти?

Река

ПОВЕСТЬ

I

Снова ударила кормовая стомиллиметровая, и Бахметьев поморщился. Положение было в достаточной степени невеселым. Широкая, но предательски мелководная река: попробуй сойти с фарватера — сразу сядешь. Бестолковый колесный пароходик, и на нем какие-то непонятные люди, с которыми не знаешь как разговаривать. Задание: держась на одном месте, стрелять неизвестно куда, чуть левее колокольни, прицелом — сорок пять. Мелкий дождь и собачий холод — черт бы побрал всю эту неладную комбинацию!

И, кроме того, — течение. Оно явно было слишком сильным и сносило корабль с заданного места.

— В машине! — крикнул Бахметьев в переговорную трубу.

— Чего надо? — ответила машина.

Конечно, с военно-морской точки зрения такой ответ никуда не годился, однако о всяком военно-морском лучше было забыть. Бахметьев пожал плечами и снова наклонился к переговорной трубе:

— Прибавьте пару оборотов!

— Ладно, прибавим, — согласились машинисты. Они были обыкновенной командой обыкновенного речного буксира. Обижаться на них не стоило.

Еще раз прогремело кормовое орудие. Оно стреляло уже минут двадцать без перерыва и в самое ближайшее время должно было раскалиться. Что тогда делать?

Очевидно, прекращать стрельбу, поворачивать носом вниз по течению и открывать огонь из носовой пушки. Но удастся ли с такими машинистами удерживать свое место на заднем ходу?

Руки застыли, и было нечего курить, и фуражка прилипла ко лбу, и капли дождя стекали за ворот,

и никакого конца всем этим сплошным неприятностям не предвиделось.

— Командир! — над самым ухом сказал резкий голос, и от неожиданности Бахметьев вздрогнул. Рядом с ним стоял комиссар Федор Ярошенко — высокий и худой, самый непонятный человек на корабле. — Командир! — повторил он. — Это что такое? — и костлявым пальцем показал на горизонт.

Над лесом левого берега, как раз позади колокольни, подымался густой столб черного дыма. Скорее всего, это был пожар, но думать о том, что именно горело, не хотелось, и вообще всё происходящее было безразлично.

— Понятия не имею. Может, мы что-нибудь подожгли?

В лесу за поворотом реки сидели белые. Ему приказали их обстрелять, и он их обстреливал. Его дело было маленькое. И вдобавок скучное, потому что противник на огонь не отвечал и вместо боя получалось нечто вроде плохо организованной учебной стрельбы.

Зря он пошел на эту самую речную флотилию. Спокойно мог отвертеться от назначения и остаться в Питере, но не сделал этого из принципа. Он был военным человеком и должен был идти, куда ему прикажут. Дурацкий принцип, может быть, но чем же еще руководствоваться в такое время?

— Товарищ командир!

— Да?

На трапе мостика стоял бывший комендор, ныне судовой артиллерист Шишкин. Не слишком знающий молодой человек, которому перед боем всю ночь напролет пришлось объяснять элементарные правила пристрелки.

— Пушка перегрелась. Нельзя стрелять.

Бахметьев кивнул головой:

— Отбой! Переходите к носовому орудью. — И в переговорную трубу скомандовал: — Полный вперед!

Сразу же комиссар Ярошенко поднял брови:

— Куда мы уходим?

Командиру корабля надлежало все свои действия согласовывать с комиссаром. Значит, нужно было объяснить каждый свой шаг.

— Мы никуда не уходим, — усталым голосом ска-

зал Бахметьев.— Мы разворачиваемся носом вниз и будем продолжать обстрел... Лево руля!

— Есть лево руля! — откликнулся рулевой, военный моряк Слепень, и от четкости его ответа Бахметьев почувствовал облегчение. Великоё дело — четкость!

Комиссар Ярошенко отошел в сторонку, достал из кармана пакетик махорки и стал из обрывка газеты крутить козью ножку.

Курить хотелось больше всего на свете, но попросить у комиссара было просто невозможно. Чтобы не видеть, Бахметьев резко отвернулся.

Медленно разворачивались плоские берега, и плыла светло-серая вода. Пароход, громко шлепая колесами, шел прямо на вешку, ограждавшую фарватер. Успеет он вывернуться или сядет куда не надо?

— На борт! — приказал Бахметьев.

— На борту! — ответил Слепень.

Вешка постепенно стала отходить вправо. К счастью, удалось вывернуться, а дальше всё было просто.

— Отводи!.. Стоп машина!.. Одерживай!.. Малый назад!.. Открыть огонь!

Грянула носовая пушка, весь мостик заходил под ногами, и голос комиссара неожиданно сказал:

— Прошу!

Ярошенко протягивал пакетик и сложенную газету. Как он догадался?

— Полукрупка. Первый сорт.

Отказываться, конечно, не приходилось. Во-первых, махорка была полезнее папирос, а во-вторых, не следовало обижать молодчину комиссара.

— Спасибо, — ответил Бахметьев. Тоже стал скручивать козью ножку, но она у него не ладилась, и от этого он чувствовал себя неловко. Хорошо еще, что комиссар на него не смотрел.

Снова выстрелила носовая. Бой продолжался, корабль более или менее прилично держал свое место, и всё было в порядке. Даже козья ножка, после всех затруднений, склеилась вполне удачно, и горячий махорочный дым доставлял неизъяснимое наслаждение.

В конце концов жить можно было и здесь, а в дальнейшем жизнь обещала стать еще лучше.

По сведениям штаба флотилии, у противника почти никаких речных сил не было. В штабе, конечно, сидели сплошные шляпы во главе с командующим, бывшим ка-

питаном второго ранга, небезызвестной мокрой курицей Иваном Шадринским. Но даже эти шляпы решились наступать, а в наступлении всегда бывает весело.

— Смотрите,— сказал комиссар Ярошенко и снова протянул руку к горизонту. Черный дым теперь подымался значительно правее церкви.— Почему это?

Бахметьев усмехнулся. Комиссар был из каких-то ссыльных и раньше не плавал, а потому не понимал самых простых вещей. Для его же пользы его следовало кое-чему обучить:

— Я вам расскажу забавную историю. Во время войны у нас не хватало морских офицеров, и на всякие маленькие транспорты назначали командиров из армейцев. Один такой командир в первый раз вышел в море и, когда его транспорт вечером становился на якорь, с левого борта увидел какой-то остров. А наутро, проснувшись, тот же остров увидел с правого борта. Не понял, что транспорт просто развернулся на якоре, и страшно возмутился. Решил, что корабль без его разрешения ночью перевели на другое место.

Лицо Ярошенко оставалось совершенно бесстрастным. Теперь следовало подать мораль:

— Я полагаю, что в данном случае дело объясняется так же просто. Мы малость опустились вниз, и нам кажется, что дым сместился вправо.

И сразу же почти вплотную под носом поднялся огромный водяной столб. Разрывом встряхнуло весь корабль, и осколки снаряда, скрежеща, пронеслись над головой.

— Что теперь нам кажется? — спокойно спросил Ярошенко, но Бахметьев не ответил. На его бушлате и брюках тлели искры рассыпавшейся махорки, и он старательно отряхивался. Когда он выпрямился, лицо его было совершенно красным.

— Товарищ командир! — закричал сигнальщик Пушкин. — Второй дым!

Действительно, левее первой колонны дыма поднималась вторая — поменьше. Неужели у противника все-таки оказались боевые суда, да еще с такой здоровой артиллерией?

— Я ошибся, — твердо сказал Бахметьев и в упор взглянул на комиссара. — Это корабли. Сильно вооруженные корабли.

— Бывает, — с тем же равнодушным лицом ответил Ярошенко. — А что дальше?

Но Бахметьев уже перегнулся через поручень.

— Артиллерист! — закричал он. — Наводка по правому дыму, прицел пятьдесят... Залп!

От выстрела мостик снова заходил ходуном, а наверху загудел ответный снаряд. Второй всплеск поднялся далеко за кормой.

— Пристреливается, — сказал Бахметьев.

Теперь всё изменилось. Теперь, конечно, ощущалась сухость во рту, и пришлось крепко сжать кулаки, но сильнее всего было чувство ответственности за корабль. Что-то нужно было предпринять, но что именно?

Стрелявшие из-под правого берега «Уборевич» и «Робеспьер» начали разворачиваться. Вероятно, они собирались уйти вверх. Может, тоже отступить? А может, сперва выяснить, в чем дело?

Третий снаряд снова лег перелетом, но уже более близким. Во всяком случае, следовало срочно менять место.

— Комиссар, спустимся малость вниз. Может, из-за косы его увидим и пощупаем.

— Дело, — согласился Ярошенко.

— Стоп машина!.. Полный вперед!.. — И резким громом ударила носовая пушка.

Медленно плыли навстречу затопленные разливом прибрежные кусты, ветер бил в лицо мелкой дождевой пылью, гулко шлепали по воде широкие колеса, и каждый их удар отдавался в сердце. Теперь, конечно, никакого равнодушия не оставалось, теперь было полное напряжение всех сил.

— Дурак! — неожиданно для себя сказал Бахметьев, но на вопросительный взгляд Ярошенко не ответил.

Отвечать ему было неудобно, потому что дураком он обозвал самого командующего Ивана Шадринского. Более бестолковую подготовку операции трудно было себе представить. Канонерские лодки даже не получили указаний на случай встречи с кораблями противника.

— Товарищ командир, сигнал на «Уборевиче»!

На канонерской лодке «Уборевич» находился начальник дивизиона Малиничев — такая же шляпа, как Иван.

— Какой сигнал?

Сигнальщик Пушков провел пальцем по столбцам сигнального свода, выпрямился и бросился к борту. Опершись о поручень, долго в бинокль рассматривал закопченные флаги на мачте «Уборевича». Потом повернулся лицом к командиру и развел руками:

— Рыбий клей. Так по книге выходит.

— Благодарю,— ответил Бахметьев.— Поднять «Ясно вижу» до половины.

По такому ответу на «Уборевиче» должны были догадаться, что флаги перевернуты, и вместо них поднять что-нибудь более вразумительное. Однако, спустив свой сигнал, начальник дивизиона нового не поднял.

— Рыбий клей! — пробормотал Бахметьев. — Очень интересно! — И передернул плечами.

Значит, решение нужно было принимать самостоятельно. Снаряды противника все время ложились дальними перелетами. Очевидно, никто его огня не корректировал. Смело можно было идти вперед.

Лес на берегу уже кончился. У самой воды стояла низкая избушка, и перед ней сушились рыбацьи сети. Неужели даже в такие времена люди ловили рыбу?

Дальше шла совершенно пустая песчаная коса, а за ней постепенно открывался широкий плес с островом посредине.

— Сейчас увидим.— И Бахметьев поднял бинокль. Только взглянул — и сразу же отпрянул: — Право на борт!.. Два монитора. Вы не знаете, что такое мониторы, так я вам объясню. Это настоящие боевые корабли с броней и тяжелой артиллерией.

— Откуда? — удивился Ярошенко.

— Из Англии, конечно. А наш штаб даже не подозревал. Артиллерист! Четыре меньше! Управляйте огнем, пожалуйста!

Поворот уже был закончен, и залп обеих пушек слился с резким звуком разрыва. Саженьях в тридцати от борта вода взлетела высоким стеклянным столбом и вторым чуть подальше.

— Теперь пойдем домой.— Бахметьев рукой отер лицо, а потом руку вытер о бушлат.— А дома поговорим с начальством.

Пол стучал дробным стуком колес, скрипели деревянные стенки вагона, и было совсем темно. Только красный отсвет от печки ложился на высокие сапоги военного моряка Семена Плетнева.

— Паровозы здесь ходят на дровах,— сказал глухой голос в дальнем углу.

— Конечно,— согласился кто-то из сидевших на нижних парах, и снова наступила тишина. Только откуда-то сверху доносился раскатистый храп, и ему вторил гудевший в печке огонь.

— Паровозы ходят на дровах,— повторил первый голос.— И мы тоже топим печку дровами.— Подумал и добавил:— Однако наш вагон идет последним, так что беды здесь нет.

Этот голос принадлежал, по-видимому, артиллерийскому содержателю Машицкому, высокому и степенному моряку из старых сверхсрочников.

Нужно было бы узнать, почему его беспокоили дрова, но спрашивать Плетневу не хотелось. Голова его гудела, как раскаленная печь, и во всем теле разлилась непобедимая слабость.

— Паровозы...— еще раз пробормотал Машицкий.

— Ну, ходят на дровах,— перебил его чей-то молодой голос.— Уже знаем. А какая от этого беда?

— Искры.

Где-то вплотную к вагону прошумели невидимые деревья. Поезд пошел под уклон и начал набирать скорость. Искры золотой струей летели в черном прямоугольнике окна.

— Одного бездымного пороха в картузах мы везем сорок шесть тонн,— сказал Машицкий.

Конечно, от искры мог загореться какой-нибудь вагон с порохом, а ветром раздуло бы пожар в два счета. Впрочем, об этом нужно было думать раньше. Теперь до очередной остановки делать все равно было нечего. Усилием воли Плетнев заставил себя встать:

— Будем жарить блины. Мука у меня есть.

Он поступил мудро. Никогда не существовало блюда привлекательнее блинов тысяча девятьсот девятнадцатого года. Их жарили на чем угодно: на черном сурепном масле, на техническом бараньем жиру и даже на касторке, но они неизменно получались горячими

и поразительно вкусными и поедались с истинным увлечением. Они весело шипели на сковородке и своим шипением отодвигали на задний план все прочие события, в том числе и самые тревожные.

Гулко прогремел железный мост, и вагон закачался на повороте. Плетнев голой рукой схватил сковородку, но ожога почти не почувствовал. Только стало еще темнее в глазах и пришлось снова сесть на деревянный чурбан.

— Товарищ командующий!

— Да, — не сразу отозвался Плетнев. Он всё еще не мог привыкнуть к тому, чтобы его так называли.

— Готовы блины. Получайте из первой партии.

Теперь он совсем плохо видел. Даже красный огонь в печной дверце казался ему бледным и расплывчатым пятном. Было нестерпимо жарко, и он вовсе не хотел есть, но должен был, раз сам предложил жарить блины.

— Спасибо.

— Пусти! — прокричал наверху чей-то задыхающийся голос. — Пусти, гадюка!

Верхние нары затрещали, чье-то тяжелое тело метнулось в сторону и гулко ударилось головой о стену.

— Что такое? — с трудом выговорил Плетнев, но сверху никто не ответил. Только сквозь стук колес слышно было тяжелое дыхание.

— Кто там кричал?

— Эго я, — наконец отозвался голос с верхних нар, — минер Точилин. Это мне приснилось.

— Что ж тебе приснилось? — спросил какой-то молодой моряк, и другой, такой же молодой, ответил:

— Не иначе как жена.

Весь вагон дружно захохотал, но внезапно красное пятно поплыло в глазах, и хохот стал звучать всё глуше и глуше. Потом наступила полная тишина, и, раскинув руки, Плетнев упал навзничь.

Большая серая река медленно катила свои воды на север, а на севере были враги, и беспомощный корабль прямо к ним несло течением. Он был командующим флотилией, но остановить этот корабль не мог — у него не было голоса.

И искры летели гудящей струей, и уже загорались надстройки, и вот-вот должен был рвануть весь порох,

но команда об этом не подозревала и ела блины из его муки.

Огонь подходил всё ближе и ближе. Нечем было дышать, а он не мог сдвинуться с места. Он лежал на дощатой палубе, и доски под ним стучали частым стуком колес по стыкам рельсов.

Кто-то поддерживал его голову и вливал ему в рот непонятное, страшное горячее пойло.

— Пей! — советовал минер Точилин. — Это чистый спирт пополам с чаем. От простуды.

С Федором Точилиным он когда-то учился в Электроминной школе. Они были погодками — одного призыва, а теперь его назначили командовать флотилией, а Точилина прислали к нему простым старшиной-минером. Странно получилось.

— Ну пей же! — настаивал Точилин.

Но пить чертову смесь никак не хотелось. К тому же дышать стало легче, и всё тело покрылось обильной испариной.

— Не надо, Федя, — сказал Плетнев. — Уже прошло.

— Все равно выпей. Это же лекарство.

— Нет. — И Плетнев, откинув шинель, приподнялся на локте. Прямоугольники окон уже были серыми, и вся команда эшелона спала. Неужели он так долго пролежал без сознания?

— Который теперь час?

— Пей, тебе говорят! — рассердился Точилин. — Часов у нас нет.

— Не буду пить, — решительно сказал Плетнев и спустил ноги с нар. — Не буду. Отстань от меня. — Попытался спрыгнуть вниз, но в последнюю секунду понял, что не устоит на ногах, и схватился за крюк, торчавший в стене. И уже совсем неуверенным голосом пробормотал: — Станция какая-нибудь... Скоро ли станция будет? Надо вагоны водой полить, чтобы не загорелись... Обязательно надо...

— Обязательно? — Точилин сам отпил глоток своего лекарства, вытер рот рукавом и улыбнулся: — Дурья голова, ты посмотри, что делается!

Действительно, поливать вагоны не стоило. По железной крыше барабанили крупные капли дождя, и водяная пыль летела в открытое окно. Теперь всё обстояло превосходно. Можно было не беспокоиться.

— Ну, тогда иди спать.

Но внезапно весь вагон рвануло назад, крюк выскользнул из руки, пол, перевернувшись, стремительно полетел навстречу, и прямо по лбу пришелся оглушительный удар.

Очнулся Плетнев не сразу. В густом дыму метались люди, и печь, оторванная от трубы, лежала на боку.

— Сволочи! — неожиданно высоким голосом кричал толстяк Машицкий. — Сволочи!

— Тихо! — во весь голос крикнул Плетнев и, шатаясь, встал на ноги. Нужно было подать какую-нибудь знакомую команду, и вдруг вспомнил: — Стоять по местам!

И, хотя никакого боевого расписания и никаких собственных мест у моряков эшелона не существовало, в вагоне сразу наступила тишина.

— Открыть обе двери!

Одну из дверей заело, но другая, скрежеща железным роликом, медленно покатила в сторону.

— Печь! — скомандовал Плетнев. — За борт ее!

Печь с громом прокатилась по вагону, на мгновение задержалась у порога и тяжело спрыгнула вниз. Теперь следовало подумать о дальнейшем.

— Разобрать оружие! Точилин, расставь охрану по обе стороны состава!

— Есть такое дело! — откликнулся Точилин. — А ну живее!

Снова нахлынула волна слабости, но Плетнев ее поборол:

— Два человека за мной!

Конечно, он не смог бы самостоятельно спуститься на насыпь, но с обеих сторон его подхватили под локти и вовремя поддерживали.

Дождь висел в воздухе сплошной пеленой, и от земли поднимался белый туман. Поезд стоял на закруглении, и вагоны сплошной кирпично-красной дугой уходили во мглу.

— Отпустите меня, — сказал Плетнев. — Что я вам, арестованный, что ли?

Ноги вязли в мокром песке, дождь хлестал по лицу, и состав казался бесконечным. Когда один из моряков снова взял Плетнева под руку, он не протестовал.

Впереди у самого полотна постепенно обрисовалась черная роща. Чуть подалее ее, окутанный паром, сто-

ял паровоз, а перед ним громоздилась непонятная куча обломков.

Плетнев рванулся вперед и побежал. Начальник эшелона Шалимов, схватив за грудь машиниста, тряс его изо всей силы. Нужно было спешить.

— Стой! — Но кашлем перехватило горло, и больше Плетнев ничего сказать не мог.

Шалимов отпустил машиниста, махнул рукой и неожиданно сел наземь. У него было совершенно черное от угля лицо и в кровь рассеченная губа.

— Напоролись! Прямо вlepили в товарный вагон. А откуда он взялся — неизвестно!

— Я ж говорю, оторвался от какого-нибудь состава, — спокойно объяснил машинист, — За деревьями мы его не видели и тормоз не успели дать. — Наклонился над Шалимовым и помог ему встать. — Ты, товарищ, не горюй. Повреждений у нас нет. Уберем его с пути и поедем дальше.

— Правильно, — согласился Плетнев. — Собирай команду, начальник. Пусть возьмут ломы и топоры.

Колеса вагона соскочили с рельсов, и задняя стенка разлетелась в щепы. Во всю ширину насыпи расползлась какая-то белая, похожая на снежную, куча.

— Соль, — вдруг догадался Плетнев.

Несколько сот пудов соли валялось на железнодорожном полотне и таяло под дождем. Это никуда не годилось.

— Шалимов, обожди!

Соль непременно нужно было спасти, потому что здесь, на Севере, ее не хватало. То есть даже вовсе не было. Но как ее спасти? Куда погрузить, если все вагоны набиты до отказа?

— Вот что. Переведешь команду из головного вагона ко мне в концевой. Потеснимся. Надо соль подобрать. Понятно?

3

Мичман барон Штейнгель сидел в глубоком кресле. Жизнь его протекала неплохо, очень даже неплохо. Всего лишь два года тому назад он окончил корпус и уже был представлен к производству в лейтенанты.

И, кроме того, отлично пообедал, а на скатерти кают-компанейского стола, совсем как на многокрасочной

рекламе какого-нибудь английского журнала, стоял граненый графин с густым портвейном, полная до краев рюмка и открытая коробка сигар.

— Боже, храни короля! — прокричал висевший в клетке попугай и неожиданно добавил: — Устрицы! Огурцы! Пррохвосты!

— Замолчи, — сказал командир монитора М-25 капитан-лейтенант Майкл Дальрой, но попугай презрительно рассмеялся.

Тогда Дальрой, не оборачиваясь, открыл крышку стоявшего рядом с диваном граммофона, пустил пластинку, и сразу в кают-компанин зазвенели тоскливые шотландские волынки.

— Теперь он оставит нас в покое. Этого он не любит.

Улыбнувшись, Штейнгель осторожно поднес рюмку к губам. Лейтенант Дальрой ему определенно нравился. Он был находчивым мужчиной.

И портвейн был отменный, и вообще следовало признать, что ему, мичману барону Штейнгелю, в службе везло. Благодаря своему знанию английского языка он был назначен для связи на речную флотилию и теперь, вместо того чтобы ползать по грязи в каком-нибудь поганом сухопутном отряде, плавал на благоустроенном корабле, превосходно питался и совершенствовал свое произношение.

— Здорово удирали эти большевики, — сказал он в порядке практики.

— Пароходик? — спросил Дальрой.

— Старая ванна, — ответил Штейнгель, щеголяя знанием разговорных выражений. Обеими руками разгладил свой и без того безукоризненный светлый пробор, оправил галстук и окончательно почувствовал себя офицером флота его величества.

Дальрой опустил газеты и поднял глаза:

— А что сделали бы вы, будь вы командиром этой самой старой ванны?

От неожиданности Штейнгель прикусил губу. Такой вопрос был явной резкостью и требовал достойного ответа.

— Я не мог быть ее командиром, капитан-лейтенант, сэр! — выпрямившись, сказал он. — Ни один честный русский офицер не станет служить предателям своей родины. Этой пародией на военный корабль командует

какой-нибудь простой матрос. Самый обыкновенный трусливый убийца.

— Возможно,—согласился Дальрой.—Всё же у него хватило храбрости выйти из-за косы нам навстречу.

Нет, разговор принимал определенно нежелательное направление. Его немедленно следовало повернуть в другую сторону. Ссориться с англичанами не имело никакого смысла.

— Все равно, Дальрой. Спротивляться они не смогут. У нас организованность, дисциплина и семи с половиной дюймовая артиллерия. А что у них? Через месяц мы с вами очистим всю эту реку, а к зиме так или иначе попадем в Петроград. Шикарный город. Мы там превосходно проведем время.

Дальрой пожал плечами:

— К зиме я надеюсь быть в Дублине. Судя по газетам, там тоже будет весело.

Что это могло означать? Конечно, Дальрой был ирландцем, но неужели он мог оказаться революционером?

— Боже, храни короля! — испуганно закричал попугай и захлопал крыльями, и в ответ ему Дальрой снова запустил граммофон.

Это дело следовало со всей осторожностью выяснить и, в случае чего, доложить по начальству. А пока что думать под аккомпанемент шотландских волюнок было невозможно, и, надев фуражку и плащ, Штейнгель поднялся по трапу на верхнюю палубу.

— Хелло! — приветствовал его стоявший у поручней судовой артиллерист, младший лейтенант Кларк.— Взгляните, какая красота.— И зажатой в кулаке трубкой обвел горизонт.

Огромное солнце низко висело над зубчатой полозой леса, багровые, фиолетовые, огненные отблески плыли по стеклянной реке, и резкими черными силуэтами стояли боевые корабли флотилии.

— Очень красиво,—любезно согласился Штейнгель, хотя ему самому никогда не пришло бы в голову любоваться закатом.— Очень красиво, только, пожалуй, слишком много красного цвета.

— Это неопасно.— Кларк наклонился к Штейнгелю и кулаком толкнул его в плечо.— Слушайте, я в бинокль рассматривал деревню и обнаружил несколько весьма привлекательных молодых леди.

— Это уже опасно.— И Штейнгель в свою очередь подтолкнул Кларка.

— Моряки не боятся,— торжественно изрек Кларк.— Вот только не знаю, когда наш шкипер соблаговолит уволить нас на берег. Кстати, что он сейчас поделывает?

— Воюет с попугаем. Глушит его граммофоном, когда тот кричит «Боже, храни короля».

— Естественно.— И Кларк кивнул головой.— Наш Майк — отъявленный ирландец. Совсем зеленый, а это вроде ваших красных. И вдобавок редкостный чудак: собирает жуков, в свободное время изучает медицину и имеет семь зубных щеток — по одной на каждый день недели. Но, кроме щеток, у него еще есть крест Виктории. Он одним из первых ворвался в Зеэбрюгге.

Кларк о стойку поручня выколотил свою трубку, спрятал ее в карман и, подумав, добавил:

— А вообще он самый чудесный человек на свете.

Штейнгель вежливо кашлянул. Он просто не мог придумать никакого другого ответа. Офицер британского флота считал своего командира революционером и вместе с тем лучшим человеком на свете. Это было совершенно невероятно.

Разрезая огненную воду, по самой середине реки прошел большой моторный катер. Какая-то птица, по-свистывая, пролетела над головами, и звонко пробил склянки на соседнем мониторе М-23.

— Хорошо бы сейчас оказаться дома,— неожиданно сказал Кларк.— Я четыре года болтаюсь по всяким морям и, верьте мне, больше не жажду славы.

Штейнгель невольно съежился. Ему почему-то стало холодно.

— Завтра опять будет дождь,— сказал он, чтобы скрыть охватившее его чувство.

Из машинного люка вылезли два человека в промасленных коричневых комбинезонах. Оба на мгновение остановились, равнодушно взглянули на закат и, точно по команде повернувшись, прошли в нос. Наверное, им тоже хотелось вернуться домой.

Но, поймав себя на такой мысли, Штейнгель усмехнулся. Машинисты М-25 могли хотеть чего угодно, — дело от этого не менялось. К счастью, хозяином положения было британское правительство, а оно никогда не стало бы мириться с большевиками,

— И все-таки мы будем воевать,— сказал Штейнгель.— Другого выхода нет. А домой вернемся свое временно. Когда кончим наше дело.

— Возможно,— с новой неприязнью в голосе ответил Кларк и ушел вниз в кают-компанию.

Идти за ним не стоило, а наверху делать было решительно нечего. Попросить катер и, якобы по делам службы, пройти на флагманский корабль «Бородино»? Нет, в штабе тоже не с кем было поговорить.

Хотелось ли ему, мичману барону Штейнгелю, так же как всем этим англичанам, вот сейчас оказаться у себя дома?

Не слишком. Правда, красных в Эстляндии благополучно ликвидировали, но вопрос об имении под Дерптом всё еще оставался открытым. И, кроме того, он вовсе не желал становиться гражданином какой-то картофельной республики. Он мог вернуться только в столицу России — Петроград.

А потому ему приходилось пока что разгуливать по верхней палубе и, чтобы не было слишком скучно, воображать, что он стоит на вахте.

4

Вместо сходни с берега на борт канонерской лодки «Командарм» были положены две длинные доски. Они прогибались под ногами, и с них запросто можно было свалиться в воду.

Вахтенный пропал неизвестно куда, а шлюпку, привязанную к колесному кожуху, било о борт и уже наполовину залило водой.

Всё это безобразие становилось нестерпимым, и его следовало немедленно прекратить.

— Вахтенный! — крикнул Бахметьев, с трудом взобравшись на борт своего корабля, но никто ему не ответил.— Вахтенный! — крикнул он еще громче, и из внезапно раскрывшейся двери камбуза выскочил рулевой Слепень.— Кто на вахте? — спросил Бахметьев, потому что Слепень в дополнение к своим прямым обязанностям был строевым старшиной и вел наряды.

— На вахте, товарищ командир? — переспросил он, чтобы дать себе время вспомнить.

— Где же еще, черт! — Бахметьев был до крайности раздражен всем, что случилось с ним в штабе флоти-

лии, и, кроме того, был определенно голоден, а хлеба у него в каюте не оставалось.

— На вахте...— еще раз повторил Слепень и неожиданно сознался:— Ей-ей, не помню. Такой молодой, из водников. Белобрысый.

— Превосходно,— ответил Бахметьев.— Вашему белобрысому за то, что его не оказалось на месте, — десять суток без берега. А вам пять, чтобы в другой раз лучше помнили.

— Есть пять! — Слепень никак не ожидал подобных строгостей, а потому даже растерялся.— Есть десять!

— А пока что позаботьтесь, чтобы у вас не утонула шлюпка, и сейчас же сделайте из этих досок приличную сходню. Исполнение я проверю.— И, не дожидаясь ответа, Бахметьев быстрыми шагами пошел к двери, помещавшейся в надстройке командирской каюты.— Сплошная пакость,— пробормотал он, но, обогнув высокую поленницу дров, чуть не наткнулся на комиссара Ярошенку и резко остановился.

— Замечательный вечер,— негромко сказал Ярошенко.— Тишина и такое небо. Взгляните вон на ту тучу. Она будто рыба с красными плавниками.

И голос, и слова Ярошенки были настолько неожиданными, что Бахметьев раскрыл рот, но выговорить ничего не смог.

Медное солнце садилось за лесом противоположного берега, и закат огромным пожаром стоял над рекой. Одна из туч действительно была похожей на чудовищную рыбу, но неужели комиссар Ярошенко мог любоваться красотами природы?

— Завтра будет ветер,— сказал наконец Бахметьев, потому что что-нибудь сказать нужно было.— Это гораздо лучше, чем дождь.

Ярошенко улыбнулся:

— Ну конечно, лучше. Значит, нам с вами унывать ни к чему? Верно?

На стоявшем за кормой «Робеспьер» пробили склянки, и резко просвистела дудка вахтенного. Кем мог быть раньше этот комиссар Ярошенко? Все равно, кем бы он ни был, разговаривать с ним следовало осторожно. Но внезапно Бахметьев почувствовал, что соблюдать осторожность в разговорах и заниматься всяческой дипломатией он больше не может. Никак не может.

— Чепуха всё это, — решительно сказал он. — Собачья чепуха. Смотреть противно.

Ярошенко промолчал. Казалось, что он даже не слышал, но останавливаться уже было поздно:

— Вы поймите, так воевать нельзя. Нет никакой физической возможности. Все равно ничего не выйдет. Это же не флотилия, а плавучая богадельня. Колесные калоши с расстрелянными пушками, совершенно необученные команды и какое-то фантастическое командование. Один комфлот Шадринский чего стоит! Бойтся всего на свете, вплоть до своих писарей. А наш начальник дивизиона Малиничев? Дурак и уши холодные! Только что в штабе врал, будто поднял совершенно правильный сигнал «Отходить к базе», и возмущался нашим поведением.

— Малиничев, говорят, обладает немалым опытом, — с еле заметной усмешкой возразил Ярошенко. — Кажется, он — бывший лейтенант.

— Бывший лейтенант! Разве можно теперь судить о командире по его прежнему чину? — И вдруг Бахметьев сообразил, что говорит что-то неладное. Что-то идущее вразрез со всеми его представлениями о службе. Какую-то неожиданную ересь. Как это вышло?

— Если не ошибаюсь, он был старшим офицером на одном из новых миноносцев, — продолжал Ярошенко. — Вряд ли ему дали бы такое назначение, если бы он никуда не годился.

Верно. Лейтенант Малиничев был старшим офицером на «Капитане Кроуне» и пользовался хорошей репутацией. Почему же он здесь не мог справиться с тремя несчастными вооруженными буксирами и только путал? И внезапно Бахметьеву пришла в голову совершенно новая мысль:

— Знаете что, все эти бывшие раньше могли неплохо командовать, а теперь никак не могут. И вот почему: они боятся отдавать приказанья. Им всё кажется, что их сейчас за борт бросать начнут. Их ушибло еще в семнадцатом году, и они до сих пор не могут прийти в себя.

Ярошенко молча кивнул головой. Его юный командир сейчас был бесспорно искренним, только многого еще не понимал и в отношении Малиничева, к сожалению, ошибался. Малиничев был тонкой бестией.

— Отчасти вы правы, — наконец сказал он. — Одна-

ко расстраиваться по этому поводу не сто́ит. Кое-кто привыкнет, а кое-кого снимут.— Подумал и снова улыбнулся.— Хорошо, что вы стараетесь навести порядок, только не нужно нервничать.

Бахметьев пожал плечами:

— Стараюсь по привычке, но из этого все равно ничего не получится. Слушайте. Сегодня там было два монитора, а завтра будет хоть двадцать. У них в тылу весь английский флот со всей его чудовищной силой, а что у нас?

Ярошенко отвернулся. Солнце уже село за лесом, и река постепенно начинала тускнеть. Положение, конечно, было тяжелым. Может быть, еще более тяжелым, чем оно казалось юному товарищу Бахметьеву. Но все-таки в конечном итоге революция должна была победить, как она побеждала везде.

— Я знаю, что воюют не пушки, а люди,— медленно заговорил он.— И наши люди ничем не хуже их. Пожалуй, даже лучше. Они дерутся за свое дело, за свою власть.— Всем телом наклонился вперед и взглянул на горящее небо, точно в нем искал ответа.— И еще я знаю, что у них в тылу, кроме английского флота, есть английский пролетариат. Мы победим, товарищ командир. Можете не сомневаться.

— А!— И Бахметьев махнул рукой.— Политика. Я лучше пойду спать.

Рассуждения о международной солидарности трудящихся казались ему просто ребячеством. Рассчитывать на то, что английские комендоры из классовых соображений начнут стрелять мимо цели, никак не приходилось. Военная мысль могла считаться только с фактами, а фактами были мониторы.

— Спокойной ночи,— не оборачиваясь, сказал Ярошенко.

5

Борис Лобачевский прибыл на флотилию на должность флагманского минера и своим назначением был очень доволен, потому что ни мин, ни торпед на флотилии не имелось.

В большом брезентовом чемодане, вместе с тремя парами белья, двумя белыми кителями, некоторым количеством муки, сахару и табаку и прочим совершенно

необходимым имуществом, он привез занимательную игру по названию «скачки».

— Особо большого умственного напряжения не требует, и в этом ее несомненное достоинство,— заявил он, раскладывая на столе зеленый картон с желтым овалом скаковой дорожки.— Как вы, вероятно, догадываетесь, свинцовые лошадки передвигаются не самостоятельно, а при помощи играющих.

В кают-компани канонерской лодки «Уборевич» было полутемно. Фитиль керосиновой лампы, чтобы она не коптила, пришлось изрядно прикрутить.

— Интересно, налетят они завтра или нет,— нечаянно сказал начальник дивизиона Олег Михайлович Малиничев и, чтобы показать, что он не боится, слегка прищурил свои светлые глаза.

Он был изрядно потрясен тем, что случилось за ужином. Неприятельские самолеты налетели раньше, чем он успел добежать до мостика. Одна из бомб разорвалась у самого борта, а другая вдребезги разнесла стоявшую на берегу баню. Он приказал вытопить ее для команды и как раз собирался первым идти париться. И пошел бы, если бы не запоздал ужин.

Он улыбнулся и покачал головой. Ему определенно повезло.

— Бесспорно, — согласился Лобачевский, — чрезвычайно интересно, но всё же несущественно. Давайте займемся более важным делом, — и обстоятельно стал разъяснять значение барьеров, применение хлыстов и прочие нехитрые правила игры.

— Жрать охота, — ни с того ни с сего вспомнил начальник распорядительной части штаба тучный и полусонный Бабушкин.

— Это тоже правильно, — подтвердил Лобачевский. — Поэтому за отсутствием хлеба я рекомендую заняться увлекательным зрелищем в подлинно древнеримском вкусе. А чтобы еще добавить вкуса этому зрелищу, предлагаю каждому из играющих внести в кассу по десятке. Первый окончивший получает три четверти, второй — четверть. Возражений нет? Принято единогласно. Джентльмены, выбирайте лошадок.

— Ладно, — сказал Бахметьев. — Давай мне ту, серую в яблоках. — Он был очень утомлен, и ему хотелось хоть как-нибудь отвлечься от надоевших мыслей.

— Деньги в кассу! — провозгласил Лобачевский.

— Это как раз цена фунта картошки, — вздохнул Бабушкин. — Только ее все равно не достать. Я согласен.

— Рискнем, — согласился Олег Михайлович Малиничев. Достал из внутреннего кармана тужурки стянутый резинкой бумажник и на середину стола выложил две новеньких советских пятирублевки, а рядом с собой — измятый царский рубль.

— Неужели брутовский? — спросил Лобачевский.

— Самый настоящий, — любовно разглаживая грязно-желтую бумажку, ответил Малиничев. — Подписи обоих жуликов: Брут и Плеске; и заметьте: номер как на тройном одеколоне — два нуля четыре тысячи семьсот одиннадцать. Я за него перед войной двадцать пять целковых дал.

Кассир государственного банка Брут, попавшись на каком-то мошенничестве, повесился, и судьба управляющего Плеске тоже была печальной. Естественно, что подписанные ими рубли пользовались репутацией талисманов и высоко ценились среди карточных игроков.

— Дороговато, — сказал Бабушкин. — В те времена за четвертную можно было лихо пообедать в каком-нибудь хорошем ресторане. Двоим с вином и до отвала.

Малиничев рассмеялся:

— Вы неисправимый материалист. — Схватил кости и встряхнул их в кулаке. — Смотрите! — и, бросив, выкинул две шестерки.

Теперь он был окончательно уверен в своем счастье, и в глазах его светилось торжество. Конечно, только этот самый рубль сегодня спас его от гибели в бане, и, конечно, он вывезет его и в дальнейшем.

— Видали? — Но, внезапно насторожившись, быстрым движением спрятал деньги под газеты с обедками воблы. Он услышал шаги на трапе.

Дверь раскрылась, и в кают-компанию вошел комиссар Ярошенко. Его правая рука была забинтована и висела на перевязи. Осколком бомбы ему раздробило два пальца. Он подошел к столу и остановился вплотную перед Бахметьевым.

— Товарищ командир, — сказал он, — сейчас пришло распоряжение начальника дивизиона списать обоих наших рулевых — Слепня и Шитикова. — Голос его звучал тускло и без всякого выражения. Казалось, что он сам не слышал своих слов.

— Как так? — удивился Бахметьев и повернулся к Малиничеву: — Верно?

— По приказанию командующего, — равнодушно ответил Малиничев, но не добавил, что приказание это в значительной степени было подсказано им самим.

— Обоих рулевых? — всё еще не верил Бахметьев. — Что же я без них делать буду?

Малиничев развел руками:

— Разве командующего переспоришь?

Он предпочел не рассказывать о том, как дело обстояло в действительности. Штабу для назначения на катера нужны были два любых рулевых, но он обоих взял с «Командарма» просто потому, что «Робеспьер» ушел вверх по реке для ремонта, а со своего «Уборевича» он людей отдавать не хотел. Кроме того, тут имелась возможность поддеть нахального мальчишку Бахметьева.

— Впрочем, всё это пустяки, — сказал он и зевнул, осторожно прикрыв рот рукой. — Найдете у себя каких-нибудь водников, которые умеют стоять на руле, и как-нибудь там управитесь.

Бахметьев потемнел, но, сделав над собой усилие, сдержался:

— Разрешите завтра лично договориться в штабе?

— Как вам будет угодно, — холодно ответил Малиничев. — Я доложу, что вы отказались выполнить мое приказание.

— Есть! — И Бахметьев откинулся на спинку дивана. Получалось черт знает что. Свое начальство было хуже неприятеля, и в конце концов не хватало силы бороться.

— Я тоже доложу, — тем же бесцветным голосом сказал Ярошенко. Опустив глаза, впервые увидел разложенную на столе игру и не понял: — Это зачем?

— Для того, чтобы приятно провести вечер, — серьезно ответил Лобачевский. — Это увлекательная детская игра. Может, хотите присоединиться?

— Нет, благодарю. — Ярошенко повернулся и, не прощаясь, вышел из кают-компания.

Больше всего на свете Бахметьеву хотелось встать и пойти за ним, но он заставил себя остаться. Взял кости и, бросив их, выкинул три очка. Меньше трудно было, однако все равно нужно было играть.

Командующий флотилией, бывший капитан второго ранга Шадринский был рассеян и молчалив. Глядел на волновавшегося Бахметьева и не мог понять, почему тот волнуется. Лично ему всё на свете было безразлично, особенно после письма из Штаба морских сил республики.

Он налил стакан воды и молча пододвинул его Бахметьеву. Это был намек, которого тот не понял. Пришлось говорить прямо:

— Потрудитесь успокоиться. Вся эта история выеденного яйца не стоит.— Пожевал губами, побарабанил пальцами по столу и добавил:— Ну спишите одного рулевого хотя бы.

— Есть,— обрадовался Бахметьев, но не встал. Почему не встал? Что ему еще нужно было?— Разрешите, Иван Николаевич, с вами откровенно поговорить.

Шадринский промолчал. Он не хотел ни откровенно разговаривать, ни как-либо иначе. Всякие разговоры ему смертельно надоели.

Бахметьев наклонился вперед:

— Получается прямо-таки опасное положение. Команда и комиссар...— Но командующий неподвижным взглядом смотрел куда-то в сторону, и это мешало думать.— Вы меня простите, Иван Николаевич, но начальник дивизиона Малиничев...

— Довольно.— И Шадринский ладонью шлепнул по столу. Только что приходил Малиничев жаловаться на Бахметьева, а теперь Бахметьев— жаловаться на Малиничева. Всякая бестолочь и дразги! Как будто у него не хватает своих забот!— Я не желаю слушать ваших рассуждений о начальстве. Будьте любезны оставить меня в покое. Сейчас я очень занят. До свидания!

Бахметьев встал. Больше ему здесь делать было нечего.

— До свидания, товарищ командующий,— сказал он. У двери, не удержавшись, обернулся и увидел, что Шадринский уже вытащил из ящика письменного стола французский роман в ярко-желтой обложке. Бахметьев вышел в коридор, бесшумно закрыл за собой дверь и остановился, чтобы подумать.

Коридор был необычайно грязным. Убирать его, очевидно, считалось излишним. В одной из ближних кают

медленно постукивала пишущая машинка, на которой какой-то писарь печатал одним пальцем, а чуть подальше кто-то так же лениво играл на балалайке.

Штаб был под стать своему командующему, а командующий Иван Шадринский просто сошел с ума. Неужели он мог не понимать, чем всё это должно кончиться?

— Здорово, капитан! — Рядом с ним, засунув руки в карманы, стоял улыбающийся Борис Лобачевский. — О чем мечтаешь?

— Здравствуй, — неохотно ответил Бахметьев, но Лобачевский сразу подхватил его под руку.

— Идем. Я провернул совершенно гениальную комбинацию. Множество удовольствия и немало пользы. Тебе выдадут по меньшей мере полкрынки молока. Подожди, я вызову верховного жреца Бабушкина. — Распахнул одну из дверей и крикнул: — Товарищ начальник распорядительной части!

— А? — отозвался сонный голос.

— Распоряжаться вам сейчас не нужно, потому что трудовой день кончился. Идем пить молоко. Дают просто так. Даром.

— Где? — И с резвостью, которой от него никак нельзя было ожидать, Бабушкин выскочил в коридор.

— У одной моей знакомой коровы. Следуйте за мной, и узнаете. Джентльмены, идем!

Бахметьев пошел. На корабле он свои дела уже сделал и в штабе тоже. И вообще, после всего, что случилось, хорошо было послушать Бориса Лобачевского. Борис оставался таким же, каким он был в корпусе, — неисправимым и изобретательным шалопаем. Это было очень приятно. Это успокаивало.

— Как дают молоко? — спросил Бабушкин.

— В крынках, — ответил Лобачевский. — Осторожнее, тут где-то нагадила наша судовая собачка Попик. Представьте себе, уже убрали. Вот налаженность!

— Нет, почему дают? — продолжал допытываться Бабушкин.

— Сейчас всё объясню.

Они вышли на верхнюю палубу, а с палубы по сходне перебрались на пристань.

Ярко светило солнце, и в его лучах штабной пароход «Ильич» выглядел почти нарядно. Команда кучками стояла у поручней и внимательно следила за судо-

вой собачкой Попиком, с диким лаем гонявшей воробьев на берегу. Это было хорошее, вполне мирное зрелище, и Бахметьев с облегчением вздохнул.

— Прежде всего прошу не удивляться,— начал Лобачевский.— Я больше не минер, а врач. Флагманский врач флотилии. Понятно?

— Нет,— признался Бабушкин. От быстрой ходьбы он уже запыхался, и лицо его стало темно-красным.— Непонятно. Молоко. Как вы могли его достать? Здесь его даже не меняют.

— Не перебивайте,— и Лобачевский поднял палец.— Итак, я не кто иной, как прибывший с флотилией знаменитый столичный специалист по таинственным болезням, а здесь есть одна девица, по имени Нюра, которая нуждается в моей медицинской помощи.

— Чепуха,— пробормотал Бабушкин, спотыкаясь о кочку.

— Совсем не чепуха,— возразил Лобачевский,— а даже наоборот. У вышеупомянутой Нюры есть мама, а у мамы есть корова. Теперь, надеюсь, понятно?

Бабушкин, задыхаясь, расхохотался:

— Здóрово! Вот здóрово!

Бахметьев тоже не смог удержать улыбки. Борис был верен себе. Выкинул очередную штуку и радовался. А его и Бабушкина потащил с собой, потому что ему нужны были зрители.

— Прошу прекратить легкомысленный смех,— строго сказал Лобачевский.— Медицина требует к себе самого серьезного отношения. Пациентке уже двадцать два года, она всё еще девица, и телосложение у нее самое округлое. Симптомы болезни: плохой сон, беспричинные головные боли, а иногда стесненное дыхание. Мой диагноз: фебрис женилис.

— Ой, уморил! — захлебывался Бабушкин, стараясь не отставать.— Совсем уморил!

— Я пропишу ей салол и валерьяновые капли, потому что больше ничего я у нашего лекарского помощника достать не мог, а это вполне безвредно. Лекарство, конечно, занесу в другой раз. Надо коровке дать время еще раз подоиться.

Лобачевский горестно покачал головой:

— Вы будете лакать молоко, а мне-то какво? Мне придется пройти за занавеску, велеть ей раздеться до

пояса и со всех сторон ее выслушать. Фу, страшно подумать! Она такая мяконькая.

Бахметьев вдруг остановился. Дальше идти он просто не мог. Это была та самая проклятая гардемаринская лихость. Женщина — предмет любовных развлечений и хвастливых разговоров. Сплошная, непроходимая гнусность. Но хуже всего было то, что прямо высказать свои мысли он не смел. Ему мешало его собственное гардемаринское воспитание.

— Я совсем забыл, — пробормотал он, не глядя Лобачевскому в глаза. — Мне нужно на корабль. Дела всяческие. Служба.

— Служба? — И Лобачевский поднял брови. Он, конечно, понял, что служба была ни при чем, и неожиданно смутился: — Ну, ничего не попишешь. — Но сразу же вскинул голову и с недоброй усмешкой добавил: — Смотри только не переслужи!

Бахметьев стоял неподвижно. На всей флотилии был один близкий ему человек — Борис Лобачевский, — и тот теперь становился чужим. Это было очень печально.

— Плохие дела, — сказал он. Нужно было хоть как-нибудь повернуть разговор в другую сторону, и он вспомнил: — Всё из-за мокрой курицы, Ивана Шадринского.

Лобачевский продолжал смотреть на него всё с той же усмешкой:

— Говоришь, из-за Ивана? Могу тебя порадовать. Его снимают, а завтра на его место приезжает новый товарищ командующий. Какой-то коммунист, из матросов. Будет замечательно хорошо, не правда ли?

Иван Шадринский был несомненной шляпой и за последнее время окончательно опустился. Но, во-первых, он все-таки был своим, а во-вторых, немало прослужил и дело знал. А что может знать простой матрос, и как выслушивать от него приказания?

Все служебные убеждения Бахметьева восставали против такой смены командования. Он не так был воспитан, чтобы служить под началом у всевозможных матросов.

Но внезапно он понял, что это снова было гардемаринское воспитание, и, подняв глаза, к собственному своему удивлению, твердо сказал:

— Будет действительно хорошо.

Утром, как раз с побудкой, снова налетела неприятельская авиация. Это был уже четвертый налет, пожалуй самый утомительный из всех. Противозаэроплан- ный сорокамиллиметровый бомбомет Вилккерса несколько раз заедал, и артиллерист Шишкин не знал, что с ним делать, а стрелковый взвод с винтовками нервничал, открывал огонь без приказа и бессмысленно расстреливал небо. Но особенно неприятно было то, что одной из бомб загло баржу с дровами и потому чуть ли не два часа пришлось возиться с тушением пожара.

Когда наконец дали чай, комиссар Ярошенко со своим хлебом и сахаром пришел в каюту Бахметьева, сел, поправил повязку на раненой правой руке и ска- зал:

— Прибыл новый командующий флотилией,

Бахметьев кивнул головой:

— Слышал.— И налил Ярошенко кружку чаю.

— Спасибо! — Ярошенко осторожно взял жестяную кружку левой здоровой рукой и положил в нее два кус- ка сахару. Он только что получил паек, а потому решил выпить чаю внакладку.

— Ночью пришел на «Робеспьер», — сказал он. — Я с ним уже виделся.

Бахметьев подул на свой чай и промолчал. Вчера он из чувства протеста заявил, что это будет к лучшему, а теперь сразу пришла проверка. Не дальше как сего- дня предстояло убедиться в том, что из этого получилось в действительности.

— Он вас знает, и, кажется, вы его тоже, — продол- жал Ярошенко.— Его фамилия Плетнев.

— Семен Плетнев?

— Он самый.

Первым чувством было удивление. Куда бы он ни попадал, Плетнев непременно оказывался там же. В Морском корпусе он был его инструктором, а на «Джигите» его подчиненным — старшиной-минером. Те- перь он стал его командующим. Как они встретятся?

И тут Бахметьев похолодел. Он вспомнил, как они расстались. Это было в Гельсингфорсе, сразу после июльских дней семнадцатого года. Конечно, страшно давно — почти два года тому назад. Но, к сожалению, недостаточно давно, чтобы об этом забыть. Он аресто-

бал большевика-агитатора Семена Плетнева и арестованного под конвоем отвел в штаб минной дивизии.

Тогда он всего лишь выполнял полученное им приказание и выполнял его против своей воли, но теперь это стало контрреволюционным деянием чистой воды. Что по этому поводу сделает командующий красной флотилией Плетнев?

Но еще хуже было то, что он слишком многим был этому Плетневу обязан. Даже своей жизнью. Тогда, после гибели «Джигита», когда Плетнев вытащил его из воды, он почти сразу же отблагодарил его арестом. И теперь снова должен был с ним встретиться.

Он с трудом допил свой чай и, когда вышел на палубу, не знал, что ему делать. Чтобы все-таки чем-нибудь заняться, полез с артиллеристом по погребам и, хотя особых беспорядков не обнаружил, изрядно вымазался.

В таком виде его застал рассыльный из штаба с приказанием немедленно явиться к командующему.

Он вымыл руки и решил переодеться, но почувствовал, что нужно кончать сразу. Кое-как почистился и пошел. Когда шел, думал о том, что на свой корабль едва ли вернется.

На «Ильиче» постучался в ту самую каюту, в которой еще накануне сидел Иван Шадринский, и услышал глухой голос:

— Войдите!

Решительно вошел, но сразу остановился, пораженный тем, что увидел.

За столом, сгорбившись, сидел широкоплечий человек в кожаной тужурке. Это, конечно, был Семен Плетнев, но почти неузнаваемый. У него на палец отросла борода, скулы резко выступили вперед и лицо стало совершенно срым с черными провалами глаз.

— Здравствуйте, товарищ Бахметьев, — медленно сказал он. — Давненько не видались.

Всего лишь несколько минут тому назад такое вступление показалось бы Бахметьеву зловещим, но сейчас он думал о другом:

— Что с вами случилось?

Плетнев встал и протянул руку. Она была сухой, но все-таки очень сильной, и Бахметьев пожал ее с радостью.

— Пустяки. Прихворнул малость, однако выжил. Садитесь, пожалуйста.

Бахметьев сел. Теперь он забыл всё, о чем только что думал. Он видел перед собой человека, с которым так много пережил, и был очень рад, что его видит. Ему становилось хорошо от одного присутствия Семена Плетнева. Хорошо и совсем спокойно.

Но внезапно он густо покраснел.

— Мне очень стыдно перед вами,— с трудом сказал он.— Тогда, в Гельсингфорсе, у меня не хватило силы отказаться.

Плетнев, не поднимая глаз, раскрыл коробку папирос и пододвинул ее к Бахметьеву:

— Смешные тут пароходы. Верно? — Подумал и добавил: — И порядка как будто маловато... Закуривайте.

Бахметьев не ответил. Ему нечего было отвечать. У него было такое ощущение, как будто он с размаху вломился в открытую дверь. Чтобы восстановить свое равновесие, он взял папиросу и размял ее пальцами.

— Завтра к вечеру должны прийти еще две канонерские лодки,— всё так же медленно продолжал Плетнев,— «Беднота» и «Карл Маркс». Значит, всего их будет пять штук.

Он определенно не хотел вспоминать о той гельсингфорсской истории, и, странное дело, Бахметьеву это было досадно. Может быть, оттого, что ему самому такого труда стоило о ней заговорить.

Нет. Чепуха. За эту забывчивость нужно было быть только благодарным. Бахметьев тряхнул головой и сказал:

— Да. Пять штук.

— Пять,— повторил Плетнев.— Конечно, некомплект команды и всякие неполадки по материальной части, но что-нибудь сделать можно. Вы примите от военмора Малиничева командование дивизионом, а потом мы с вами подумаем, как его наладить.

— Я? Командование дивизионом? — Бахметьев даже поперхнулся табачным дымом и закашлялся. Такого оборота дела он никак не мог ожидать.

— Вы,— ответил Плетнев и, подумав, добавил: — Сегодня.

Странно, что в бывшем матросе была та уверен-

ность, которой не хватало бывшему капитану второго ранга Шадринскому. Пожалуй, флотилия и в самом деле выиграла от такой замены. А дивизионом, слов нет, любопытнее было командовать, чем одной лодкой.

— А как же Малиничев?

— Малиничев? — И Плетнев задумчиво потер подбородок. — Он будет у вас командовать какой-нибудь лодкой. По вашему усмотрению.

Бахметьев вскочил на ноги:

— Но ведь я же не могу. Он старше меня. Гораздо опытнее и вообще... Был лейтенантом, когда я еще учился в корпусе, и только что был моим начальником. Я не смогу отдавать ему приказания.

— Садитесь, пожалуйста. — Плетнев поднял глаза, и в глазах его была легкая усмешка. — Кто-то мне рассказывал, что нынче нельзя судить о командире по его бывшему чину. Верно это?

Бахметьев сел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. Должно быть, Ярошенко передал его слова Плетневу, и теперь он никак не мог от них отречься. И вообще не знал, что ему делать.

— Ну вот, — сказал Плетнев. — Когда вы были мичманом, я у вас служил простым минером. А теперь я командующий и свободно могу отдавать вам приказания... Сегодня, как полагается, вместе с Малиничевым подайте рапорты.

— Есть. — И, чтобы скрыть свое смущение, Бахметьев принялся раскуривать потухшую папиросу.

— Приказ получите в распорядительной части. Он у них готов. А комиссаром останется у вас Ярошенко. Вы хорошо с ним живете?

— Очень.

— В порядке, значит. — Плетнев наклонился вперед и через стол протянул руку. — Потолкуем с вами в другой раз, а сейчас пришлите мне товарища Лобачевского. Будьте здоровы!

Бахметьев вышел в коридор и так же осторожно, как и накануне, закрыл за собой дверь. Только теперь у него были совсем иные мысли. И первая — что выслушивать приказания от бывшего матроса оказалось вполне просто.

В каюте было темно и душно. Плетнев лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог.

Дела на флотилии обстояли плохо. Бестолочь, перемноженная на отвратительное снабжение, а людей нет и не предвидится.

Можно ли наладить хоть какую-нибудь корректировку огня с берега? Как быть с проклятыми дровами, которых всегда не хватало? Какие меры принять против возможного прорыва неприятельских кораблей?

Со всех сторон была сплошная путаница нерешенных вопросов, а кое-какие сотрудники штаба сидели с поджатыми губами и вовсе не спешили помочь. А другие, вроде Лобачевского, просто были бездельниками.

Впрочем, всё это он предвидел заранее и теперь жаловаться на свою судьбу не собирался.

«Боевые действия ограничивались обоюдным обстрелом позиций и налетами авиации с обеих сторон» — это была фраза из его последнего донесения в Москву.

Нет, какие уж там обоюдные налеты! Своя авиация просто никуда не годилась. Самолетов было порядочно, но летать могли всего лишь штук десять, двенадцать, да и те плохо.

Люди? Людей винить не приходилось. Черт знает в каком виде были сами машины, и механики работали круглые сутки, чтобы хоть как-нибудь привести их в порядок. А летчики за отсутствием бензина летали на мерзости, которая называлась «казанской смесью» и от которой всё время скисал мотор. Люди были героями.

«Боевые действия ограничивались обоюдным обстрелом позиций...»

Во время последнего обстрела на плавучей батарее «Урал» в канале орудия разорвался снаряд. Трех совсем разнесло, а несколько человек просто полетело за борт, и их пришлось вылавливать. Но самое страшное было потом. Пламя от взрыва проникло в трюм, где хранилось штук триста снарядов.

Он стоял на крыше рулевой рубки и в бинокль всё это видел, точно на экране кино. И также ничем не мог помочь.

Когда-то он испытывал нечто подобное. Может быть, это было в бою на «Джигите», а может — в полубреду в теплушке эшелона. Но теперь это было хуже, чем

когда-либо. Его корабль без паров стоял ошвартованный к пристани, и он мог только смотреть. А сигнальщики без конца путались с флагами, и приказание подать помощь «Уралу» безнадежно запаздывало.

К счастью, Бахметьев, не дожидаясь никаких сигналов, подошел на своем «Командарме» прямо к борту батареи и со всей свободной командой бросился тушить пожар. Здорово рисковал. Мог и корабль свой погубить и людей, однако дело сделал. Огонь ликвидировал.

Вообще этот Бахметьев вел себя хорошо, и Ярошенко был прав, когда настаивал на его назначении начальником дивизиона.

В каюте на «Командарме» горел свет, но начальник дивизиона Бахметьев крепко спал. Он навалился плечом на деревянный борт койки и одну руку свесил до самой палубы, но никакого неудобства от этого не ощущал. Он был измучен до последней степени.

На столе стоял чайник с кипяченой водой, аккуратно завернутый в газету остаток хлебного пайка и барограф, отмечавший резкое падение давления. Рядом, прикрытое наганом в кобуре, лежало начатое письмо:

«Брат мой, Александр.

Я начинаю думать, что ты был прав, но всё это страшно трудно, и, кажется, легче не станет. У нас слишком много врагов и слишком мало опыта. Впрочем, есть настоящие, очень крепкие люди.

Один из таких — тот самый Семен Плетнев, о котором я тебе рассказывал. Его прислали к нам командующим вместо мокрой курицы, Ивана Шадринского. Думаю, что это будет хорошо, но наверное еще не знаю.

Меня назначили начальником дивизиона канлодок. Лучше бы не назначали. Ты не можешь себе представить, что у нас творится.

Когда я наконец уйду со службы, я, наверное, стану пожарным. У меня сейчас необычайно много практики в этой области. Нет, не буду писать. Противно.

Будь другом, посмотри, что наша сестра Варвара делает с моим сыном Никитой. Ты отлично знаешь, что она за кушанье, а потому поймешь мое беспокойство.

Там осталось множество моего барахла, а швейцар Терентий ездит к себе в деревню. Пусть что-нибудь сменяет на масло и яйца для моего отпрыска...»

Дальше письмо было прервано, а пониже тем же, но более крупным почерком было написано:

1. Проверить боевые расписания.
2. «Беднота» — лопнувшая муфта у головы руля.
3. 8.30 — совещание в штабе.
4. Вопрос о Малиничеве.

Последняя запись была дважды подчеркнута и рядом с ней стоял большой вопросительный знак.

Насчет военного моряка Олега Малиничева у командующего флотилией Плетнева были свои соображения. Не слишком веселые, потому что, вспомнив о нем, Плетнев тяжело вздохнул и перевалился на другой бок, как делают, когда хотят избавиться от дурного сна. Но все-таки Малиничев не выходил у него из головы.

Оставлять его командовать дивизионом было рискованно, — слишком странные вещи о нем рассказывали Ярошенко и другие. Но вовсе списывать его с флотилии тоже не годилось. Пока что никаких особых дел он не наделал, а людей совсем не было.

Всё же с этим перемещением на дивизионе канонерских лодок получилось неладно. Обиделись разные бывшие офицеры, а это было некстати.

Может, следовало Малиничева перекинуть в штаб, а на корабль назначить кого-нибудь из штабных? Нет, в штабе и без него было не больно хорошо.

Бахметьев правильно сделал, что оставил его командиром «Уборевича» и вообще на него не нажимал. Но все-таки не было уверенности в том, что всё пройдет гладко. Слишком уж спокойно принял Малиничев приказ о своем понижении.

Олег Михайлович Малиничев действительно был слишком спокоен. Он тоже не спал и, полускрыв глаза, улыбался. На стуле рядом с ним лежал маленький шприц в никелированной коробке и разломанная ампула морфия, а на его левой руке была приятная округлая опухоль, от которой шло тепло.

Он уже давно привык к доброму зелью, и, пока в его чемодане хранилось около сотни ампул, все неприятности и огорчения дорого не стоили.

Сейчас он чувствовал себя мудрым. Командующий флотилией большевик Плетнев был просто ничтожест-

вом, а желторотый мальчишка Бахметьев и того меньше. Они могли как угодно играть в военный флот и воображать, что их колесные калоши форменные броненосцы,— ему было совершенно безразлично.

Впрочем, нет, ему было даже занято. Пусть пока что поиграют. Времени им осталось немного.

Со всех четырех сторон горизонта поднималась старая, настоящая Россия, а за ней стояла вся боевая мощь великих союзных держав. Голод, сыпняк и разруха. Хваленой революции наступал конец, и ему оставалось только плыть по течению.

— По течению,— вслух подумал он и от удовольствия совсем закрыл глаза. Течение шло прямо на север, прямо к друзьям по ту сторону фронта,

9

Превосходное времяпровождение Бориса Лобачевского внезапно окончилось. Сверху по реке прибыли две баржи с минами заграждения, и командующий флотилией Плетнев вызвал его к себе в каюту.

— Скоро начнем их ставить,— сказал Плетнев.

— У нас всего двое минеров,— ответил Лобачевский.

— Завтра, надо думать, придет отряд моряков с фронта. Там еще кое-кого подыщем.— И Плетнев задумался.— Они прямо лесом идут. Семьдесят пять верст пешим образом, всё свое добро на себе.— Но думал он, видимо, совсем о другом и огрызком карандаша на полях какого-то приказа рисовал рогатую мину заграждения образца восьмого года.

— Значит, мы с вами будем их ставить, товарищ флагманский минер. Может быть, очень даже скоро. Верно я говорю?

Опять он говорил не то, о чем думал, и Лобачевский в ответ только пожал плечами. По целому ряду причин ему вовсе не хотелось заниматься минными постановками, но в конце концов служба была службой.

— Ну, а теперь давайте по-хорошему.— Плетнев открыл ящик стола и вытащил из него пачку чертежей.— Конечно, вы всё это знаете, а только я разные мелочи, может, лучше помню. Разберем, что ли?

Значит, вот к чему клонилось дело, Плетнев хотел ему помочь, но стеснялся это сделать,

— Охотно.— И Лобачевский придвинул стул, чтобы лучше видеть чертеж.

Час спустя он вышел из каюты. Одна из наиболее веских причин его нежелания возиться с минами отпала. Он был в превосходном настроении духа и, спускаясь по трапу на катер, даже посвистывал.

Мотор весело стучал и плевался из выхлопной трубы. Погода стояла на редкость приятная: синее небо, легкие перистые облака и теплый ветер. Рядом с катером сильным шлепком по воде плеснулась какая-то большая рыба. Хорошо бы ее изжарить в сухарях и съесть. Собственно говоря, совсем без дела на флотилии могло стать скучно, а мины сулили множество всяких развлечений.

Развлечения начались значительно раньше, чем он ожидал. Он высадился на баржу и отпустил катер. Потом с решительным видом подошел к ближайшей mine заграждения и постучал по ней пальцем. Но, прислушавшись, кроме звона услышал новый и непонятный звук — ровное, шедшее со всех сторон сразу гудение.

Откуда-то выскочили три человека, и один из них, старшина-минер Точилин, прикрыв глаза рукой, крикнул:

— Аэропланы!

Их было целых девять штук, и они строем клина летели на небольшой высоте. Крылья их просвечивали желтым светом, и это было очень красиво. Никакого страха Лобачевский в первый момент не ощутил, но потом вспомнил о минах.

Большие черные шары сплошь перекрыли всю палубу, и в каждом из них было по восемь пудов тротила. Даже одной мины вполне хватило бы, а на барже их имелось сто восемьдесят. Что, если в самую гущу ляжет хорошая бомба?

Старшина Точилин подошел к борту и яростно сплюнул в воду. Оба молодых моряка стояли совершенно неподвижно.

Может быть, аэропланы не обратят внимания? Едва ли. Баржа была заманчивой мишенью и сверху, наверное, выглядела вроде бутерброда с зернистой икрой.

— Смешно, — сказал Лобачевский. Встряхнулся и поглубже засунул руки в карманы. Ему очень хотелось закурить, но рядом с минами этого делать не

полагалось, и он решил не подавать дурного примера команде.

Канонерские лодки уже открыли огонь. Бомбомет с «Командарма» прочертил по небу две ровные цепочки дымков. Со всех сторон от летящего клина белыми ватными шариками в густой синеве раскрывались всё новые и новые шрапнельные разрывы. Это опять-таки было очень красиво, но, к сожалению, беспорядочно.

— Всем перейти в нос, — вдруг скомандовал Лобачевский, для того чтобы хоть что-нибудь сделать. Так стоять было просто невыносимо.

— Есть! — откликнулся Точилин. — А ну, шагай! Козорезов, нечего наверх смотреть, ноги переломаешь! Досужный, шевели штанами!

Лобачевский пошел последним. Шел ощупью, потому что не мог оторвать глаз от неба. Теперь клин разделился, и только три машины продолжали лететь по направлению к барже. Их, конечно, было достаточно.

— Мины, — не выдержал Досужный. Его веснушчатое лицо стало серым, и он с трудом ловил воздух широко раскрытым ртом. — Все рванут!

— Брось, — усмехнулся Точилин. — Если бомба тебе на голову ляжет, ты и не узнаешь, рванули они или нет. А не ляжет, так они и рваться не будут. Ясно?

Бомбы уже ложились. Первая — высоким столбом воды саженьях в ста по корме, вторая — значительно ближе. Куда придется третья?

Пауза. Бесконечная, томительная, совершенно нестерпимая пауза. Глухой рев моторов и нарастающий дрожащий вой бомбы. Когда же конец?

Водяной столб под самой кормой, и сразу же второй удар — прямо по железу. Желтая вспышка, короткий гром, упругий воздух в лицо и толчок, от которого трудно устоять на ногах. Потом скрежет осколков.

— В порядке! — крикнул Лобачевский. На палубе у левого борта дымилась широкая пробоина, но мины не взорвались.

— Вода, — ответил Точилин. — Слушай!

В трюме шумел водопад, и весь корпус дрожал мелкой дрожью. Водонепроницаемых переборок у баржи не имелось — значит, это было дело нескольких минут.

Досужный вдруг сорвался с места и побежал по левому борту. На бегу сдернул брезент с крышки

люка, запутался в нем, но не упал и потащил его к пробойне.

— Не зыйдет,— и Лобачевский схватил за руку Точиллина.— Стой!

Он совершенно ясно представил себе вывороченные наружу рваные края пробойны. Прилаживать к ним пластырь было почти безнадежно. Срочно требовалось придумывать что-нибудь другое.

— Руби канат! — скомандовал Лобачевский. — За кормой отмель.

Точиллин схватил лом. Теперь можно было повозиться с пластырем. Аэропланы, развернувшись, кажется, снова собирались налететь, но думать о них было некогда.

Досужный аккуратно раскладывал брезент. Лицо его снова приняло нормальную окраску, и вид у него был такой, будто он занят самым обычным делом.

— Молодчинище! — И Лобачевский тоже взялся за брезент.— Чуть подальше в нос протянуть!

Из пластыря, конечно, ничего не получилось. Вероятно, пробойн было несколько штук, а брезент ложился куда не надо, и даже вчетвером с ним нельзя было сладить.

Баржа совсем низко сидела в воде, особенно кормой, но ее уже несло по течению. Успеет донести до отмели или нет?

Через кормовые клюзы на палубу внезапно хлынула вода. Она, вероятно, была холодноватой, и купаться совсем не хотелось. В трюме плескались форменные волны. Донесет или нет? Скорее, что нет. Но баржа с мягким толчком врезалась кормой в грунт, и Лобачевский поднял голову:

— Сидим. Красота!

Река уже была на уровне палубы. Чтобы не заливало ноги, пришлось лезть на первую попавшуюся мину. Вода лилась через все люки, бурлила и кипела, как в котле. Теперь стремительно опускался нос. Его уже перехлестнуло волной. Что дальше?

Но дальше всё было благополучно. Баржа всем корпусом села на мель. Над носовым люком лопнул последний воздушный пузырь, и вода успокоилась. Только тогда Лобачевский заметил, что аэропланы уже улеглись, а к барже полным ходом шли сразу три моторных катера.

— Представление окончилось, — сказал он. Положил руку на горловину соседней мины и неожиданно нащупал еще теплый осколок бомбы. Спрятал его в карман и покачал головой. Могло кончиться много хуже.

На катер он ухитрился перебраться почти не замочив ног. Снял с баржи всех людей, сам взялся за штурвал катера и наискось через реку повел его к «Ильичу».

Плетнев ждал его у трапа. Позади в молчании стоял весь штаб, а за штабом толпилась команда парохода. Ярко светило солнце, сцена была превосходная, и зрителей было вполне достаточно.

— Разрешите доложить, товарищ командующий! — Голос Лобачевского звучал звонко и весело. — Баржа по всем правилам военно-морского искусства посажена на мель, и разгрузка ее трудностей не представляет. Убитых и раненых не имеется. Кроме небольшого попадания аэропланной бомбой, никаких особых происшествий не случилось.

— Есть. — Плетнев провел рукой по подбородку и улыбнулся. — Ну, а с минами вы ознакомились?

— Немножко, — ответил Лобачевский, — но достаточно.

Плетнев кивнул головой:

— Идем, значит, обедать.

10

У Бахметьева было напряженное, взволнованное лицо. Он усиленно старался раскурить свою папиросу и даже не замечал, что она у него потухла.

— Почему я служу у большевиков? — подняв брови, переспросил Лобачевский.

Он после ужина отдыхал на своей койке и вовсе не расположен был вести разговоры на серьезные темы. Впрочем, и в любое другое время он предпочитал их избегать. На кой черт Бахметьев лез к нему с такими дикими вопросами?

— Почему я служу у большевиков? Вероятно, по той же самой простой причине, что и ты. Где-нибудь служить все равно нужно, и к тому же мобилизация. Какие у меня политические убеждения? Никаких, другой мой, совсем никаких. Больше тебе скажу: нам с тобой

иметь их не полагается... Лучше возьми спички, если хочешь курить.

Лобачевский бросил на стол коробок, откинулся на спину и заложил руки за голову.

— Впрочем, кое-какие убеждения у меня есть. Я, например, убежденный любитель хорошего общества. Почему я пошел на фронт? Во-первых, потому, что меня послали; во-вторых, потому, что в силу железного закона войны на фронте всегда собирается значительно лучшее общество, нежели в тылу. Вот тебе ответ на твой последний вопрос. Ты удовлетворен?

Бахметьев молчал. Он стыдился своей откровенности и жалел, что напрямик заговорил именно с Борисом Лобачевским. Можно было заранее предвидеть все его ответы, а значит не стоило и спрашивать.

— Между прочим,— продолжал Лобачевский,— я не ошибся. Общество здесь вполне приличное. Не говоря даже о присутствующих, которые, конечно, соль земли.— И, приложив руку к сердцу, он отвесил изысканный поклон, который в его лежащем положении получился довольно нескладным.— Возьмем хотя бы комфлота Семена Плетнева. Он меня просто поразил. Я никогда в жизни не думал, что у обыкновенного минера может быть столько такта и такое превосходное чувство юмора. И возьмем еще двоих минеров: Точилина и Досужного. Ты с ними, кажется, еще незнаком, но смею тебя уверить, оба они весьма достойные люди... Мне начинает казаться, что минная специальность облагораживает душу. Что ты на это скажешь?

За всей шелухой острословия у Лобачевского всё же проскакивали кое-какие новые для него мысли. Он бесспорно всерьез говорил о всех своих трех приличных людях; а из них ни один не окончил Морского корпуса. Это уже было кое-каким прогрессом. В конце концов разговор начался не зря, и теперь следовало довести его до полной ясности.

Бахметьев наклонился вперед:

— Милях в семнадцать к северу отсюда стоят английские мониторы. Думаешь, на них общество хуже?

Лобачевский взял со стола папиросу, не спеша ее закурил, пустил аккуратное кольцо дыма и дождался, пока оно, расплывшись в воздухе, не дошло до подволака.

— Знаешь, друг мой, может быть, и не хуже, только не для нас с тобой. Англичане, как известно, просвещенные мореплаватели и всякое прочее, но тем не менее...

Лобачевский вдруг вскочил и опустил ноги с койки:

— Тем не менее идем в кают-компанию. Там могут дать чаю, а после воблы мне всегда хочется пить.

Он явно уклонялся от прямого ответа, и нажимать на него, конечно, не имело смысла. Бахметьев тоже встал:

— Ладно, идем.

В большом салоне парохода ярко горело электричество. На широких окнах зеркального стекла висели бурые матросские одеяла. Они были безусловно необходимы для затемнения корабля на предмет возможных аэропланых налетов, но рядом с красным деревом и бронзой выглядели странно.

На полукруглом угловом диване сидели Малиничев, тучный Бабушкин и крайне юный круглолицый флагсекретарь Мишенька Козлов.

Малиничев ораторствовал:

— Вы понимаете? Новая обстановка, естественно, требует новых методов. Всякий консерватизм в данном случае просто глупость.

— Вы про что? — поинтересовался Лобачевский, и Малиничев повернулся к нему:

— Мы тут рассуждаем о нашем положении. Помому, бывший комфлот Иван Шадринский показал себя безнадежным идотом. Он, видите ли, учитывал превосходство сил противника, а потому придерживался оборонительного образа действий, то есть, попросту говоря, ничего не делал. Он не учитывал самого главного: в такой войне, как наша, побеждает не броня и не тяжелая артиллерия, а революционный дух!

Малиничев даже шлепнул ладонью по столу. Он явно упивался своими словами, и на его бледных щеках появились два розовых пятна.

— Командование красной флотилией требует от своего командующего создания новой, еще небывалой красной тактики, и в основе этой тактики должны лежать решимость, готовность нападать при любых обстоятельствах!

Бахметьев своим ушам не верил. Если бы то же самое говорил какой-нибудь большевистский оратор на

митинге, это было бы понятно и даже правильно. Но Малиничев? Неужели он воображал, что его слова примут всерьез? С ума он сошел, что ли?

И, подняв глаза, Бахметьев в зеркале напротив увидел фигуру остановившегося в дверях Семена Плетнева. Значит, вот в чем была причина малиничевского красноречия. Любезнейший Олег Михайлович хотел как следует втереть очки начальству. Выйдет ли?

— Внезапный удар,— продолжал Малиничев.— Вы представляете себе, что получится, если ночью наши канлодки потихоньку спустятся по течению и в темноте набросятся на стоящего на якорях противника? Если сухопутные части одновременно ударят по всей линии прибрежного фронта? Если наша авиация поддержит внезапную атаку своими бомбами?

Бахметьева охватила злость. Это была какая-то бредовая чепуха... Глупость, выходящая за пределы дозволенного.

— Если ночь будет темной, вы потихоньку сядете на мель и утром вас потихоньку раздолбают,— с трудом сдерживаясь, сказал он.— Но поскольку в наших широтах сейчас стоят белые ночи, вас раздолбают сразу же и на ходу. Вы тоже кое-чего не учитываете. Вы, например, забыли, что разговариваете со взрослыми, грамотными людьми.

Малиничев вскочил на ноги. Вся краска сбежала с его лица, и он расширенными глазами уставился на Бахметьева. Казалось, он сейчас на него бросится, но в напряженной тишине раздался голос Плетнева.

— Добрый вечер,— сказал он. Подошел к столу, медленно опустился в кресло и, наклонившись вперед, ладонью подпер щеку.— Отдыхаете?

— Так точно,— ответил флаг-секретарь Мишенька Козлов. У него было растерянное лицо и совершенно красные уши. Он никак не мог понять того, что происходило.

— Очень интересно отдыхаем,— подтвердил Лобачевский.

Малиничев стремительно сел и отвернулся. Он, видимо, чувствовал себя очень неважно, но жалеть его не приходилось.

— Скотина,— еле слышно пробормотал Бахметьев.

— Это правильно, что отдыхаете,— продолжал Плетнев,— работы сегодня хватало и завтра хватит,—

И, задумавшись, неожиданно спросил: — Память у вас хорошая, товарищ Лобачевский?

— Самая лучшая во флотилии.

— А ну, посмотрим.— И Плетнев улыбнулся.— Однажды вы сказали, что станете флагманским минером, и, между прочим, не ошиблись. Помните, когда это было?

— Я сказал? — не поверил Лобачевский.— Едва ли. Минное дело всю жизнь было для меня загадкой, которую я отнюдь не стремился разгадать. Только здесь мне пришлось с ней столкнуться, и то совершенно случайно.

Плетнев покачал головой:

— Небогатая память. Совсем небогатая. Вы это сказали генерал-майору Грессеру в минном кабинете Морского корпуса. Было это в середине февраля семнадцатого года. В самые последние дни царской власти.

— Верно, — вдруг вспомнил Бахметьев.— Я в этот день как раз опоздал на репетицию, а потом... потом вы мне подсказывали насчет изготовления торпеды к выстрелу.

— Двенадцать баллов мы с вами получили за это дело, не так ли? — все еще улыбаясь, спросил Плетнев.

— Ну конечно, двенадцать.— И Бахметьев тоже улыбнулся. О Малиничеве он уже забыл. Он совершенно ясно видел перед собой Плетнева, каким он был в корпусе, — широкоплечего, молчаливого матроса с унтер-офицерскими нашивками. Почему он теперь выглядел как-то моложе?

Лобачевский развел руками:

— Признаю свое поражение. Теперь я действительно припоминаю, что сбрыхнул Лене Грессеру что-то в этом роде. И выходит — оказался пророком. Красота!

— Разве вы все вместе учились? — спросил Мишенька Козлов. Он наконец обрел дар слова и решил непременно принять участие в разговоре.

— Нет. Я у их благородий инструктором был. Таскал всякие тяжелые предметы и докладывал, что как называется.— И Плетнев задумался.

— Смешно у нас бывало в минном кабинете, — сказал Лобачевский.— Помните, как Леня убил змею?

— Ну, как же, — ответил Плетнев, — этого не забудешь.

— В минном кабинете? — удивился Мишенька. — Откуда же она там взялась?

Плетнев рассмеялся:

— В кабинете! Минер, объясните ему, в чем дело.

И Лобачевский объяснил.

В корпусе существовала старинная, веками освященная система «заряжать» преподавателей, иными словами — заставляя их рассказывать о всевозможных посторонних вещах.

Генерал-майор Грессер был по заслугам награжден прозвищем «самозаряжающийся Леня». Он с удовольствием рассказывал о чем угодно и чаще всего о том, как он убил змею.

«— Вот иду я с Верочкой (и голос у Лобачевского зазвучал глухим генеральским басом).

— А что, эта Верочка молоденькая? — интересуется класс.

— Челухи, — ворчит Леня. — Верочка — моя дочь. Ей тогда было шесть с половиной лет. И вдруг вижу — она ползет из кустов.

— Верочка? — удивляются слушатели.

— Да нет же. Змея, конечно. С какой стати Верочка будет ползать в кустах. Тут я схватил...

— Змею? Верочку?

— Фу, глупые мальчишки! Палку! Зачем мне хватать змею или Верочку? Ну и трах ее по голове!

— Ой, неужели Верочку?»

— Тут уже Леня окончательно выходил из себя и ругался не меньше пятнадцати минут без перерыва. Получалось замечательно весело.

— Замечательно, — согласился Плетнев. — Только минное дело от этого веселья страдало. Плоховато вы учились, товарищи гардемарины. — Встал, подошел к одному из выходивших на корму окон и поднял одеяло.

За окном стоял сплошной туман. Даже труба ошвартовавшегося у борта буксира казалась плоской и будто полупрозрачной, а канонерских лодок вовсе не было видно.

— Ну, минер, сегодня вам практики не будет. Мины пойдем ставить завтра. — Подумал, опустил одеяло и, в упор взглянув на Малиничева, закончил: — Революционный дух у нас имеется, однако мы, пока что, тоже будем придерживаться оборонительного образа действий.

Это было шуткой, самой обыкновенной и неплохо задуманной шуткой, а получилось из этого черт знает что.

Ему захотелось разыграть всех этих ослов, и он превосходно вошел в свою роль. Пожалуй, даже слишком хорошо. Наболтал такого, что попал под подозрение. Какими странными глазами смотрел на него Плетнев!

Осторожно ступая, Малиничев шел по косогору. Шел сквозь густой туман, по рыхлой, осыпавшейся под ногами земле. Где-то впереди, вероятно уже совсем близко, стоял его корабль. Вернее, не корабль, а проклятая посудина.

Мальчишка Бахметьев прямо его обхамил, и это было еще хуже, чем холодный взгляд Плетнева. Не так опасно, зато совершенно невыносимо... «Вы тоже кое-чего не учитываете...» Прохвост желторотый!

Нет, пришло время весь этот узел разрубить, потому что дальше можно было еще хуже запутаться. Так, что совсем не выберешься. А сегодня всё складывалось на редкость благоприятно. Особенно кстати был туман.

Впереди постепенно возникала какая-то темная масса. Это наконец был «Уборевич», и Малиничев прибавил шагу.

Вахтенный встретил его у трапа. Он стоял закутанный в тяжелый тулуп, на котором блестели крупные капли росы.

— Так, так,— благодушно сказал Малиничев.— Это вы правильно делаете, товарищ вахтенный, что стоите именно здесь. Сейчас на реке ничего случиться не может, а с берега мало ли кто залезет. Враг рядом.

Вахтенный слушал его с полным безразличием. Даже нельзя было понять, слышит он вообще или нет. Ему, видимо, смертельно хотелось спать.

— Вот,— никуда отсюда и не отходите.

— Есть,— еле слышно ответил вахтенный и на мгновение закрыл глаза.

Малиничев прошел к себе в каюту и быстро переоделся с ног до головы. Белья не переменял, потому что это было дурным предзнаменованием, но надел новую тужурку и брюки и даже крахмальный воротничок,

На мгновение присел к столу и, чтобы не забыть, на листке бумаги изобразил участок реки с предполагавшимися к постановке минными заграждениями. Листок аккуратно сложил и спрятал в бумажник.

Разложил по карманам всё, что у него было ценного, и в первую очередь, конечно, розовые коробки с ампулами. Достал из шкафа шинель и, раньше чем ее надеть, старательно ее вычистил; щетку повертел в руках, но, пожав плечами, бросил на койку.

Потом потушил свет и прислушался. На корабле стояла полная тишина. Только где-то вдалеке тонко свистел пар и постукивала какая-то помпа.

Вышел и бесшумно прикрыл за собой дверь. Тихо поднялся по трапу, а потом на цыпочках обошел надстройку и оказался на правом, обращенном к реке, борту.

Вахтенный, скорее всего, уже спал. Но, даже если смотрел во все глаза, со своего места все равно не мог его увидеть.

Малиничев усмехнулся и заглянул за борт. Моторный катер стоял на месте. Только бы теперь не нашуметь.

Уцепившись за фальшборт, он спустил ноги в пустоту и сразу же нащупал ими выпуклую носовую часть катера. Опустил руки и присел на корточки. Теперь оставалось только подтянуться вперед, а потом отдать конец.

Это было совсем не просто. Одной рукой приходилось удерживать катер на течении, а другой развязывать отсыревший узел. Всё тело дрожало от напряжения, и пальцы соскальзывали с изгибов толстого троса. Наконец узел все-таки подался, конец соскользнул в воду, и серый, с грязными потеками борт медленно поплыл в тумане. Прощайте, дорогие товарищи!

Больше беспокоиться было решительно не о чем. За «Уборевичем» не стояло ни единого корабля, и широкий свободный фарватер шел под самым берегом.

Он перебрался в корму и сел, плотнее запахнув шинель. Мотор пока что запускать не годилось,—его слышали бы на всей флотилии. И к тому же в нем не было никакой необходимости. Можно было спокойно плыть по течению.

— По течению,—вслух повторил он и снова усмехнулся. Эта мысль ему пришла в голову всего лишь не-

сколько почей тому назад и уже принесла превосходные плоды. Все мерзости и унижения остались позади, а впереди была новая, несравненная жизнь.

Два часа, в крайнем случае два с половиной. Ничтожно мало для такого огромного перехода в совсем иную эпоху, на совсем другую планету.

Справа берег всё больше и больше расплывался в тумане. Значит, его несло на середину реки, и это было отлично.

«Если ночь будет темной, вы сядете на мель», — кажется, так сказал уважаемый товарищ Бахметьев?

Малиничев рассмеялся коротким смехом. Он был твердо уверен, что даже в тумане дойдет куда угодно. У него в кармане лежал брутковский рубль за номером два нуля четыре тысячи семьсот одиннадцать.

Стрелки на бледном циферблате часов показывали двадцать минут второго. Теперь его уже отнесло по меньшей мере версты за полторы от корабля. Можно было давать ход.

Он встал, снял с мотора чехол и залил бензином пробные краники. Потом систематически включил всё, что полагалось, и, наклонившись, рванул пусковую ручку.

Мотор фыркнул, но сразу же остановился. Это, конечно, было несущественно. Он отнюдь не сомневался, что заставит его работать. Не спеша он осмотрел всё, что только можно было, и внезапно обнаружил, что бензиновый бак был совершенно пуст.

От такой неожиданности он даже вспотел и, почувствовав, что с трудом держится на ногах, сел на планшир. Как он этого не предусмотрел?

Нет, отчаиваться не стоило. У него был надежный союзник — течение. Ну, не два с половиной, а шесть или семь часов будет продолжаться переход. Только и всего.

По носу открылся берег. Катер несло бортом, и никак нельзя было понять: правый это берег или левый. Все равно, у обоих могли оказаться отмели, а где-нибудь рядом стояли красные посты.

Он стиснул зубы, достал крюк, чтобы в случае чего отталкиваться, и вернулся на корму. Попытался закурить, но спички отсырели и не загорались.

Берег снова открылся. Теперь нужно было не думать об отмелях. И не смотреть на часы, потому что время шло слишком медленно.

Оно тянулось молочной мутью тумана и тусклым блеском гладкой воды, часами, а может быть неделями неподвижности и сырого холода, бесконечностью нестерпимого ожидания.

Потом на середине реки появился большой корабль.

Ему бросили конец, и он подтянулся к трапу. Вышел на палубу, но прежде всего должен был вымыть руки, и его привели в сверкающую ванную, где была теплая вода.

Потом в кают-компании на ослепительно белой ска-терти появилось настоящее мясо, и в стакан ему налили соломенно-желтого виски. Но, когда он протянул руку, кто-то толкнул его в спину и громко зашипел.

Он вскочил, и сразу всё пропало. Остался только непроницаемый туман и вода, бежавшая бурунами по перекату.

Справа, однако, никаких бурунов не было, и, оттолкнувшись крюком, он снова вывел свой катер на чистую воду.

Часы показывали пять сорок. Как это могло случиться? Неужели он все-таки уснул и проспал около четырех часов? Вероятно, да, потому что всё тело его затекло и в ногах бегали мурашки. В детстве он это называл: сельтерская вода в ногах, и его отец громко смеялся. Нет, не нужно было вспоминать. Это было страшно.

Где он мог находиться? Четыре с половиной часа — верст двенадцать, четырнадцать. Если его всё время исправно несло течением, он уже давно прошел линию фронта. А если катер большую часть времени сидел на мели?

Холод теперь проникал до самых костей. Очень хотелось есть, а хлеб он оставил в своей каюте. И спички отсырели так, что нельзя было закурить. Но, по счастью, осталось доброе зелье.

Он судорожно сорвал с себя шинель, а потом ту-журку. Широко расставив ноги, в одной рубашке он стоял со шприцем в руках, но холода больше не чувствовал. Достал две ампулы и быстро сделал себе два укола.

Снова оделся и поудобнее устроился на кормовом

сиденье. Заправил руки в рукава шинели, полузакрыв глаза и откинулся назад.

Теперь теплота наплывала мягкой волной, и кровь весело гудела в голове. Теперь было полное спокойствие и полная уверенность в том, что всё окончится благополучно. И, постепенно нарастая в тишине, где-то совсем близко начал играть большой симфонический оркестр.

— Увертюру из «Моряка-скитальца», — прошептал он, и сразу оркестр исполнил его желание. Запели высокие трубы, глухо ударили литавры, и всеми цветами радуги хлынула мощная музыка Вагнера.

Он был совершенно счастлив. Катер два раза при-ткнулся к мели и наконец остановился, но это уже было безразлично. Ему сопутствовала удача. Улыбаясь, он вынул из кармана бумажник с бруттовским рублем и положил его рядом с собой на сиденье.

Внезапно туман поднялся, точно театральный занавес, и впереди, совсем как тогда во сне, на самой середине реки появился черный силуэт боевого корабля.

Нет, теперь он не спал. Он мог ущипнуть себя за руку и почувствовать боль. Теперь это было спасение!

Пошатываясь, он встал и взмахнул обеими руками, и в ответ на корабле блеснул желтый огонь.

Почему? Что там случилось? — И сразу же у самого борта поднялся высокий серебряный столб и, поднявшись, неподвижно застыл в воздухе.

Это было очень странно.

12

«Сего числа, в шесть часов тридцать минут, находясь в дозоре у точки А, в рассеивавшемся тумане обнаружил выше себя по течению неизвестный черный предмет.

Полагая, что это плывущая мина заграждения, произвел с дистанции четыреста ярдов один выстрел из дежурного орудия и немедленно стал сниматься с якоря.

Реку снова покрыло туманом, а потому, из предосторожности переменив место и отойдя под левый берег, я выслал для обследования шлюпку под командой младшего лейтенанта Кларка.

Вернувшись, Кларк донес, что неизвестный предмет оказался небольшим моторным катером обычного типа.

Он сидел на мели, и вся его кормовая часть была разбита близким падением снаряда.

Людей на нем обнаружено не было. Удалось найти только бумажник черной кожи, каковой при сем провождаю.

В шесть часов пятьдесят семь минут туман окончательно поднялся, но неизвестного катера на отмели уже не оказалось. Следует предположить, что его снесло течением и что он, имея многочисленные повреждения корпуса, затонул,

Капитан-лейтенант *Дальрой*
Монитор М-25».

— Прочли? — спросил командующий речной флотилией капитан Ноэль Блэр.

— Кэптен, сэр, — ответил мичман барон Штейнгель, — я был свидетелем этого печального происшествия и должен отметить, что капитан-лейтенант Дальрой вел себя странно.

Он хотел многозначительно добавить, что Дальрой был ирландским революционером, но не успел. Капитан Блэр, приветливо улыбнувшись, поднял руку:

— Когда мне понадобится лучший командир монитора, чем Майк Дальрой, я назначу вас на его место. А пока вам лучше не вмешиваться не в свое дело... Вы ознакомились с содержанием бумажника?

— Там почти ничего нет, — пробормотал темно-красный Штейнгель. — Частные письма и удостоверения на имя Олега Михайловича Малиничева.

— Знакомая вам фамилия?

— Я его хорошо знал. — И Штейнгель еще ниже опустил голову. — Он был лейтенантом старого флота и плавал на миноносцах... Вероятно, теперь бежал от красных к нам.

— А это что такое?

Штейнгель взял в руки маленький листок бумаги и разгладил его складки:

— Тут написано: четыре линии — двадцать четыре штуки. Это план выставления красными минного заграждения.

— Дайте взглянуть. — Блэр наклонился над развернутой картой. — Здесь. Да, несомненно, здесь, у верхней оконечности этого островка с непризносимым именем, —

Карандашом на карте нарисовал узкий прямоугольник и аккуратно его заштриховал.

— Он хотел нам помочь,— глухо сказал Штейнгель.

— Он достиг своей цели.— И капитан Блэр нажал кнопку звонка. Появившемуся рассыльному приказал вызвать лейтенанта Фаркварда и снова повернулся к Штейнгелю: — Все это, конечно, очень досадно, но что поделаешь! Было бы еще досаднее, если бы Дальрой принял мину за катер и взлетел бы на воздух со своим монитором... И заодно с вами.

В каюту вошел невысокий черноволосый лейтенант. Остановившись у стола, вытянулся, точно стараясь стать выше ростом, и почтительно спросил:

— Сэр?

— Фарквард, наступление переносится на завтра.— И капитан Блэр положил обе руки на стол. — Известите командиров кораблей и сухопутных частей. Срочно затребуйте из базы дивизион тральщиков. Это всё.

Но Фарквард не уходил. С сомнением в глазах смотрел то на Штейнгеля, то на своего командующего и наконец решился:

— Получены известия от Десмонда. Прикажете доложить?

Блэр невесело усмехнулся:

— К вашему сведению, Штейнгель: сегодня ночью русский отряд майора Десмонда взбунтовался и перебил своих офицеров. Кажется, у вас в России это принято, но при чем здесь мы, англичане, и какого черта мы торчим в вашей проклятой стране?.. Докладывайте, Фарквард!

Лейтенант Фарквард вынул из кармана записную книжку и осторожно откашлялся.

— Сам Десмонд тяжело ранен, но остался в живых. Сейчас находится на перевязочном пункте у верхней пристани. Батальону Леннокса удалось оцепить мятежников. Большая часть их перебита пулеметным огнем, около шестидесяти человек взято в плен, а две небольшие группы прорвались в лес.

Блэр встал из-за стола и несколько раз молча прошелся по каюте. Вся эта история с отрядом Десмонда окончательно вывела его из себя. Он остановился и щелкнул пальцами,

— Пьяные русские офицеры без штанов скачут на одной ножке по лагерю. Командир второй роты, какой-то Олсуфьев, чтобы не скучать, заставляет своих солдат всюду таскать за ним его пианино. Удивляюсь, как они не взбунтовались раньше... Тем не менее, Фарквард, пленным придется поставить по ранжиру и расстрелять каждого четвертого, а остальных отправить на базу.

— Есть, сэр!

— Беглецов преследовать всеми средствами. Прикажите Холлу выслать в погоню три аэроплана.

Штейнгель встал. Слишком много оскорбительного сказал Блэр о России и русских. Резко ему ответить? Нет, об этом и думать не приходилось. Но все-таки что-то сделать нужно было. Какой-нибудь решительный жест, чтобы хоть самому реабилитироваться.

— Разрешите мне участвовать в преследовании, — но представил, что пробирается через лес и болото под пулями и в грязи, и быстро добавил: — На одном из аэропланов.

Капитан Блэр взглянул сквозь него на противоположную стену:

— Пожалуйста, если только Холл вас возьмет... Кстати, Фарквард, пришлите его ко мне. Надо будет чем-нибудь отвлечь внимание красных от того, что у нас делается... Я больше никого из вас не задерживаю.

Штейнгель поклонился, вышел вслед за Фарквардом и поднялся на верхнюю палубу. Теперь ему нужно было дожидаться прибытия начальника воздушного отряда командера Холла.

Всего лишь год назад он и Малиничев сидели в Питере и оба собирались на Север, только Малиничев почему-то опоздал. В ту весну много играли в покер и в девятку, а теперь брутовский рубль Малиничева достался ему: он сказал Дальрою, что эта кредитка не имеет никакой цены, и попросил разрешения взять ее на память.

Верил ли он в то, что брутовские рубли приносят счастье? Пожалуй, нет, но все-таки с удовольствием ощущал лежавшую в жилетном кармане бумажку.

С берега доносился редкий колокольный звон и одиночные винтовочные выстрелы. По-видимому, было воскресенье, и гнусная история с отрядом Десмонда подходила к концу. Когда-нибудь окончится и весь все-

российский мятеж. Всех, кого надо, поставят по ранжиру, перестреляют каждого четвертого, и тогда можно будет жить.

13

В четыре часа утра, при смене вахты на канонерской лодке «Уборевич», новый вахтенный обнаружил исчезновение катера. По положению отправился с докладом к командиру корабля, но Малиничева, конечно, не нашел.

Через пять минут об этом было доложено начальнику дивизиона Бахметьеву. Докладывавшие пришли с винтовками, и один из них, старшина-рулевой Слепень, сказал:

— Одевайтесь!

В его руках горел ослепительно яркий аккумуляторный фонарь, и спросонья Бахметьев ничего не соображал. Когда же наконец понял, в чем дело, похолодел и невольно натянул на себя одеяло.

— Одевайтесь, вам говорят! — решительно повторил Слепень, тот самый Слепень, который всегда был самым дисциплинированным из всех моряком «Командарма».

Теперь он стоял с винтовкой и фонарем. Почему? И почему другие тоже были вооружены? Арестовать его пришли, что ли? Сплошная нелепица, а комиссар Ярошенко с заражением крови лежал на «Ильиче» и не мог помочь.

Однако раздумывать было некогда, и Бахметьев вскочил из койки. Стал одеваться, как по боевой тревоге, но вдруг подумал, что его поспешность может показаться трусостью, и выпрямился:

— Опустите ваш дурацкий фонарь. Мне нужно найти ботинки.

Слепень быстро исполнил приказание. Теперь следовало окончательно овладеть положением:

— Зачем здесь столько народу? Лишним выйти!

— Ладно,— и Слепень прямо в лицо Бахметьеву блеснул фонарем,— все вместе выйдем.

Это было уже совсем плохо, и оставалось только сделать вид, что ничего не замечаешь. Бахметьев наскоро зашнуровал ботинки, взял со стены фуражку и двинулся к двери:

— Мне нужно в штаб.

— Туда и идем,— коротко ответил Слепень.

Бахметьев шел, стараясь не думать о том, что идет под конвоем, не вспоминать о Малиничеве, не гадать о будущем. Шел и, чтобы отвлечься, считал шаги, но это не помогало.

Туман наплывал липкими волнами. Он перехватывал горло, качался в глазах, и от него кружилась голова. Казалось, что он никогда не кончится, что вся жизнь будет вот такой же мутной и непонятной.

— Сюда,— сказал Слепень и взял Бахметьева под руку.— Спускаться надо.

Это было унижительно, но Бахметьев не сопротивлялся. Он чувствовал себя вещью, которую можно брать руками и вести куда угодно. Он был не человеком, а арестованным.

Впереди заблестел тусклый огонь у трапа «Ильича». По сходне поднялись на палубу, потом коридором направились прямо к каюте командующего флотилией. Слепень распахнул дверь, шагнул вперед и через плечо показал на Бахметьева:

— Привели!

Плетнев в расстегнутой кожаной тужурке сидел за столом. Он непонимающими глазами посмотрел на вошедших, взъерошил волосы и провел рукой по подбородку.

— Привели? — Наклонился к сидевшему против него Лобачевскому и спросил: — Мины-то погружены?

Лобачевский пожал плечами:

— Еще со вчерашнего утра. Я вам докладывал.

— Товарищ командующий! — И Слепень сделал еще один шаг вперед.— Мы его привели.

Только теперь Плетнев увидел белое лицо Бахметьева и виштовки в руках моряков.

— Кто вам приказал это сделать?

Слепень неуверенно переступил с ноги на ногу:

— Вы же сами велели, чтобы он пришел, ну, а мы...

— Хватит! — перебил его Плетнев. Встал во весь рост и потемнел: — Я тут командующий, понятно? Еще раз попробуй самоуправничать — так поблагодарю, что не обрадуешься... Ступайте отсюда все! — И, повернувшись к Бахметьеву, показал рукой на стул: — Дело есть. Садитесь.

Слепень, пятясь, отступил и закрыл за собой дверь.

Теперь можно было вздохнуть полной грудью. Нелепая история благополучно окончилась.

Но сразу же наступила реакция после всех переживаний в тумане, и Бахметьев стиснул кулаки.

Его вытащили из койки и арестовали как изменника! Его вели под конвоем и хватали за руку! И хуже всего: он форменным образом перетрусил.

— Товарищ командующий, — громко сказал он, — прошу списать меня с флотилии. Я здесь больше служить не буду.

— Будешь, — спокойно ответил Плетнев.

— То есть как так? — Бахметьева охватило бешенство, и он даже затрясся. — После такого позора? Не буду — и всё! Не могу. Раз они считают меня предателем — не хочу!

— Тихо! — И Плетнев поднял руку. — Мне твою дамскую истерику слушать некогда. — На мгновение остановился и снова заговорил уже мягче: — Ты поставь себя на их место. Малиничев бежал, и вы все, бывшие офицеры, такие же, как на той стороне. Это я знаю, что тебе можно верить, а откуда им знать? Так что ты, товарищ Арсен Люпен, не обижайся.

Было странно, что Плетнев вдруг вспомнил о Морском корпусе, и еще более странно, что тут же рядом сидел Борис Лобачевский, с которым они в те времена проделали всю авантюрную эпопею Арсена Люпена.

— Допустим, — неожиданно успокоившись, сказал Бахметьев, — но какой же я для них начальник, если они как угодно меня арестовывают? Я же им теперь слова сказать не смогу.

— Это ты не сможешь? — Плетнев медленно опустился в кресло и, улыбнувшись, покачал головой. — Да ты мне, командующему флотилией, и то наговорил столько слов, что больше не надо... Брось! Приказывай как раньше — и тебя будут слушаться. Ты их еще не знаешь, вот что я тебе скажу.

Только теперь Бахметьев заметил, что Плетнев всё время называл его на *ты*. Вероятно, всего лишь несколько дней тому назад такое обращение его неприятно резнуло бы, но сейчас, наоборот, очень обрадовало. Это было признанием дружбы, — и в самом деле им пора было переходить на *ты*.

— Хорошо, — сказал он, — будь по-твоему. — И добавил: — Прости, я погорячился.

— Ну, вот.— И Плетнев разгладил руками лежавшую на столе карту.— Следующий вопрос на повестке дня — минные заграждения. Знал этот Малиничев, где мы хотим их ставить?

— Знал,— ответил Лобачевский. Говорить ему было нелегко, но он сжал руки и заставил себя закончить:— Спрашивал, и я ему показал.

Плетнев кивнул головой:

— Вины в этом нет. Я бы тоже показал. А только дальше что делать?

Бахметьев наклонился над картой. Всего лишь в нескольких милях к северу стоял неприятель. По последним сведениям, у него было пять мониторов и четыре канонерских лодки, — просто подавляющие силы. И в любой момент он мог перейти в наступление, поддержанный авиацией и сухопутными частями.

— Все равно поставим,— сказал он наконец,— даже если они знают место. Пусть потом тралят под нашим огнем.

— Поставить, конечно, поставим,— согласился Плетнев,— а только места они не знают. Вот,— и провел ногтем по карте.— На версту, что ли, пониже.

— Дело! — обрадовался Лобачевский.— Только тут широкий плес. Надо на мою «Мологу» штук восемь догрузить, иначе на четыре линии не хватит.

— Три будем ставить,— ответил Плетнев,— времени нет.

Бахметьев взял циркуль и по карте измерил расстояние от намеченного Плетневым места до неприятельских позиций. Вышло меньше, чем хотелось бы, но все же достаточно.

— Пожалуй, не увидят, а впрочем, черт их знает. На всякий случай прикажи мне с парой канлодок выйти на поддержку.

— Выходи. Будешь держаться против острова. Если покажутся корабли противника, прикрывай отступление «Мологи», а потом сам отступай. Ясно? — И Плетнев взглянул на часы. — Сейчас пять двадцать,— сказал он, подумав.— Сниматься будете, как только поднимется туман, ну, что ли, около половины седьмого. Пар у вас поднят еще с вечера, значит, управитесь.— Встал и протянул руку: — Желаю успеха!

Бахметьев и Лобачевский, попрощавшись, вышли в коридор, и первый, кого Бахметьев увидел, был стар-

шина-рулевой Слепень. Винтовка его куда-то исчезла, и он стоял, прислонившись к стенке. Очевидно, ждал, чем окончится совещание у командующего.

Семен Плетнев говорил, что нужно было приказывать как прежде. Ладно,—и Бахметьев поднял голову:

— Товарищ Слепень!

— Есть!

— Сейчас же передайте: «Командарму» и «Уборевичу» изготавиться к походу.

— Есть изготавиться! — Голос Слепня был такой же, как всегда, и держался он по-прежнему подтянуто. — Разрешите спросить?

— Да?

— Как же с командиром быть на «Уборевиче»?

В самом деле, не мог же «Уборевич» идти без командира! Может, взять с какой-нибудь другой лодки? А если завяжется бой и ей тоже придется выходить? А потом, «Беднотой» командовал какой-то капитан из речного транспорта, а «Карлом Марксом» бывший артиллерист «Командарма», — самый обыкновенный комендор Шишкин. Слепень был ничем не хуже их. Пожалуй, даже лучше.

— Вы пойдете командиром. Я через десять минут буду у себя на корабле и дам вам все указания.

— Как же это я...— начал было Слепень, но передумал и выпрямился.— Есть, товарищ начальник.

По-видимому, Плетнев был прав, и Бахметьев невольно улыбнулся.

— Ступайте. У меня тут есть кое-какие дела,— и взялся за ручку одной из дверей.

Осторожно ее приоткрыл и в тусклом свете зашепенной полотенцем электрической лампочки увидел того, кого рассчитывал увидеть,— комиссара Ярошенку.

Ярошенко стал еще более худым и костлявым, и на белой подушке лицо его казалось совершенно черным. Напряженным взглядом он смотрел на свою огромную забинтованную руку, но при виде Бахметьева на мгновение закрыл глаза и, когда снова их открыл, выглядел совершенно нормально.

— Заходите,— сказал он с живостью.— Рад вас видеть.

Бахметьев сел на стул у койки:

— Как дела? Скоро собираетесь поправляться?

— Насчет поправки пока что слабовато. Завтра утром ждут доктора. То есть не завтра, а, конечно, сегодня,— когда не спишь всю ночь, очень трудно разобратся. — Ярошенко остановился, видимо стараясь вспомнить, о чем он говорил. Наконец вспомнил: — Ну, он отрежет, а там посмотрим.— Заметил, что Бахметьев побледнел, и быстро добавил: — Пустяки. Только до локтя, а она все равно с разбитыми пальцами.

Бахметьев ощутил внезапный приступ тошноты. Здесь, в полутемной каюте, ему стало так страшно, как не было еще ни разу в жизни. Только видеть это Ярошенко отнюдь не следовало, а потому он взял себя в руки.

— Пустяки? — И для большей убедительности сделал удивленное лицо.— Это вы пустяки рассказываете, дорогой товарищ комиссар. Людям ни с того ни с сего руки не режут.

— Ни с того ни с сего не режут,— согласился Ярошенко.— Однако, если нужно, не стесняются, и правильно делают. Это называется ампутация. Имейте в виду — я когда-то был студентом-медиком. Правда, с третьего курса меня забрала полиция, так что лекарь я никакой. Но сейчас у меня тридцать девять и семь, и всю руку раздуло. Не надо быть профессором, чтобы поставить диагноз.

— Диагноз! — всё еще не сдавался Бахметьев.— Наш флагманский врач, к счастью, лучший лекарь, чем вы. Бросьте ваши медицинские рассуждения. Через неделю вы совершенно поправитесь и запросто будете писать...— Решил придумать что-нибудь посмешнее и придумал: — Стихи.

Ярошенко улыбнулся одними глазами.

— Стихи я очень люблю. Особенно Некрасова — от него всегда волнуешься. А писать можно выучиться левой рукой. Говорят, что совсем не трудно... Впрочем, оставим этот разговор. Как вам понравился наш общий друг Малиничев?

— Вы уже слышали?

— Похоже, что мы с вами не ошиблись. А ну его в болото! — Ярошенко отер лоб здоровой рукой и осторожно опустил ее на одеяло.— Что же теперь делается?

Бахметьев встал:

— Теперь мы идем ставить мины. Лобачевский на заградителе «Молога» и я с двумя канонерскими лод-

ками в качестве прикрытия. Когда вернемся, опять к вам зайду.

— Ну, действуйте, — сказал Ярошенко. — Мы с вами непременно победим.

Бахметьев вышел из каюты и надел фуражку. Спокойно и не спеша направился к выходу на верхнюю палубу. За эту ночь он стал на несколько лет старше.

14

Это даже нельзя было назвать усталостью. Это была ноющая, похожая на зубную, боль во всем теле, страшная тяжесть в голове и временами такая слабость, что трудно было пошевелить рукой.

Слушая доклад своего флаг-секретаря, командующий флотилией Плетнев растирал себе виски, маленькими глотками пил холодный чай и все-таки почти ничего не мог понять.

Порт не присылал какого-то обмундирования, и с дровами опять получались нелады. Какая глупость — на сотни верст вокруг сплошные леса, а дров почему-то не хватает. Буксир «Иванушка» в тумане вылез прямо на берег. На нем шел доктор или нет? Кажется, да. Дальше началось что-то совершенно неинтересное о табелях комплектации, и голос флаг-секретаря Мишеньки Козлова, закачавшись, куда-то уплыл.

Нет, засыпать на докладе никак не годилось, и усилием воли Плетнев заставил себя встать.

За окном сплошной пеленой висел косой дождь. Он был очень кстати, потому что скрывал от противника постановку минного заграждения.

— Что слышно о заградительном отряде?

— По донесениям береговых постов, он в восемь пятнадцать уже был на месте и приступил к делу. Канлодки держатся на позиции. Пока больше ничего не известно.

Большие круглые часы над койкой показывали девять пятьдесят. Лобачевский возился непозволительно долго. Уже давно можно было установить не то что двадцать четыре, целую сотню мин образца восьмого года.

— Я выйду на воздух, — сказал Плетнев. — Здесь дышать печем.

Действительно, в каюте синими слоями плавал табачный дым, и в обеих пепельницах на столе громоз-

дились просто невероятные кучи окурков. Неужели он столько выкурил за одну ночь?

— Есть, есть! — лихо ответил Мишенька Козлов и, щелкнув каблуками, не без удовольствия посмотрел на себя в зеркало. — С вашего разрешения я прикажу здесь прибраться и проветрить.

Тоже чудак. На флот попал прямо из реального училища, а держался каким-то гусаром. Противно было смотреть.

На палубе всё же полегчало. Дул порывистый ветер, дождь, шипя, хлестал по черной реке, и водяная пыль отлично освежала лицо. Под навесом спардека, у самой трубы вентилятора, стояло плетеное кресло, на котором можно было отдохнуть.

Но отдохнуть — значит ни о чем не думать или думать о чем-нибудь спокойном, а в голову всё время лезли всё те же тревожные, неблагоприятные мысли.

Минное заграждение. Может, оно было совершенно необходимо — как же без него задержать неизмеримо сильнейшего противника? А может, как раз наоборот — было непростительной глупостью; перебежчики сообщили, что в белых частях на правом берегу готовится восстание. Как поддержишь его, если на дороге стоят свои же собственные мины?

Черт знает как трудно было, не имея решительно никакого военного образования, решать такие вопросы.

— Товарищ командующий! — Это снова был Мишенька Козлов, на этот раз с белым листком телефонограммы в руке. — Пост «Утиный Нос» сообщает, что заградительный отряд в одиннадцать пять закончил постановку и проследовал вверх по реке.

— Ладно.

Значит, заграждение стало совершившимся фактом, и больше о нем думать просто не стоило. Но оставалась еще куча других дел, и среди них путаницы было гораздо больше, чем нужно. Сможет он когда-нибудь с ними справиться или нет?

Его поставили командовать флотилией, но командующий из него получился неважный. Даже в отношении людей он делал самые нелепые ошибки. Взять хотя бы того же Малиничева. Предупреждал ведь Ярошенко, что лучше просто убрать его с флотилии, а он

не поверил. Оставил его в строю, но так неладно это сделал, что только подтолкнул его на измену.

Да, он был совсем неважным командующим, но других Республике брать было неоткуда, и он должен был делать свое дело.

А потому он встал и вернулся к себе в каюту разбираться в объемистой переписке с военным портом по вопросу об организации промежуточных дровяных баз.

Полчаса спустя дали обед. Снова был невеселый суп из воблы с ломтиками сушеной картошки. Снова тянулись нескончаемые разговоры о меновой торговле с деревней.

Потом принесли кашу, именуемую шрапнель, твердую и полуостывшую, и одновременно с мостика доложили о появлении неприятельских аэропланов. Их было всего три штуки, и они всё время держались далеко над правым берегом, так что прерывать из-за них обед не имело смысла.

Наконец подали чай, и разговор, как всегда, переключился на женщин. Странное дело: неужели бывшим господам офицерам больше не о чем было говорить?

Опять пришел рассыльный с мостика. Появилось еще штук двенадцать вражеских аэропланов. Но эти сразу свернули и улетели куда-то на восток,

— Товарищ Козлов!

— Есть!

— Известите сухопутное командование и авиабазу. Кораблям приготовиться к отражению воздушной атаки. Они, может, хотят налететь со стороны солнца.

Солнце, кстати сказать, уже появилось. И зря. Лучше бы шел дождь, тогда никакие аэропланы не налетели бы.

Нет, разве можно было не радоваться солнцу? В окнах, точно ртуть, горела река, яркой, свежевывытой зеленью поднимался лес на противоположном берегу, и прозрачной синевой светилось небо.

Хотелось не двигаться и не отрываясь смотреть на этот обширный и превосходный мир. Думать, что войны больше нет и на обоих берегах реки идет тихая, медленная жизнь. Что вот сейчас можно будет отправиться удить рыбу или просто греться на солнце в маленькой, пахнувшей смолой лодчонке.

Но внезапно где-то вдалеке загремели частые

орудийные выстрелы, и Плетнев встал. Война, к сожалению, еще не кончилась.

Короткий перерыв, новая серия тупых ударов. Так стрелять мог только бомбомет Виккерса, а такой был только на «Командарме». Значит, Бахметьев уже вернулся и вел бой с воздушным противником.

Дверь с треском распахнулась, и в кают-компанию, приплясывая, влетел красный Мишенька Козлов:

— Товарищи, ура! «Командарм» сбил одну машину! Ей-богу, сбил! Пойдемте смотреть! Страшно интересно!

Когда Плетнев поднялся на мостик, большой желтый гидроаэроплан, зарывшись одним крылом в воду, уже сидел на отмели под самым берегом. Полным ходом шел к нему извергавший из трубы клубы черного дыма «Командарм», и по берегу бежали красноармейцы.

— Падал кубарем и только у воды выпрямился,— рассказывал сигнальщик Пишела.— А летчики с него сиганули в воду, а потом в кусты. Потеха!— И вдруг, вздрогнув, совершенно другим голосом закричал:— Товарищ комадующий!

В противоположной стороне, где-то далеко на юге, над лесом быстро выростал чудовищный столб белого дыма. Он закручивался тугими клубами, расползался широким грибом и рос всё выше и выше.

— Взрыв,— сказал Плетнев.— На авиабазе. Товарищ Козлов, узнать по телефону!

Рядом с белым грибом в синеве плавали узкие темные черточки. Это опять были неприятельские аэропланы. Значит, вот что они задумали!

— Так,— сказал Плетнев, вынул из кармана носовой платок и вытер им капли пота со лба.

Тишина на мостике была совершенно невыносимой. Хоть бы бой! Хоть бы налетели остальные аэропланы! Всё легче было бы.

Люди сгрудились кучкой и молча смотрели на белый гриб. Теперь он уже перестал расти, и с краев его свисала гонкая, прозрачная бахрома.

По трапу, задыхаясь, взбежал толстый начальник распорядительной части Бабушкин:

— Где они? Где эта самая сбита машина?

Но никто ему не ответил, и он, растерянно озираясь, почему-то на цыпочках, снова сбежал вниз,

Когда же, наконец, вернется Козлов и что же там, собственно, случилось? Больше стоять на одном месте Плетнев не мог, а потому заложил руки за спину и зашагал взад и вперед по мостику.

Сигнальщик Пишела ни с того ни с сего выругался: — Время забыл записать. Эх!

Плетнев остановился на краю крыла и взглянул вниз. Река по-прежнему текла медленная и равнодушная, мелкой рябью сверкающая на солнце. И внезапно пришла в голову нелепая мысль: вот бы теперь выкупаться!

— Товарищ командующий!

Теперь Мишенька Козлов был совершенно белым. Даже губы у него побелели и стали какого-то сероватого цвета.

— Авиабаза уничтожена. Все машины, всё топливо! Зажигательными бомбами! Теперь там пожар, а они сверху хлещут из пулеметов! — И совсем тихо закончил: — Потом прервалось телефонное сообщение.

— Есть, — ровным голосом ответил Плетнев и сам удивился свосму спокойствию. — Значит, свяжитесь через береговые посты. — Подумал, оглядел реку и так же спокойно закончил: — Семафор дайте начальнику дивизиона лодок. Пусть следует с «Командармом» и «Уборевичем» вверх по течению для оказания помощи. — Еще раз осмотрелся и не спеша спустился с мостика по трапу.

15

Люди сидели прямо на земле, на поваленных деревьях и на обломках разрушенной бомбой бани. Ораторы говорили, стоя на ящике, и слушали их молча, в напряженном внимании. Только раз, когда какой-то вихрастый закричал о порченной вобле и прочих житейских невзгодах, дружно засмеялись и предложили ему убираться.

За ним выступил новый командир «Уборевича», военный моряк Слепень. Прямой и черный на фоне закатного неба, он говорил резким, четким голосом. На авиабазе живьем сгорело двадцать пять человек. Он сам видел их обугленные трупы. Двадцать пять верных боевых товарищей. А почему? Измена. Не иначе как царский холуй Малиничев научил англичан, куда им

бить. Зорче нужно смотреть, чтобы больше таких штук не случилось. И уничтожать. Без пощады уничтожать всякого врага.

Кричали: «Верно!» — и яростно аплодировали, и Бахметьеву стало не по себя. У Слепня было такое же лицо, как тогда ночью.

— При чем тут Малиничев? — на ухо спросил Лобачевский.

— Все равно. Он прав. — И Бахметьев тоже крикнул: — Верно!

— Подлаживаешься, Васька? — прошептал Лобачевский.

— Нет, — ответил Бахметьев. — Я за большевиков.

На ящик вскочил какой-то молодой, еще никому не знакомый моряк. Он бил себя в грудь и выкрикивал слова тонким, срывающимся голосом. Чего ждет командующий? Вперед надо! Одним ударом раскрошить врага, дать ему под зад и вон вышвырнуть со своей земли. Даешь вперед!

Но особого успеха его выступление не имело. Собрание было слишком хорошо осведомлено и всякой болтовней не интересовалось. Так и сказал выступивший на смену молодому оратору старшина-минер Точилин. Он стоял сгорбившись и каждое свое слово подчеркивал сжатой в кулак рукой.

Врага, конечно, нужно было разбить, однако с одного удара это не вышло бы. Так вдруг только баба стреляет, а воевать нужно с толком. Война — дело трудное. Ну, а насчет командования можно не тревожиться. Он с Семеном Плетневым был еще в Электроминной школе и знает: второго такого нет.

Речь его была прервана аплодисментами. Собрание тоже знало Семена Плетнева.

— Дело трудное, — повторил Точилин, когда снова установилась тишина. — А теперь пусть сам командующий расскажет, что делать. Выходи, Семен!

Плетнев не спеша взобрался на ящик и молча оглядел собравшихся.

Наконец заговорил:

— Темно становится. Пора расходиться по кораблям. Я только вот что скажу: враг у нас сильный. К примеру: против одной нашей пушки у него две, да еще с броней. А все-таки мы сильнее, потому что мы боремся за революцию. — Потер рукой подбородок, по-

думал и продолжал: — Значит, сегодня нашу авиацию уничтожил. Машин, собственно, не жалко. Пользы от них было мало. А за людей мы отомстим. Вспомните о них, когда придет время!

— Жди, пока оно придет! — вдруг крикнул тот самый молодой, который требовал немедленного наступления.

— Буду ждать, — спокойно ответил Плетнев, — и тебя, дурака, научу. Так и знай. — Снова остановился и еще раз привычным жестом потер подбородок. — Впрочем, может, нам долго ждать не придется. Вот последняя новость, товарищи: у белых восстала одна из пехотных частей. Повернула винтовки и перебила своих офицеров. Потом форменный бой был, и в конце на нашу сторону перешло около сотни человек с винтовками и пулеметами.

— Здрóрово, — сказал кто-то из сидевших в кругу.

— Конечно, здóрово, — согласился Плетнев. — Только теперь, надо думать, неприятель на нас полезет. На одном месте ему стоять нет расчета. Значит, нам нужно быть готовыми к бою. К решительной борьбе, — и внезапно взмахнул рукой, — за нашу советскую власть!

Несколько человек, вставая, запели «Интернационал», и собрание одной волной поднялось на ноги. Все новые и новые голоса подхватывали пение, и с каждым словом гимн, казалось, рос ширирь и в высоту.

— Митинги и лозунги! — пробормотал Лобачевский, но против своей воли ощутил охвативший его подъем и крепче прижал пальцы к козырьку.

16

— Умеешь по-английски? — спросил Плетнев вошедшего к нему в каюту Бахметьева, и тот отрицательно покачал головой. Он уже знал: одного из неприятельских летчиков поймали в лесу и сейчас вели на допрос к командующему. — Выходит, я зря тебя позвал. Так, что ли?

— Выходит, зря, — согласился Бахметьев, но Плетнев неожиданно подмигнул:

— Скромничаешь. Ты же учился в корпусе. Наверняка с этим англичанином договоришься. — Плетнев почему-то рассмеялся и потер руки. — Я его через окошко видел. У него понятливое лицо.

После всего, что случилось за последние сутки, такое поведение Семёна Плетнева выглядело чрезвычайно странным. Настолько странным, что Бахметьев даже испугался.

— Ты не волнуйся...— начал он, но сразу пришла разгадка.

Дверь каюты распахнулась, и на пороге в желтой кожаной тужурке и авиационном шлеме появился не кто иной, как барон Штейнгель.

— Заходите, — сказал Плетнев. — Милости просим.— И, слегка возвысив голос: — Конвою остаться в коридоре!

Штейнгель тоже сразу узнал Бахметьева:

— Ты здесь?

— Как видишь, — ответил Бахметьев.

— Ты! — И Штейнгель вскинул голову. — Изменник своей родины!

Бахметьев пожал плечами:

— А может, ты изменник?

— Ну вот и заспорили, — вмешался Плетнев. — Садитесь, господин барон, давайте поговорим по-хорошему.

Только тогда Штейнгель его заметил:

— Вы тоже здесь, товарищ большевик? Впрочем, вам здесь и место.

— Самое место, — всё с тем же добродушием подтвердил Плетнев. — Однако садитесь, раз залетели к нам в гости.

— И сяду! — Штейнгель с размаху сел в кресло, заложил ногу на ногу и, вынув портсигар, закурил. — Кстати, кто из вас командующий? Хотелось бы знать.

Он снял шлем, и волосы его на макушке поднялись слипшимся от бриолина хохлом. Вся его бравада выглядела не слишком убедительно. Даже больше — выглядела смешно, и Бахметьев невольно поморщился.

— Я командующий, — сказал Плетнев, подумал и тем же ровным голосом добавил: — А потому вопросы буду задавать я, а не вы.

— Ответов не дожидаетесь!

— Как знать! — И Плетнев повернулся к Бахметьеву: — Герой, а, Вася?

Конечно, Плетнев назвал его по имени не случайно, и это было приятно. Пусть видит барон, как они близки.

— Герой,— поддержал Бахметьев.— Знаешь, Семен, я даже удивляюсь, что такого сбил.

— За хорошую стрельбу получишь сотню папирос высшего сорта.— Плетнев взглянул на Штейнгеля и, усмехнувшись, подпер подбородок рукой.— Между прочим, забавно он попался. Сидел в кустах и, когда увидел английских солдат, вылез. Ну, а тут оказалось, что это совсем не англичане, а перешедшие на нашу сторону белые. Они его и забрали.

— Весело,— сказал Бахметьев, и Штейнгель вздрогнул.

— Дальше еще лучше,— продолжал Плетнев.— Все они русские, а пробуют говорить друг с другом по-английски, потому что барон Штейнгель не хочет показать, кто он такой... Это ему невыгодно, сам понимаешь.

— А разве документов на нем не нашли?

— Никаких. Он всё выбросил. Нашли только один царский рубль. Вот взгляни.— И Плетнев из ящика стола достал смятую желтую кредитку.

Бахметьев взглянул и сразу увидел: подписи — Брут и Плеске и номер — два нуля четыре тысячи семьсот одиннадцать, — совсем как на одеколоне.

— Это рубль Малиничева.

— Ну да! — удивился Плетнев.— Откуда ты знаешь? Объясни.

И Бахметьев объяснил, а заодно рассказал о чудесных свойствах брутловских рублей.

— Вот оно что! — Плетнев откинулся на спинку кресла и заговорил медленно и с расстановкой: — Господину барону эта бумажка, впрочем, особого счастья не принесла. Верно? И Малиничеву, видно, тоже. Наверяд ли бы он ее отдал. Что с ним случилось?

— Он погиб,— не думая, ответил Штейнгель. Ответил потому, что не мог отвести глаз от нового, совсем не такого, как прежде, просто страшного Плетнева. Ответил и почувствовал, что теряет способность сопротивляться.

— Жаль,— сказал Плетнев,— я надеялся, что он вам передаст и план нашего ограбления. После его отъезда мы это ограбление выставили, только на версту пониже.

Теперь Штейнгелю стало совсем плохо. Ведь он сам передал план Малиничева английскому командующему.

— План был передан,— сказал он и удивился, почему говорит.

— Как же он погиб? — спросил Плетнев.

Зайкаясь от волнения, Штейнгель почти в точности передал рапорт капитан-лейтенанта Дальроя. Кончил и вспомнил: это случилось всего лишь несколько часов тому назад. А почему-то казалось, что это было бог знает как давно.

— Дежурный корабль принял катер за плывущую по течению мину,— задумчиво повторил Плетнев.— Это неплохая возможность. Надо будет попытаться.— И неожиданно рассмеялся: — Спасибо, любезный барон. А теперь расскажите нам всё, что знаете о планах мистера Блэра. Кажется, так зовут комфлота англичан?

Штейнгель вдруг вскочил на ноги:

— Отказываюсь! За кого вы меня принимаете? Хоть убейте, ни слова не скажу!

— Это было бы досадно,— совсем тихо проговорил Плетнев, и Штейнгель, чтобы не упасть, схватился за спинку кресла:

— Вы не имеете права угрожать. Я... я эстонский гражданин!

Та самая Эстония, которую он всегда искренно презирал, сейчас казалась ему единственным якорем спасения. Он был иностранным гражданином, и с ним следовало разговаривать полегче. Он даже придал решительное выражение своему лицу и выпрямил грудь, но это ему не помогло.

— Ну и напугали! — Плетнев покачал головой и наклонился вперед.— Слушайте, господин иностранец. Я еще не начал вам угрожать. Садитесь и рассказывайте!

И Штейнгель сел и рассказал.

17

Когда-то с этим самым бароном Штейнгелем он учился в одном классе, а потом вместе с ним служил на минной дивизии. Казалось, что они друзья или, по меньшей мере, приятели. А Семен Плетнев в те годы был совсем чужим, почти враждебным человеком.

Почему всё перевернулось? Почему во время допроса он целиком стоял на стороне Плетнева, а Штейнгель ему был форменным образом противен?

Говорят, за семь лет весь человеческий организм целиком обновляется. Все старые клетки полностью отмирают, и на их месте нарождаются новые. С виду человек всё тот же, а на самом деле совсем иной.

Похоже, что в теперешние времена это происходит значительно быстрее.

Каким страшно далеким стал надутый петух, трус барон Штейнгель! А Лобачевский? Неунывающий, великолепный Борис? Сколько лет подряд был самым лучшим другом, а теперь совсем отошел в сторону.

Кстати, куда он девался? Плетнев хотел потолковать с ним о минах, но нигде не мог его найти. Не иначе как он затеял какое-нибудь очередное мальчишество. Пошел, что ли, к своей пациентке в деревню?

В каюте было даже жарче, чем обычно. Чтобы избавиться от комаров, иллюминатор пришлось закрыть, и теперь не хватало воздуха.

После всех тревожений прошедшего дня спать не хотелось. Следовало бы написать письмо брату Александру, но братья за перо — сил не было. И к тому же в обеих чернильницах высохли чернила.

Бахметьев встал из-за стола. Бориса непременно нужно было найти и представить по начальству. Но где его искать?

Искать его, однако, не пришлось. Дверь распахнулась, и в ней собственной персоной появился Борис Лобачевский.

— Привет тебе, прият невинный, — пропел он и, зацепившись за порог, упал. С трудом снова поднялся на ноги, для верности прислонился к шкафу и пояснил: — Это недоразумение. Идиотская конструкция дверей.

Галстук его был засунут в карман для часов и лицо перемазано бурой грязью.

— Я весел, как птичка, — и, скрестив руки, он, точно крыльями, помахал ладонями. — Может, ты думаешь, я пьян? Ничего подобного. Я даже могу сказать: три четверти четвертого. Видишь!

Бахметьев потемнел. Этого он от Бориса никак не ожидал. Это было просто свинство.

— Как ты мог напиться?

— Напиться? Фи! — Лобачевский сделал возмущенное лицо. — Я только поужинал с моим коллегой —

лекарским помощником. Немножко спирити вини ректификати. Великая вещь — медицина. Да здравствует Гиппо... кажется, страт! — И, взмахнув рукой, снова чуть не упал.

Бахметьев схватил его за плечи и потащил к умывальнику:

— Лицо вымой, скотина!

— Пусти! Безобразие! — Лобачевский упирался, но Бахметьев был сильнее. Всею тяжестью на него навалился, сунул его голову под кран и открыл воду. — Пусти! Варвар! За что? — захлебываясь, жаловался Лобачевский. Всем телом бился, точно пойманная рыба, а потом внезапно обмяк и сел на корточки. Его начало рвать.

Тогда Бахметьев его отпустил, ушел из каюты и закрыл за собой дверь.

Над рекой стояла совершенная тишина. От воды поднимался легкий белый пар, и прозрачная луна висела на бесцветном небе. Сил нет, как всё это надоело. Уехать! Завтра же уехать! К черту, к дьяволу, куда угодно, только бы не видеть ни этой реки, ни этих людей!

Но это было настолько невозможно, что даже мечтать об этом не стоило. Нужно было держаться до самого конца, каков бы он ни был. А пока что — возвращаться в каюту и кончать с Борисом.

Теперь Лобачевский, совершенно мокрый, сидел на стуле и тяжело дышал:

— Что же ты со мной сделал? А?

Голос его уже звучал вполне нормально. Пожалуй, теперь можно было с ним поговорить всерьез.

Бахметьев открыл шкаф и достал свою новую туфурку:

— Переодевайся, Борис. Сейчас в штаб пойдем.

— Зачем в штаб? — запротестовал Лобачевский. — Я же спать хочу.

— Слушай, — и Бахметьев положил ему руку на плечо. — Идти надо. Завтра англичане атакуют. Это барон рассказал. Нужно срочно готовить мины.

Лобачевский, шатаясь, встал:

— Пойми же, я не могу! Нельзя, чтобы видели. Особенно Плетнев. Ведь из этого ужас что выйдет!

Пьянство на фронте немного лучше измены, а большевики — народ беспощадный, и Борис все-таки был

старым товарищем по корпусу, а крепче этого товарищества — нет.

Пять лет подряд рядом сидели в классе и рядом стояли в строю. Вместе воевали с начальством, вместе проделывали самые рискованные дела и, чтобы спасти свою жизнь, друг друга бы не выдали. Как же выдавать его теперь?

Но с другой стороны: как же быть с минами?

— Думаешь, я это от радости? — ослабевшим голосом продолжал Лобачевский. — Я растерялся. Совсем растерялся. Служить я согласен, но лезть в политику не желаю. А вот приходится. Понимаешь?

Бахметьев не ответил. Он всё еще не мог решить мучившего его вопроса, и Лобачевский снова заговорил:

— Малиничев был сволочью. Бежать к неприятелю я не способен. Меня так не учили. Но оставаться здесь тоже невозможно. Совершенно невозможно... Сперва этот митинг, а потом еще привели барона. Может, он дурак и всё что хочешь, но ведь он нашего выпуска.

Бахметьев всё еще молчал.

— Я не знаю, куда мне идти, — почти шепотом сказал Лобачевский и еще тише повторил: — Я не знаю, куда мне идти.

— Идем в штаб, — наконец решил Бахметьев. — Ничего не попишешь, Борис. Идем, я буду вместе с тобой.

18

Чтобы мина заграждения образца восьмого года, не погружаясь в воду, стала опасной, нужно до сбрасывания замкнуть ее предохранитель. Но как тогда ее сбрасывать?

Чтобы она плыла, но вместе с тем не слишком высовывалась над поверхностью и не бросалась бы в глаза, к ней следует подвесить какой-нибудь груз. Но сколько дать этого груза, чтобы она все-таки не утонула?

Плетнев на Лобачевского взглянул только один раз, а потом разговаривал опустив глаза.

Бахметьев попросил разрешения остаться помочь. Он когда-то тоже был минером и интересовался всякими изобретениями. Плетнев сказал:

— Оставайся!

Лобачевский вспотел и выпил полграфина воды, но объема мины вычислить не смог. За него это проделал Бахметьев. Потом все втроем подсчитывали веса.

Наконец, тоже втроем, с флагманского корабля переправились на минную баржу номер два, подняли на ноги всех минеров и взялись за работу.

Кончили на рассвете. Приготовили восемь штук и передали их на «Мологу».

Так же не глядя Плетнев распрощался, а Лобачевский сказал Бахметьеву:

— Теперь я всё сделаю. Понимаешь — всё!

В ту же ночь запоздавший из-за тумана флагманский врач отнял руку комиссару Ярошенке. Когда Бахметьев пришел к нему в каюту, Ярошенко был в сознании и улыбался, но говорить не мог.

В шесть тридцать было собрание всех командиров кораблей и разбор предстоявшего боя. Закончилось оно в восемь двадцать, а ровно в девять началась атака противника.

Плетнев стоял рядом с Бахметьевым на мостике канонерской лодки «Командарм» и за всё время боя отдал не больше пяти приказаний — ровно столько, сколько требовалось.

Конечно, снова налетала неприятельская авиация, однако на этот раз она держалась на большой высоте и никакого вреда не принесла. Потом появились тральщики, но красные канлодки отогнали их своим огнем.

— Не пора ли... — начал Бахметьев, и Плетнев, не дав ему договорить, кивнул головой.

По сигналу «Молога» вышла вперед и, пересекая реку, стала сбрасывать в воду большие черные шары.

Предохранители были замкнуты. В любой момент любой из этих шаров мог разорваться столбом пламени и дыма, в мелкие клочья разнести всю корму «Мологи» и всех, кто на ней стоял.

Бахметьев до боли стиснул пальцами бинокль. У самого ската, перевесившись за борт, стоял Борис Лобачевский. Он выполнял свое обещание.

И, выполнив его, сбросив все свои мины, снова прорезал строй канонерских лодок и ушел вверх по течению.

Только тогда появились вышедшие на поддержку своих тральщиков броненосные мониторы противника. Первый же их залп лег накрытием — высокими всплес-

ками по обоим бортам «Командарма», а один из снарядов второго залпа ударил по крылу мостика и по дровам на палубе, но чудом не разорвался.

Третий залп мог бы решить судьбу боя, но этого третьего залпа не было. Головной монитор внезапно скрылся за огромным водяным столбом, и, когда столб опал, на поверхности остались только серые, оседавшие всё ниже и ниже надстройки.

— На заграждения, — сказал Бахметьев, и Плетнев снова кивнул головой.

Сразу же оба оставшихся противника повернули вниз, и на их место снова вышли тральщики.

Теперь отогнать их было труднее. Мониторы всё время поддерживали огонь, а сзади из-за косы стреляли еще какие-то корабли. От удачного попадания «Робеспьер» загорелся и, круто отвернув, столкнулся с «Беднотой». Потом на «Командарме» внезапно исчезла труба, и черные клубы дыма повалили прямо на мостик.

Но, когда ветром отнесло их в сторону, стало видно, что у противника вместо четырех тральщиков осталось только три. Скорее всего, это сделала одна из пловших по течению мин, потому что оставшиеся тральщики яростно стреляли по воде.

Мониторы уже скрылись за поворотом реки, и тральщики, всё еще стреляя, уходили полным ходом. Последний залп противника лег недолетом, и в ответ ему прогремели последние выстрелы красной флотилии. Дело было сделано.

— С победой! — сказал Бахметьев, и Плетнев в третий раз кивнул головой.

Поход „Революции“

РАССКАЗ

1

— Военных действий я не люблю. Они всегда сопряжены с неудобствами, а иногда с неприятностями.— Шурка Сейберт потрянул беловолосой головой и сморщился.— Я люблю черный кофе, только его теперь нет. Люблю петь, сидя в ванне.— И, рванув струны гитары, вдруг запел:

Если хочешь рай земной,
Непременно будь со мной!
Со мной, моя родн-а-я
И дорог-а-я.

Припев подхватили баритон флагманского минера, мальчишеский альт его жены Клавочки и честный пьяный хрип командира «Костромы» Васильева.

В слоеном дыму четырьмя языками огня качалась бензиновая горелка, и от нее по белым переборкам ползли многоголовые синие тени.

У Клавочки были тугие золотые кудри, а под ними на висках тоненькие жилки. Она любила свой профиль. Она догадывалась о причине Шуркиного красноречия и, конечно, была довольна.

Глеб Пестовский, ее муж, тоже был доволен: мягкостью своего голоса, прекрасной должностью флагманского минера, крутой теплотой пахнущего мылом чая, женой и вообще жизнью.

Жизнь была великолепна. На «Костроме» эвакуировались семьи комсостава флотилии. Тихо визжала во сне свинья, а в другом конце кают-компания непрерывно гудел примус. Дети спали, привычные к бомбардировке с аэропланов и Шуркиной гитаре.

Если хочешь, обниму,
Приходи на «Кострому»,
Ко мне, моя родн-а-я
И дорог-а-я, —

пел Сейберт.

— Нет,— вдруг заревел командир,— не позволю! Это мой корабль!

— Паршивый корабль! А впрочем, выпьем за всякие корабли,— быстро подхватил Сейберт.— Они способны передвигаться по водной поверхности, и без них нам пришлось бы на животе плыть из Мариуполя, прямо через минные поля. Выпьем! — И взмахнул стаканом чая.

— Минные поля? — Флагманский минер улыбнулся. Это его поля, он их возделывал заградителями и полотральщиками. На них выращивал гигантский круглый овощ — неизбежную подводную смерть.— Минные поля — это только моральный эффект, рвутся на них редко, а на животе можно их переплыть запросто, — сказал он.

— Я, кажется, начну ревновать Глеба к его минам, — капризным голосом, но со смехом в глазах протянула Клавочка.— Чем они ему нравятся? Круглые, толстые, вот такие.— И для большей убедительности Клавочка надула щеки.

— Толстые, но добродушные,— подхватил флагманский минер, и Клавочка радостно вспыхнула. Такое отношение к опасности ей нравилось. Ей было приятно, что она его разделяет.

— Мины — сплошная мерзость! Вредоносное изобретение! Я люблю изобретать полезные вещи. Вот! — Сейберт схватил горелку и очертил в дыму огненную дугу.

— Стазь на место, молодой! Пароход сожжешь, — прохрипел командир «Костромы».

— Она состоит из срезанной сорокасемимиллиметровой гильзы с впаянной медной крышкой, трубки с фитилем и колпачка с четырьмя отверстиями, изготовленного из никелевой оболочки пули. Бензин всасывается фитилем и поступает в разогретый на спичке колпачок.

— Внизу! — перебил его новый голос. Он шел сверху, из светлого люка, где в облаках, похожих на иконописные, обрисовалась чернобородая голова вахтенного.

— Есть внизу, — пропел Сейберт.

— Товарищей флагманского минера и начальника с истребителей товарища Сейберта — в штаб.

Флагманский минер вздрогнул. Вставать с мягкого тюка и идти в штаб очень не хотелось. Там опять что-нибудь придумали.

— Надо двигаться, — решительно сказал он. — Служба, — и с трудом встал.

— Служба, — так же твердо сказал начальник дивизиона истребителей и вздохнул еще более шумно. — Спокойной ночи, дорогие граждане! Как совершенно правильно заметил мой старший товарищ, двигаться нам необходимо. Итак, храните мою гитару, пока я на поверхности, а когда я уйду на дно, насыпьте ее песком и киньте в мою жидкую могилу.

— Ползи, ползи, не разговаривай, — озабоченно пробормотал флагманский минер.

— Я не ползу — я лечу. Что передать высшему начальству, граждане?

— Скажи, чтобы больше не эвакуировались! — отозвалась мать комиссара штаба. — Всё белее из-за них мокрым везу! Некогда им думать. Постирала, а посушить не дали.

— Так и скажу, мамаша. — И начальник дивизиона одним прыжком вскочил на середину трапа. Этому начальнику было двадцать четыре года.

2

Колесные пароходы стояли рядом. Первый от стенки — «Кострома». На втором — в салоне красного дерева и красного бархата — штаб. На столах стаканы холодного чая, корки хлеба и развернутые, исчерченные карандашной прокладкой карты. Под столами окурки; самая большая и аккуратная кучка у ног командующего.

— По нашим сведениям... Садитесь, товарищи, — тихо проговорил он. — По нашим сведениям, неприятель выставил мины у Кривой косы. Как раз в том районе, где мы полагаем принять бой, — и ногтем очертил на карте овал. — Для маневрирования необходимо протралить фарватер. А тральщиков нет... Что предложите делать?

— Тральщики, — коротко ответил начальник дивизиона истребителей.

— Я затрудняюсь... — начал флагманский минер.

— А ты не затрудняйся. Возьми с моего дивизиона катерные тралы. Их у меня четыре штуки, и мне они ни к чему. Поставь их на любую посудину и траль.

— По нашим сведениям,— продолжал тихий голос,— неприятельские мины поставлены на четыре фута. Мелкосидящих судов во флотилии нет. Кроме истребителей, конечно, но они траления не выдержат.

— Значит, поставим тралы на «Коцебу» и «Революцию»,— сказал Сейберт.— Их не жалко.

— Осадка футов восемь,— вслух подумал командующий,— верная смерть,— и от недокуренной папиросы прикурил новую.

Громко шипела труба парового отопления. В соседней каюте писарь в нос диктовал телефонограмму штаб-базы. Диктовал медленно и долго.

— Все равно,— очнулся командующий.— Другого выхода нет. Товарищ Пестовский?

«Трал на восемь футов, днище тоже на восемь, а мины на четыре. Столько же шансов взять тралом, как и днищем. А Клабочка? — В глазах потемнело.— На четыре фута от поверхности. Уйти и не вернуться. Оставить ее одну. Нет, невозможно». И кажется, что даже взрыв легче этой тишины,— в ней нельзя дышать. Неужели это страх?

— Другого выхода нет,— где-то вдали звучит голос Сейберта.

Да, это страх, даже больше: это предчувствие неизбежной смерти.

— Истребители, конечно, не годны, пусть отдохнут,— глухо говорил Сейберт.— Но сам я, может быть, годен. Если разрешите, пойду.

— Товарищ Пестовский?

— Я приму меры к срочной установке тралов! — как мог быстрее выговорил и медленно стал краснеть.

— Хорошо, Сейберт. Пойдете вы. Вы годны.— И еще тише: — Жаль, что вы не мой сын.

Наверху была темнота. Огни на судах и в городе были закрыты. Могли налететь неприятельские аэропланы. Наверху была совершенная тишина. В такой тишине слышно, как бьется сердце.

— Ты дурак,— вдруг сказал Пестовский.— Это верная смерть. Пойди откажись.— Сказал, и на минуту полегчало. Но сразу же ожгла мысль: «Отказаться он не может, и ты это знаешь. Ты — трус».

— Что ж, дуракам бывает счастье!.. Привет Клавдии Васильевне.— Сейберт улыбнулся.— Кстати, пришли мне двух минеров, Глеб.

3

Перед рассветом вдруг темнеет. Гаснут звезды, расплываются предметы и стираются расстояния. Медленно поднимает и кренит палубу невидимая волна. От всего этого становится нехорошо, и тогда следует взглянуть в компас.

Картушка тускло освещена электрической лампочкой и вполне реальна. Она сообщает уверенность. Действительно, против носовой черты качается цифра 223,— курс верен.

— Люди легко становятся красными, а потом белыми. И снова красными. Я не про махновцев. Я недавно видел одно лицо старшего комсостава, быстро менявшее окраску.

Никита Веткин промолчал. Он слишком долго был комиссаром при Сейберте, чтобы удивляться. Он стоял спиной к рубке, расставив ноги и глубоко заправив рукава бушлата в карманы, и не мигая смотрел вперед.

— Жаль, что люди никогда не становятся зелеными. Или хоть желтыми.

— Бывает желтуха,— сказал Веткин.

— И не то чтобы он был трусом. Наоборот,— не слушая, продолжал Сейберт.— Кстати, команда «Коцебу» со страху икру мечет. Пойду я тралить с ними, а ты оставайся, так сказать, на страже «Революции».

Место комиссара — при начальнике. Или нет: место комиссара там, где он нужен. Сейберт надежен, а комачда водников — черт ее знает! Своих только трое.

— Ладно, начальник!

Когда рассвело, впереди увидели голубой полосой Кривую косу. Опробовали болты на тральных лебедках и приготовились спускать тралы.

4

— Оснований для паники нет! — Сейберт оглядел команду «Коцебу» и улыбнулся. Все признаки налицо: не дышат, избегают смотреть в глаза и жмутся к бор-

ту.— Мин мы не ищем. Наше дело проверить, что всё чисто, и обставить фарватер вешками. Ничего сверхъестественного. Прошу развеселиться.

— А если наткнемся? — спросил сзади высокий голос.

— Когда наткнемся, скажешь. Я что-нибудь придумаю.

Два тонких стальных троса, дрожа, тянулись от лебедки. На них пернатые буйки — слева желтый и справа красный — идут, зарываясь в волну и выбрасываясь вверх. Между буйками трал.

Курс — чистый вест. Если буйки начнут сходиться — значит, трал забрал. А если заберет не трал, а корпус?

У Клавочки чудесные глаза. Такие веселые, когда Глеб фамильярничаёт со взрывчатыми веществами. Добродушные мины — неплохо придумано. А вот говорят еще: он скорчил кислую мину. Кислая мина — это совсем смешно.

— Лево руля. Курс 210. Семафор на «Революцию»: на повороте не выходить из-под прикрытия моего трала!

— Есть на румбе!

— Вешку!

— Есть вешка. — И красный шест с крестовиной гулко шлепнулся в воду.

Буйки прочертили дугу и снова пошли прямо, звеня стальными тросами и фыркая пеной. Где-то под ними напряженный тонкий трал режет толщу воды. Может быть, он что-нибудь встретит. Кстати, о взрывчатых веществах: в мине восемь пудов тротила и все восемь рвутся сразу.

Клавочка — великолепный товарищ. Иначе думать о ней нельзя, она — жена Глеба... Буйки сходятся!

— Малый ход. «Революции» застопорить машины. — Сейберт оттолкнул серого, как брезент, капитана и медленно сошел с трапа. У толстяков нежная кожа. Когда они дрожат, по ней идет рябь, как от шквала. Надо его успокоить. — Капитан, распорядись чайком!

И капитан сразу вздохнул, а у боцмана, охватившего леер, разжались пальцы.

Левый буюк вдруг зарылся и сверкающей желтой грушей выскочил далеко в стороне. Значит, трал с него отдался и теперь пересучивается по минрепу. Когда

подведет к нему патрон — мину срежет. Всё в порядке.

В порядке? Мины никогда не ставят по одной на квадратную милю. Где соседняя? Все равно, надо идти вперед, потому что разворачиваться еще хуже.

От большой тяжести скрипит на барабанах мокрый трос, но мины нет, и патрон не рвется. Почему? Сейберт перегнулся через поручень и вдруг увидел: на трале широким треугольником встает сеть, и в ней бьется рыба. Здорово!

— Панику отставить! Будет уха! — точно скомандовал Сейберт. — Подняли рыбачью сеть. Никаких мин не наблюдается.

И люди сразу заметили, что могут говорить полным голосом.

Рыба, сверкая, летела из сети на палубу, и солнце светило по-новому. Казалось, что именно затем сюда и пришли. Что это новейший, самый веселый и простой способ рыбной ловли.

Но лучший осетр был туго замотан сетью. Он тихо вздрагивал, и в его животе торчал согнутый палец патрона.

— Великолепный зверь, — вздохнул Сейберт.

— Чека срезана, товарищ начальник, — озабоченно проговорил минер. Ему тоже жаль было упускать осетра, но если срезана предохранительная чека, патрон может рвануть.

— Боишься, Пинчук?

Минер улыбнулся и показал зубы величиной с ногти. Он не боялся.

Сейберт почесал переносицу. Фунт пироксилину — не фунт дыму. Можно сильно попортиться... Но где достать такого осетра!

— Ножницы и напильник. Какие ножницы? Все равно какие, а лучше всего маникюрные. — Несмотря на холод, Сейберт снял бушлат и засучил рукава тужурки. — Лишние, в нос! Любуйтесь издали!

Пинчук медленно пилил трал трехгранным напильником, а Сейберт ножницами простригал брюхо осетра — рискованная хирургия рядом с патроном. Только бы не дернулся осетр! Но умная рыба понимала и терпела. Через три минуты патрон полетел за борт и громко разорвался об воду.

— Арестовать тебя следовало бы, начальник, за недопустимое обращение с взрывчатым веществом, — с полным ртом промычал комиссар Веткин за ужином на «Революции», — однако осетр хорош!

На западе над черной косой замигал огонь. Второй ответил с юга, быстро отсверкал короткую фразу и пропал. На его месте остался еле заметный красный отсвет, а если взглянуть в бинокль — четыре снопа искр.

— Миноносец, — сказал Сейберт, опуская бинокль. — Больше никто таких факелов не даст. Четырехтрубный, значит типа «Жаркий», а факелы оттого, что торопится или плохне кочегары.

Красных миноносцев на Азовском море нет. Никита Веткин из записной книжки вынул листок папиросной бумаги и при свете компасной лампочки осторожно стал насыпать табак. Скрутив, нагнулся, — надо спрятать вспышку спички за брезентовым обвесом мостика. Закурил и выпрямился.

— Пустяки, уйдем, — сказал Сейберт. — Он нас не видел, а зря сюда не сунется. Должен думать, что здесь наши заграждения. — И снова поднял бинокль: в круглом поле чернота, красный отблеск на воде, четыре факела миноносца — и вдруг вспышка. Серия точек, три точки, тире — вызов, ноль добро, ноль добро, потом какая-то шифрованная бессмыслица. Потом снова темнота.

В темноте висит сосредоточенное, полуосвещенное лицо рулевого. Он не думает ни о чем, кроме своей картушки. Сейчас столько же шансов напороться, как и днем, но команда не видит тралов и забыла о минах. Тем лучше, — и Никита Веткин затянулся горьким дымом.

— Когда дотралим, начальник?

— Своевременно или несколько позже, — ответил Сейберт. — Лучше скажи, почему ты не женат?

Комиссар промолчал. Разве можно об этом говорить? Об этом и думать некогда.

Миноносец ходит двадцать пять узлов против их пяти. Две трёхдюймовки против двух револьверов.

— Слушай,— с другого крыла мостика заговорил Сейберт.— Жена командира «Смелого» на истребителе родила двойню. Это когда эвакуировались. Ее за пять минут до ухода флота вытащили из больницы и всунули в каюту «Смелого». Знаешь какая там каюта? Гроб средней величины. И ничего, разрешилась благополучно.— Сейберт снова подошел к Веткину и, прижав бинсгль к глазам, закончил:— Мальчики. Должны вырасти хорошими ребятами... Жаль, что вы не мой сын... Так он сказал?..

— Кто?

Но Сейберт не ответил.

7

Размеренно шлепают широкие колеса, и медленно плывет навстречу густая вода. В ней могут быть большие круглые предметы. Они стоят на якорях и ждут. А вода черная и неподвижная, как то, что будет после взрыва.

Нет, не страшно, только немного трудно. И почему-то жаль Клавочку. Теперь можно думать о ней по-настоящему, потому что каждая минута может стать последней. Потому, что минута и мина— слова одного корня. Имена мгновенной смерти.

Снизу толчок и глухой удар. И сразу яростный свист пара, смешанный с пронзительно лающим воплем. Толстый человек в одном белье вылетел за борт и белым пятном шлепнулся в воду.

— Взорвались! — заревел рулевой.

— Чудак,— сказал Сейберт.— Если б взорвались, летели бы по воздуху, а то стоим на мостике.— И, перегнувшись, крикнул вниз:— Что у вас случилось?

— Ничего не случилось, товарищ начальник,— доложил невидимый боцман,— только магистраль прорвало, и смазчик ошпарило, и капитан за бортом.

8

— Я думал— мина,— признался вытасченный из воды капитан.— Выпрыгнул прямо из койки.

Он стоял грузный и блестящий, с облепившими шизкий лоб черными волосами. Дрожал от воды и хму-

рого взгляда комиссара и, точно огромная рыба, тяжело дышал белым животом.

Но комиссар вдруг рассмеялся и отошел к борту.

— Водник. Чуть что — в воду прыгаешь, потому так и называешься, — сказал комиссар.

Колеса замерли. «Революция» стояла точно впаянная в гладкую темную воду. Над палубой тонкий пар, на палубе тени людей, а кругом пустота, потому что «Коцебу» исчез. Только слышно, как где-то шлепают его колеса. Он шел сзади, и если не подошел к борту, то потому, что заметил аварию и струсил. Куда он теперь уйдет?

— Будет идти вслепую, пока не вылезет на берег. Море — это не тарелка, а он со страху зажмурился, — сказал Сейберт. — Вот какие дела, комиссар. Машина, как тебе известно, без пара не действует. Пар без магистрали в машину не подашь. Магистраль без завода, пожалуй, не починишь. Словом — чепуха.

— Сволочи! — отозвался Веткин.

Отдали якорь.

9

В три часа Веткин явился на мостик сменять Сейберта, собиравшегося спать в рулевой будке. Говорили о дальнейшем.

Магистраль была сильно разворочена. Настолько сильно, что механик не знал, сумеет ли ее починить. Значит, своим ходом отсюда не уйти, а уходить, пожалуй, следовало: могли появиться белые. В два сорок на западе наблюдался длинный разговор клотиковой лампой. Может быть, они поймали «Коцебу» и от него узнали, где «Революция».

На юге у Сазальника должна стоять своя дежурная канонерка. С норда задул свежий ветер. Что, если рискнуть сняться с якоря и дрейфовать на юг.

Мины не хуже того, что будет на палубе белого миноносца. Вызвали команду, выбрали якорь и приспособили на мачте брезент вроде паруса. Если всё сойдет благополучно, вынесет к Сазальнику. Обе головы лениво думали, склонившись над картой. Провизии только на три дня, — следовательно, надо выпить чаю. Думали обо всем, кроме мин. Мины надели.

Сигнальщик принес чай на мостик. Сахар и хлеб в ящике для карт.

Сейберт осторожно взял обжигавшую жестяную кружку, но сразу же поставил ее на ящик: с кормы в море появился длинный низкий силуэт.

— Миноносец! — ахнул сигнальщик.

Никита Веткин по привычке сунул руку в карман за табаком, но вдруг нащупал браунинг.

Миноносец бесшумно прошел вправо и расплылся в темноте. Может, показалось? Нет, высоко в небе замелькал огонь. Миноносец заговорил — значит, заметил.

— Ноль зёмля, — прочитал сигнальщик. — Наверно, ихний опознавательный. Что отвечать? — И взял ручной фонарь.

— Пиши: «Чай»! — быстро сказал Сейберт, и фонарь вспыхнул.

Миноносец отсверкал: «Ясно вижу» — и почему-то замолчал. Потом была темнота и тягостное ожидание. Потом Никита Веткин вынул из кармана руку. В ней был табак и бумага.

Миноносец удовлетворился ответом. Противники говорят на одном языке и почти по одному своду. А слово «чай»... Может, у них что-нибудь и значит. Вот и договорились.

— Хвала чаю, — сказал Сейберт, беря остывшую кружку.

10

Ветер свежел. Когда судно без хода, его болтает совершенно невыносимо. Садит кормой и кладет на борт, потом перекладывает на другой борт и зарывает носом в грязную пену. От такой толчеи болит голова.

Была плохая видимость, низкие тучи и пустое море. В западной стороне горизонта дым: может, «Коцебу», а может, и белые.

— Пойду я в машину, — сказал Веткин. — Надо заштопать трубу. Здешний механик, кажется, из дураков.

— Серый, как штаны пожарного, этот механик. Ровно ничего не понимает, — согласился Сейберт. — Чему будешь его обучать, комиссар?

— Механик мне ни к чему. Сам я, думаешь, кто та-

кой? Я вот про тебя знаю, что до революции ты ножками шаркал, а что ты про меня знаешь?

— Водопроводчик. Ватеры чинил,— не задумываясь ответил Сейберт.

— Слесарь я. Шесть лет паровозы в Брянске строил, а ты...— Веткин не докончил, махнул рукой и ушел переодеваться в рабочее платье, которое занял у обваренного смазчика.

Мин здесь быть не должно, но могут появиться разные корабли,— одному из двоих следовало оставаться наверху. Можно и в рулевой рубке: через большие стекла всё видно и не холодно. В рубке Сейберт расставил свое парусиновое кресло. Старое, дважды поломанное и починенное, с заштопанной и засаленной парусиной, купленное на Волге за коробку зефира и сопутствовавшее ему во всех его походах.

Откинувшись на спинку, он вслух читал лоцию Черного и Азовского морей. Вслух, чтобы наслаждаться своим голосом,— в рубке он был один. Дочитал до конца главы, осмотрел помещение, в нактоузе обнаружил распухшую колоду карт и на полке разложил пасьянс. Пасьянс не вышел, тогда со вздохом он снова сел в кресло и стал сочинять веселые, но неприличные стишки. Постепенно темнело. В двадцать часов на зюйд-весте вспыхнул прожектор. Он светил только в востовую четверть и не мог быть неприятельским.

— Сазальник,— сказал Сейберт.— Дальше дрейфовать не следует — берег. Отдадим якорь и ляжем спать. Аминь.

11

Утром открылся берег, слева расплывшийся в тумане, а справа срезанный мысом Сазальник. Дежурной канлодки не оказалось. Пустое море и редкий холодный дождь.

Следовало исправить повреждение в машине, иначе не уйти. И следовало спешить. Наверху делать было нечего. Сейберт спустился к Веткину.

У Никиты Веткина были тугие мышцы, блестящие от пота и машинного масла. Он держал клещами стальное кольцо, которое механик обтачивал напильником. Крепкие тиски вышли из комиссара, кольцо висит в воз-

духе, а комиссар спокойно смотрит светлыми глазами и ровно дышит.

Инструмента не было,— было упорство и изобретательность. Изобретал Сейберт: паяльную лампу — из примуса, набивку сальника — из рабочих брюк с суриком и много другого. Потом стягивали фланец. Оборвали и пожгли руки, но кончили ремонт за двое суток. И было пора, потому что хлеб тоже кончился.

— Слушай,— наутро сказал Сейберт. Он и Веткин пили чай, закусывая последними остатками вареной рыбы.— Я научу тебя довольствоваться малым. Это рецепт бывшей дамы, которая узнала, что счастье — понятие относительное. Надо насыпать соли в папиросную бумагу, свернуть пилюлей и проглотить. И одновременно ставить чайник на примус. Соль действует через полчаса. К этому времени даже морковный чай настоится. Нет высшего наслаждения, как пить совершенно пустой чай, когда очень хочется пить. А если много выпьешь — в животе бывает теплота и даже сытость.

— Товарищ начальник, «Коцебу»! — закричал наверху вахтенный.

«Коцебу» шел от зюйд-веста малым ходом, посевший от усталости и долгого смертельного страха. Он, видимо, не смел без «Революции» возвращаться в Таганрог, блуждал по морю между белыми минами и теперь наконец спасся. Он даже затрубил от облегчения, но гудок вышел неуверенным кашлем.

— Лучше пусть он нас ведет. Черт его знает, наш сальник,— сказал Веткин,— Жаль, что столько копались с трубой.

— Сигнальщик! — крикнул Сейберт. — Семафор на «Коцебу»: стать в полкабельтове от нас на ветер. Приготовиться подать буксир.

На мостике «Коцебу» сигнальщик не спеша водил красным флажком по обвесу. Потом взмахнул им, точно взлегая,— семафор принят. Прозвенел машинный телеграф, и корма медленно покатила вправо. Потом загрохотал якорный канат,— поход кончен.

Пена под колесами на заднем ходу, грязный, с потеками, корпус, тонкий дым из трубы камбуза, команда на корме у бухты буксирного конца и высокая фигура капитана на кожухе левого колеса. Всё отчетливо, близко и вещественно.

И сразу другое. Столб горячей воды и черного дыма. В лицо ударила волна упругого воздуха и грома. Когда снова можно было смотреть, столб опадая, оторванная корма высоко висела в воздухе, а вода хлестала всплесками от осколков. Море выгнулось и тяжелой пеной обрушилось на «Революцию». Больше смотреть нельзя.

12-

«8.40, — написал Сейберт. — Тральщик «Коцебу» пришел с моря и, становясь на якорь, подорвался на mine. Тральщик затонул на трехсаженной глубине. Выяснить подробности его отдельного похода путем опроса единственного спасенного минера Пинчука не удалось, так как спасенный всё время находился в полубессознательном состоянии и вскоре скончался от тяжелых ранений, полученных при взрыве».

— Всё просил его вымыть, — тихо сказал Веткин. — Обмой, — говорит, мне наружность. Обмой, обмой, у меня жена в Таганроге. Нельзя таким показываться.

— Его убил я, — сказал Сейберт и положил ручку. У него дергалась щека. — Его и всех остальных. Это я приказал «Коцебу» становиться...

— Его убил контрреволюция! Успокойся, дурак!

В распахнувшейся двери стоял капитан. Он задыхался.

— Мы не пойдем! Товарищ комиссар, товарищ начальник, мы не пойдем! Вся команда наверху! Мы не пойдем! Надо на берег, мы спустим шлюпку.

— Отлично, — ответил Сейберт и встал.

Вся команда была наверху. Минер Грачев и сигнальщик Нексе спиной к шлюпке, — они — военные моряки. Против них все остальные. Напирают кучей и тяжело дышат.

— Дорогие товарищи! — Голос Сейберта зазвучал негромко и почти печально. — Я предложил бы разойтись по местам. Через час будет пар, и мы снимемся. Пойдем в Таганрог. Может быть, не взорвемся.

«До чего странно! — подумал Веткин. — Ведь только что чуть не плакал. Посмотрим, что дальше», — и глубоко засунул обе руки в карманы...

— Тогда вы вернетесь домой, — продолжал Сей-

берт.— А если не станете по местам — не вернетесь.— И вынул кольт.

Через час снялись с якоря и легли на Таганрог. Над местом гибели «Коцебу» поставили вешку.

13

— Рапорт в письменной форме, если разрешите, представлю завтра.

— Можно, — согласился командующий. — Торопиться некуда.

Он был в том же салоне красного дерева. Тот же дымный воздух и холодный чай на столе. И те же кучи окурков.

— На первом фарватере можно принять бой. Мы его обвеховали.

Хотелось сказать что-то, но что именно, Сейберт забыл.

— Боя не будет, — сказал командующий. — Белые отошли за Мариуполь. Идите спать, Сейберт.

Боя не будет — тем лучше. Надо идти к Пестовским, там чай и гитара, — от этого пройдет усталость. Хорошо, что пошел он, а не Глеб: побил с Глеба спеси, и оба целы.

— Пойду на «Кострому».

— «Костромы» нет, — сказал кто-то, — расформирована. Семьи на берегу, а пароход отдан в дивизион тральщиков.

— Тогда к Пестовским. Где они живут? — И с трудом встал. На подбородке рыжая щетина, это неловко, но Клавочка не осудит. Даже героический вид, а увидеть Клавочку необходимо. И вдруг заметил, что все молчат, а горелка шипит, совсем как тогда, перед походом. Только теперь болят плечи и дым плывет в глазах.

— Странно, — тихо сказал командующий.

Действительно, странно, но что именно странно, Сейберт понять не мог.

— Пестовский умер от эпидемической желтухи, — сказал Григорьев, новый флагманский минер. — У нас такая болезнь. Умирают в три дня.

— А Клавдия Васильевна?

— Уехала.

— Одна? — Сейберт схватился за стул. Как могли они ее отпустить? Она совсем ребенок.

— Нет, не одна, — издали сказал командующий. — С портовым механиком Поповым. Идите спать, Сейберт.

Кают-компания «Костромы», узкое лицо с золотыми кудрями. Горелка, гитара и примус — всё так близко и отчетливо. И вдруг столб огня и воды, оторванная рука Пинчука. «Обмой мне наружность». А тех на «Революции» он сам расстрелял бы... Клавочка? Но разве можно думать о любовном и разве смерть одного страшней всех других смертей?

— Безразлично, — сказал он вдруг.

— Идите спать, Сейберт, — еле слышно повторил командующий.

— Есть. Иду спать. — Повернулся и на негнущихся ногах пошел к страшно далекой двери.

Рассвет

РАССКАЗ

Штаб действующей эскадры Черного моря

«... 1921 г. рейд Севастополь.
Командиру п/х «Владимир»

С получением сего вам предлагается принять полные запасы угля и продовольствия для двухнедельного пехода и поступить в распоряжение председателя комиссии Судоподъема инж.-мех. Г. Болотова, каковая комиссия, для вашего сведения, состоит из четырех членов.

Флаг-капитан по оперативной части:
Комиссар:

1

Каковая комиссия, для вашего сведения... По-видимому, мой хитрый флаг-секретарь хотел намекнуть командиру «Владимира», что ему придется взять на довольствие столько-то лишних человек. Но сколько именно?.. Четыре или пять? Считать председателя Гришку Болотова членом или не считать?

С оперативной точки зрения это было совершенно безразлично. Что же касается редакционных поправок, то уже тогда я относился к ним неприязненно.

Я молча поставил под предписанием свою нехитрую подпись.

Будь я, подобно многим современным мне литературным героям, одарен тонкой духовной организацией, на меня сразу нахлынуло бы недоброе предчувствие. Будь я еще проницательнее, я сумел бы угадать, что через восемь лет использую предписание и предчувствие для рассказа. В первом случае мне следовало бы с остановившимся взглядом задержать свое перо в чернильнице, во втором, усмехнувшись, покачать головой. Ни того, ни другого я не сделал, потому что был самым обыкновенным военмором комсостава, по тогдашней сетке, - если не ошибусь, пятнадцатого разряда.

Я просто промакнул свой автограф, посоветовал флаг-секретарю незамедлительно отнести предписание на подпись комиссару и ушел получать паек.

Команда «Владимира» с белыми уходить не хотела. К моменту эвакуации на пароходе внезапно испортились донки, шпиль, рулевая машина и еще что-то. Тогда офицерство выпило содержимое главного и путевого компасов, для приличия залило их морской водой, разложило кают-компанийское серебро по своим чемоданам и уехало.

Новый хозяин пришел в лице небритого и ошалевшего от усталости комиссара штаба Никиты Веткина, поблагодарил команду и, за отсутствием в городе свободных комнат, поселился в одной из пассажирских кают.

В штабе кто-то сострил, что именно из-за этого квартирному кризису Веткин упорно нанимался в ушедшую на «Владимире» комиссию Судоподъема. Никита искренне возмутился. Подъем затопленных судов был первым шагом по пути мирного строительства флота. На дне кроме военных кораблей лежали до зарезу нужные транспортеры и нефтевозы. Страна пробуждалась к новой жизни, а люди, поставленные командовать флотом, говорили глупости.

Конечно, он был прав, и, конечно, его назначили в комиссию. Кроме него и Болотова в комиссию вошли: флагманский минер Сейберт и бывший командир затопленного нефтевоза «Казбек» Вячеслав Чеховский.

Слабый ветер из города доносил отрывки духовой музыки, и солнце медленно садилось в расплавленное море. Все машинистки обоих штабов и управления порта, наверное, уже гуляли на приморском бульваре, но командир «Владимира», его тезка, Володя Апостолиди, на берег не собирался.

В нагрудном кармане его кителя лежало предписание, а грудь расширялась от командирской гордости. Съёмка с якоря была назначена на двадцать два часа, приказания старшему помощнику, штурману и механику были отданы своевременно, из трубы валил густой, пахнущий кислыми щами дым, и рулевые на мостике до нестерпимого блеска начищали оба компаса. Всё было в очевидном порядке, и теперь можно было

думать о великолепном будущем: о миноносцах, поднятых со дна морского, и о том, как отлично будет ими командовать.

Володя степенно прохаживался по спардеку вверенного ему корабля. Предстоящий поход был началом необычайной карьеры, а первое командование ощущалось как первая любовь. Он еще не успел остыть, но успел понять, что дело командира — дело хозяина дома, скучное, женатое дело: мелкие заботы о материальной части корабля и беспокойство о не внушающем доверия поведении штурмана.

Я знаю, что на военной службе извиняться не полагается. Моего читателя, который мне мыслится строгим как командир Балтийского флотского экипажа, я не прошу снизойти к молодости Володи Апостолиди, не проследившего за выполнением своих приказаний. Я только напоминаю, что он всего лишь три неполных дня своей жизни командовал кораблем.

4

До самого горизонта море лежало совершенно гладким и совершенно синим. Машины работали ровно и уверенно, картушка компаса спокойно лежала на курсе, и жизнь была великолепной. Но даже самая великолепная жизнь иногда внезапно обнаруживает свои темные стороны.

— Вахтенный! — рассердился командир. — Кто остался за бортом швабру? Что это за порядки на военном корабле?!

Сейберт, стоявший рядом, одобрительно кивнул головой:

— Так его, Володечка! Вставь ему фитиль! Расправься с ним по всей строгости морских законов! Покажи, что ты командир!

Володя широко открыл глаза. Он никогда не мог понять, каким тоном нужно отвечать Сейберту. На этот раз он вдруг решил рассердиться:

— Я лучше тебе покажу, что я командир. Убирайся с мостика и не путайся под ногами!

— Есть, есть. — И Сейберт, отряхиваясь, сбежал на спардек.

Володе хотелось, чтобы все видели, как он удачно поддержал свой престиж, но вахтенный начальник

и сигнальщик зачем-то ушли в рубку, рулевой не оторвал сонных глаз от картушки, и море до самого горизонта было пусто. Командир стоял один в центре огромной сияющей вселенной и нуждался в обществе. Медленно спустившись с мостика, он прошел к сидевшей на плетеных креслах спардема комиссии.

— Он меня уничтожил,— мрачно сказал Сейберт, указывая на него пальцем.

— Ты должен понимать...— снисходительно начал Володя.

— Правильно! — Сейберт вскочил. — Я понимаю... Граждане, знаете ли вы, почему он такой гордый?

— Не знаем,— ответил Веткин.

— Его предками были те самые героические балаклавские греки, которые не испугались гнусного деспота Николая Первого. Он крикнул их батальону: «Здорово, ребята!» — а они не ответили. Они были не ребятами, а капитанами — так они ему и сказали. Они командовали шлюпками, а Володечка уже капитанствует целым пароходом.

— У него капитанская походка,— поддержал Болотов.

Володя откашлялся и ушел. Он кипел негодованием против легкомысленной комиссии Судоподъема, но, уважая в ней начальство, высказаться не решился.

Может, лучше было бы, если б он решился, и наверное было бы лучше, если бы Шурка Сейберт его не обидел. Сколько раз писатели доказывали своим героям, а заодно и посторонним людям, что ничтожные причины могут иметь самые неприятные последствия.

Володя вернулся на мостик. На мостике член комиссии Вячеслав Казимирович Чеховский разводил руками.

— Странное дело. — Он говорил пришепetyвая, и Володя от его голоса стиснул зубы.

— То есть?

— Рулевой у вас катается на курсе, а картушка путевого компаса стоит на месте. Взгляните на кильватерную струю!

Володя тяжело задышал. Дальше терпеть он не собирался:

— Если я нахожусь в оперативном подчинении у председателя комиссии Судоподъема, то это еще не

значит, что всякие члены комиссии могут вмешиваться в управление моим кораблем!

Вячеслав Казимирович растерялся:

— Позвольте, позвольте...

— Не имею права позволять. Вы сами командовали кораблем и должны понимать, что это не годится. Будьте любезны уйти с мостика.

Бормоча и размахивая руками, белый от волнения, Вячеслав Казимирович повернулся к трапу.

— Избиение младенцев, — сказал Сейберт, увидев маленькую фигуру Чеховского, вприпрыжку бежавшего к двери.

— Неистовствует, — подтвердил Болотов, кивнув в сторону мостика.

На мостике стоял темный командир.

Черт дернул штаб навязать ему на шею собачью комиссию! Неизвестно, зачем он нанялся на поганый пароход, на вонючую извозчичью профессию, и теперь должен служить, как пудель! На всякий случай он взглянул на кильватерную струю. Она была прямой как струна, и он пожал плечами.

5

Впечатлительность была источником всех мучений Вячеслава Казимировича. Когда-то она помогла ему после мобилизации с коммерческого флота сразу проникнуться воинским духом, а потом, обратившись против него, испортила ему жизнь. Став насквозь военным человеком, он не мог сделать военной карьеры. Ни разу за всю свою службу он не плавал на настоящем военном корабле, ни разу за обе войны не видел на горизонте дымок противника и не мог доказать свою храбрость.

Впечатлительность и наружность... Разве так к нему относились бы, будь он полновесным мужчиной? Разве посмел бы какой-нибудь мальчишка говорить с ним таким тоном, как этот Апостолиди?

— Уйду, — сказал он, — в запас.

Никто не заинтересовался, почему он хочет уходить в запас. Пришлось продолжать самому:

— Никакого дела не будет. Война кончилась, а новобранцев обучать я не собираюсь. Пусть их кто-нибудь другой дрессирует. Я уйду на землечерпалки — там

больше плавания, чем на всем нашем знаменитом флоте.

— Увлекаетесь романтикой и пьете крепкий чай,— отозвался Сейберт.— От всего этого портятся нервы. Дела на флоте хватит. Я останусь.

— Хватит,— согласился Болотов.

— А людей подходящих мало,— заметил Веткин.

Вячеслав Казимирович рассвирепел:

— Не знаю, подходящий я или нет. Я военный человек и другим не стану. Или настоящая война, или землечерпалки. Играть в солдатики я не собираюсь.

Может быть, его взгляды и не были столь крайними, но после инцидента с Володей Апостолиди ему нужно было каким угодно способом восстановить свое душевное равновесие.

— Романтика и крепкий чай! Какого черта вам хочется драться? — Сейберт горестно покачал головой.— Рвется в бой и собирается пролить моря крови!

— Занятно,— тихо сказал Болотов.

— Позвольте вас спросить, что именно кажется вам занятным? — Вячеслав Казимирович был взбешен до последней степени.

Болотов неожиданно смутился:

— Я не о вас, Чеховский. Я нечаянно вспомнил, как один англичанин отговаривал меня воевать.

— Англичанин? — удивился Веткин.

— Его звали Пирс, и я его встретил на Мурмане. Ему надоела империалистическая война.

— А тебе — гражданская?

— Я очень рад, что она кончилась,— просто ответил Болотов.

— Совершенно напрасно,— фыркнул Вячеслав Казимирович.

— Граждане! — точно с трибуны пронзительно закричал Сейберт.— Прекратите бессельный спор и передайте мне чайник. Кто вам сказал, что война кончилась? Она только начинается.

В наступившем молчании стало слышно, как за открытыми окнами, шипя, плыла темнота. Сколько лет подряд эта темнота таила в себе неприятные возможности, и теперь никак не удавалось привыкнуть к тому, что это всего лишь южная ночь. Звезды, как прежде, выглядели двусмысленно и, как прежде, давали недостаточное освещение. В любой момент из темноты

мог вырваться ослепительный прожектор, и за ним...

— Боевая тревога! — вдруг прокричал откуда-то сверху голос Апостолиди. — Отделение с винтовками, на полубак! — И два раза отзвенел телеграф, давая в машину «самый полный».

6

— Что ты тут делаешь? — удивился Сейберт. — Почему не заучаешься?

— Удрал, вроде как на фронт, — ответил Демин. — В Новороссийске попал на катер и теперь болтаюсь. Осенью вернусь в училище.

— Как Иришка и детишки?

Даже в темноте было заметно, что Демин покраснел.

— Мальчик, — сказал он.

— Так тебе и надо. Поздравляю! — И Сейберт толкнул его в плечо.

С правого борта в море лежал низкий силуэт истребителя. Тот самый силуэт, из-за которого Володя Апостолиди привел в полную боевую готовность единственное вооружение своего корабля: шесть трехлинейных винтовок. К этому силуэту и обратился Володя, когда наконец обрел дар слова.

— Что же это такое?

Ответил Демин:

— Истребитель «Бесстрашный». Я им командую.

Володя резко повернулся на голос. На полубаке молчаливым укором стояли фигуры с винтовками.

— Но что вы здесь делаете?

— Гуляем в дозоре. Вышли из Керчи и когда-нибудь вернемся туда же. А вы как сюда попали?

Володя с усилием выпрямился. Теперь нужно было говорить резко и решительно, иначе он перестанет быть командиром:

— Как видите, идем на Новороссийск.

— Ничего не вижу. Вы милях в тридцати южнее курса.

Володя схватился за поручень. Это было совершенно невероятно. Очевидно, над ним издевались. Что ответить? Как осадить?

— Плохо считали, товарищ! Не иначе как ваш ист-

ребитель ходит на спирту.—Отмахнул рукой и быстро ушел.

— Ошалел? — вполголоса спросил Демин.

— Вроде,— ответил Болотов.— А ты уверен насчет нашего курса?

Демин на минуту задумался.

— Похоже, что так, однако точно не скажу. Мы два дня без берегов, а на катерах штурманство ровненькое. Компас скачет, мотористы меняют обороты...

— Значит, не на спирту ходишь? — поинтересовался Сейберт.

— На бензине. В Керчи его хватает.

— Керчь прогрессирует. При мне там просто ничего не было.

— А Леночка Кудрявцева?

— Замолчи, молодой дурак. Леночка — небесное создание, и сердце мое обливается кровью при мысли, что она от меня оторвана, беззащитна и встречается с такой шантрапой, как ты. Идем пить чай.

7

«Шурка, друг, я с тобой не согласен.

Документальный метод великолепен, но необязателен и неудобен. Кроме того, он мне надоел. Сейчас нет журналов, не набитых до отказа фактами и автобиографиями, нет людей, не занятых писанием человеческих документов. Я не сомневаюсь в их праве на это, но полагал бы необходимым ограничить их вредную деятельность.

Они врут лучше любого беллетриста, поэтому я предпочитаю заниматься откровенной перестановкой материала и не претендую на историческую точность.

Кавалерия атаковала Санькин миноносец, а не твой, на нижнем плесе, а не на среднем, и годом позже, но этот бой мне нужно было связать с походом по Маринской системе — достаточно длинным и скучным, чтобы позволить его участникам заняться перестройкой своих мировоззрений. Дуэль небезызвестного тебе Пупки по стилю подошла к Мурману, и я перенес ее с Волги.

Иные подмены были вызваны соображениями стиля. Осетров мы тралили вместе, но себя я не ввел, чтобы не ломать жанра. Иные — соображениями прили-

чия: женить героя в конце книги, по-моему, непристойно, и я скрыл твой брак от читателя.

Так и скажи Марусе — пусть она тебя не ревнует к вымышленной керченской Леночке.

Факты неудобны: в начале этого рассказа ты обещал до конца дней своих служить на флоте, а сейчас делаешь дырки на Турксибе. Как я объясню читателю твое непостоянство, если он уже знает, что ты восемь лет женат?

На этом кончаю. Автору бывает полезно поговорить со своим героем, но заговариваться ему не следует.

Привет семейству от меня и Деминых. Ленька получил миноносец. Ирина была на юге, загорела и собирается тебе писать.

С.

Ф. С. На всякий случай имей в виду: все действующие лица настоящей книги целиком являются вымышленными. Это общепринятая, очень удобная английская формула».

8

Берега не было. Было быстро темневшее море, почти совсем темное небо и пустая линия дрожавшего в бинокле горизонта. У Володи холодели глаза и сводило пальцы. Почему не было берега?

По счислению он должен был открыться три часа тому назад... По счислению... Даже если ход был не десять, а девять, он мог опоздать только на два часа. Значит, курс... — И Володя ощутил приступ тошноты. Путевой компас действительно заставался, — это он сам видел.

Ветер короткими шквалами налетал с кормы, встряхивал пароход и, завивая мелкую рябь, летел вперед. От него звенел такелаж, громко шипела вода, и тревога становилась еще болезненней.

Снова горизонт в круглом поле бинокля. С каждым разом всё более расплывчатый и темный. Скоро его совсем не будет. Снова шквал с кормы. Ночью должно засвежет. Может, оно и к лучшему: берег откроется на слух по шуму прибоя.

Освещенная картушка лежала неподвижно, слишком неподвижно. Желтая и страшная, она упрямилась. Она не хотела служить. Володя нагнул к ней почти

вплотную, — неужели этот бурый налет был ржавчиной? Ведь в спирту... А что, если спирт выпили? — И сразу стало нестерпимо холодно.

Штурман тайком сдал в порт главный компас. Как он посмел? Что-то болтал про ржавчину... Кто это сделал? Когда?

— Штурмана на мостик!

— Есть штурмана на мостик! — Неужели в голосе вахтенного была усмешка?

Володя ощутил внезапный прилив силы. Всё стало ясным: штурман не доложил про компас, потому что был виноват, и запутался в астрономии, потому что был пьян.

— Есть, Владимир Константинович? — виновато спросил штурман.

Володя взял его за плечо и отвел в штурманскую рубку.

— Кто выпил компасы? — И в упор взглянул ему в глаза.

— Я тоже думаю... тоже думал, Владимир Константинович... только я не знаю.

Компасы выпил не он. Такая тля не посмела бы. Но как же он определил место корабля в море?

— Вы проверили свой Сомнер?

— Точно так. Теперь всё в порядке.., то есть не совсем в порядке, но все-таки. Я сперва забыл, что наш четырехдесятник ходит по ленинскому времени, на два часа вперед от среднего, а теперь взял поправку, и у меня вышло.

— Что вышло?

Штурман отвернулся.

— Что-то не так опять получилось, — и махнул рукой на юг. — Там, где-то у турецкого берега.

— Какого же черта...

— Не сердитесь, Владимир Константинович... Виноват секстан... мы, то есть я, как-то баловались и кололи алидадой сахар, а теперь я боюсь... — Штурман действительно боялся. Лицо его стало серым, и голос срывался. — Только, ради бога, не говорите комиссару.

Володя опустил глаза. По белой карте тонкой карандашной прямой шла прокладка. Она никуда не привела.

— На каком основании вы назвались штурманом?

Штурман, чтобы устоять, обеими руками взялся за стол:

— ...До школы прапоров я учился в мореходке, только...

Рубка вздрогнула от налетевшего шквала, и Володя выпрямился. Это был конец, но кончать следовало прилично.

— Ступайте в свою каюту. До порта вы находитесь под домашним арестом... Я постараюсь, чтобы вас не расстреляли.

Штурман хотел ответить, но не смог, не хватало дыхания. Раньше чем он успел отправиться, дверь раскрылась, и в нее вошел комиссар корабля:

— Товарищ командир, нас просят к товарищу Болотову.

— Есть! — Володя молча пошел за комиссаром. Теперь нужно было прилично кончить. Самому всё исправить.

В каюте Болотова кроме него самого сидели Сейберт и Веткин. Володя спокойно подошел к столу и сел, положив фуражку на колени.

— Когда же мы придем в Новороссийск? — спросил Болотов.

— В таких случаях принято отвечать: своевременно или несколько позже.

— А ты ответь как-нибудь иначе, — посоветовал Сейберт.

— Видишь ли, — Сейберт был единственным строевым, и поэтому Володя обратился к нему, — я думаю, что мы придем несколько позже. По-видимому, наш пароход больше восьми узлов не печатает, а кроме того, мы взяли к югу, чтобы обойти минные поля. Ночью откроем берег и ляжем на норд. К утру придем.

Володин голос звучал совершенно естественно и спокойно. Болотов кивнул головой.

— Что ж ты говорил, что он до десяти ходит? — спросил еще не убежденный Веткин.

Володя пожал плечами:

— Поговори с механиком. Сам машинист — должен знать, в каком виде белые оставляют машины.

Это было правильно. С этим Веткин согласился.

— Смотри не задерживайся; чтоб к утру были на месте.

— Спокойной ночи, — ответил Володя, вставая.

Его собственная ночь спокойной не была. Он провёл её на мостике. Сколько раз гремел в его ушах отдаленный прибой, но всегда оставался только звон ветра. Сколько раз вставали в грезах нависшие глыбы смертельно близкого черного берега, но, раньше чем он успеваёл скомандовать поворот, берег расплывался в святающихся петлях зеленой пены.

— Это фосфоресцаия, — который раз поучал сигнальщик комиссара корабля, но комиссар не отвёчал: комиссар напряженно следил за командиром.

Потом по целым минутам Володя заставлял себя не смотреть и не слушать. От этого галлюцинации исчезали, и становилось легче. Можно было думать о том, что глубины у восточного берега очень велики и что даже вплотную к нему можно вывернуться.

Но сразу же вспоминалось: берега нет. Два часа тридцать минут, а берега всё нет.

— Товарищ командир... — тихо заговорил комиссар.

— Курс сорок, — скомандовал Володя и положил комиссару на плечо руку. — Склоняемся к северу. Минные поля прошли. Всё в порядке. — И комиссар поверил.

Напрасно поверил. Володя повернул только чтобы что-нибудь сделать.

Определения не было. Ни зрение, ни слух не могли вывести из шипящей черноты моря, похожего на святающийся мрамор. Шквал за шквалом прорывался сквозь пустоту, хлопья зеленого огня падали с неба и растекались по лицу холодной пеной.

Кончатъ следовало прилично. Самому полной ценой платить за свои ошибки.

9

Рассвело сразу, и сразу на рассвете встал двухтрубный крейсер. Яхтенный нос, высокий полубак, срезанная грот-мачта — англичанин типа «С».

— На якоре стоит, — сказал Сейберт. — Под самым бережком. Кажется, спит.

— Пицунда. — И Чеховский показал на голубой в тумане мыс. — Вот куда зашли!

— Лево на борт! — скомандовал Володя, но англичанин сразу проснулся.

По носу, разбивая воду, проскочил снаряд, и на рее крейсера заполоскался сигнал.

— Поднимите флаг! — сказал Болотов. На красный флаг англичанин ответил вторым снарядом. Тогда Болотов кивнул головой, и Володя застонорил машины.

Была полная тишина. Только ветер все выше и выше подымал свой голос.

— Эх! — Никита Веткин подошел к обвесу и, перегнувшись, плюнул за борт. — Привел в Англию!

Володя стиснул холодные ручки телеграфа. Теперь надо платить по счету, а в голову лезли глупые детские мысли. Почему-то вспомнилось: такими самыми английскими крейсерами он командовал в корпусе во время морской игры. Как их звали?

— Новый сигнал, — сказал Чеховский. — Дайте международный свод!

Огромный том лежал на руках у сигнальщика, и Чеховский его перелистывал. Наконец он встретил противника. Неужели только для того, чтобы ему сдаться? Думал он об этом совершенно спокойно и даже отвлеченно. Наконец он выпрямился:

— Сигнал: встать на якорь под кормой крейсера.

— Я не могу, — вдруг сказал Володя. — Не могу! — И ушел в штурманскую рубку.

Тогда Сейберт встал на машинный телеграф.

— Исполнить! — приказал Болотов.

Сейберт дал малый вперед и повернул вправо.

Мимо крейсера прошли почти вплотную. Он лежал серый, чистый и безучастный. Не сразу стало заметно, что двумя своими орудиями он следит за парходом.

Развернулись машинами и отдали якорь. Веткин прошел в штурманскую рубку, но сейчас же вернулся:

— Дурак, прострелил себе голову.

— От крейсера отваливает катер, — сказал Сейберт.

Разбивая волну, катер дугой направился под корму, а потом с подветра подошел к борту.

— Штормтрап! — приказал Сейберт.

По штормтрапу на палубу вылез английский офицер. У него были голубые круглые глаза. Он явно не знал, что ему делать, и стоял озираясь.

— Идите сюда! — по-английски крикнул Болотов.

— Есть, сэр! — козырнул англичанин. — Вы командуете парходом, сэр? — спросил он, выйдя на мостик.

— В чем дело? — Голос Болотова так звучал, что англичанин инстинктивно снова отдал честь.

— Сэр, мой командир приказал мне пригласить вас на крейсер для переговоров.

Болотов обернулся к Веткину:

— Мне придется с ним съездить. Командовать пароходом будет Сейберт.

— Есть. Посажай.

— Идем, — сказал Болотов по-английски.

— Вахтенный журнал, сэр, — намекнул англичанин, но Болотов, точно не слыша, спустился с мостика.

10

По белому стальному коридору, совсем такому же, как когда-то на «Кокрэне». Мимо часового у денежного ящика, — и люди те же, в таких же срезанных наискось фуражках.

— Войдите! — сказал голос из каюты командира, и Болотов вошел.

— Халло, Гришки!

— Здравствуйте, Пирс.

Но руки друг другу они не подали. Так было проще.

— Гришки, я рад, что мы с вами встретились.

— Я предпочел бы с вами не встречаться, Пирс.

Англичанин неопределенно помахал рукой.

— Садитесь! — И пододвинул Болотову сигары.

Болотов встал, вынул из кармана кисет и стал скручивать папироску. Скрутил, сдул с руки табачные крошки и закурил.

— Вас можно поздравить, Пирс, с производством в командеры.

— Можно и не поздравлять... А как ваше служебное продвижение?

— Я стал большевиком.

— Вы всегда были воинственны, мой друг.

За открытым полубортиком гудел отдаленный прибой, и с верхней палубы доносился мерный скрип. Что бы это могло быть? Как теперь повернется разговор и чем он кончится?

— Ваш табак, Гришки, приятно пахнет. Дайте мне попробовать.

Протягивая через стол свой кисет, Болотов вдруг

заметил, что Пирс не выбрит. Видимо, его в две минуты подняли с койки. Болотов улыбнулся. Он не спал всю ночь — это было лучше, чем не выспаться, — и он ощутил свое превосходство над Пирсом.

— Значит, молодой Гришки, мы с вами все-таки встретились... Что вы здесь делаете?

— А вы что здесь делаете?

Пирс закурил папиросу и сощурился:

— Ужасный вы нахал, Грегори Болотов. Я взял вас в плен — и вы же задаете мне неудобные вопросы... Извольте: я здесь занимаюсь невмешательством во внутренние дела России, а потому собираюсь арестовать ваш пароход и куда-нибудь его отправить. Куда именно, еще не известно. Я запросил об этом по радио.

— Вы знаете, как называется такой захват?

Пирс кивнул:

— Знаю. Это называется пиратством. Но будем откровенны, мой юный друг. Мне могут нравиться большевики, но может не нравиться, что они всех быст. Я мирный человек.

— Ваши мирные средства убедительны.

— Я не уверен в том, что они убедительны, но других нет.

— Вы правы, Пирс.

Пирс откинулся на спинку кресла. С полузакрытыми глазами, темный и с проступающей бородой, он был похож на мертвеца. Живой в нем была только тонкая струйка дыма, тянущаяся из угла рта.

— Я смертельно хочу спать, — сказал он наконец. — У вас хороший табак, но плохая новая система. Она еще более жестокая и окостенелая, чем старая. Ее создали рабы, а бытие определяет сознание; кажется, так у вас говорят?

— В три года с должности судового штурмана вы дошли до командования крейсером. И это несмотря на огромные сокращения в составе вашего флота. Вы сделали блестящую карьеру. Бытие действительно определяет сознание. — Болотов встал. — Я больше не жалею, что мы встретились. Для меня это было неплохим повторением основ политграмоты. Прощайте.

— Куда вы торопитесь? — не вставая, удивился Пирс.

— На свое судно. Мне пора сниматься и следовать по назначению.

Пирс покачал головой:

— Вам рано сниматься. Если вы не будете себя примерно вести, я начну стрелять из шестидюймовых пушек.

— Как вам будет угодно, — Болотов повернулся и вышел.

— Вот они какие, — пробормотал Пирс. — Крепкие ребята.

Пирс взглянул в полупортик. В кабельтове за кормой раскачивался небольшой серый пароход. Такой разлетится от первого снаряда, — почему же он все-таки не испугался? На что он рассчитывает?

Болотов сам не знал, на что рассчитывает. Он стоял на трапе крейсера, и волна захлестнула его до колен, но он ее не заметил. Сниматься с якоря под огнем не стоило. Пока он держал себя правильно. Пирс ошалел и забыл его допросить. Но что делать дальше?

Ни он, ни Пирс не знали, что ветер по-своему собирается развязать сюжетный узел.

11

В полупортике промелькнул моторный катер. Он мелькнул неровно и бесшумно, как на экране. Гришка возвращался домой. Что будет в следующей части фильма? Вероятно, покажут съемку парохода с якоря, а потом потопление его артиллерийским огнем.

Пирс встал, протирая глаза. Всё это было похоже на бестолковый сон, но без всякого предупреждения перешло в страшный. В полупортик хлынула вода, и берег развернулся стремительной панорамой. Наверху за топотом ног последовал сухой и долгий треск.

Когда Пирс без фуражки выскочил на палубу, крейсер уже развернуло зашедшим ветром, сняло с якоря и несло на камни. Мимо сорванного с шлюпбалок и разбитого в щепы вельбота, мимо хватающихся за всё что попало, потерявших устойчивость людей, против ветра, твердого, как струя воды, — к мостику. В перерыве между двумя шквалами — воздушная яма. Пирс взметнул руками и грудью упал на палубу. Палуба дрожала — машины уже заработали.

Кто-то помог подняться, и сразу весь корпус крей-

сера простонал от короткого толчка. Второй толчок — легче и с другого борта.

— Сейчас остановимся, сэр! — прокричал вахтенный начальник. — Отдали второй якорь, сэр! — Ему ответил новый толчок, от которого машины встали.

Тогда начался дождь. Это не был дождь. Вода, свистя, летела сплошными массами. От нее море кругом корабля белело, как молоко, и с мостика не было видно кормы.

— Левый винт, сэр, — доложил согнувшийся механик.

— Якоря держат! — крикнул вахтенный начальник.

— Вода в рулевом отсеке, сэр.

Отдавая честь, Пирс приложил руку ко лбу. Когда он ее отнял, на ней была кровь.

12

Болотов как раз вовремя успел подняться на «Владимира». Английский катер отвалил и, завертевшись, пропал в белой пене. Крейсер развернулся и стал удаляться.

— Их несет на камни! — прокричал Сейберт.

Было видно, как крейсер отдал второй якорь. На мгновение по гребню волны пролетел катер, и сразу легла сплошная завеса ливня.

На мостике неожиданно появился Чеховский. Он тяжело дышал и, точно пловец, отплевывался водой.

— Нас дрейфует!

— На камни?

— Мимо... только дальше будут мины... старые поля... с войны.

На старых полях бывает меньше мин, чем на новых. Часть срывается с якорей, часть обрастает ракушкой и тонет, но часть остается. Все равно. Сейберт взял Болотова за локоть и вопросительно взглянул ему в глаза.

— Правильно, — ответил Болотов. — Рубим канат.

— Правильно, — поддержал Веткин и сам прошел на полубак.

— Мины! — пробормотал Чеховский. — Мины! — И развел руками.

На баке уже выбивали чеку из соединительной скобы.

В первую минуту пароход, вырвавшись, встал на дыбы, волна нависла, точно стеклянная, и всё остановилось. Потом корма широко занеслась, и сразу показалось, что шторм утих. По бортам неслись белые, неизвестно откуда появившиеся гребни, и оглушительно свистел непроницаемый ливень.

— Мины, — бормотал Чеховский. Он ощупью ходил по мостику и не мог найти себе места. Он не боялся, но ему было нехорошо. В серой кипящей воде стояли смертельные шары. Зачем он бодрился насчет войны? Чем плохи землечерпалки?

— Идите в штурманскую рубку, — посоветовал ему Сейберт.

Чеховский вздрогнул:

— Нельзя.

— Жаль мальчишку, — вспомнил Болотов.

— Чистка личного состава, — ответил Сейберт. — Попробуем закурить, Казимирыч. Мы пройдем.

Разве все последние годы они не шли с таким же головокружительным ветром по такому же огромному клокочущему морю! Они должны были дойти, и они дошли.

В ноль часов они отдали якорь в Новороссийске.

Правила совместного плавания

РАССКАЗ

1

— Это сплошное безобразие, — сказал помощник командира Клест.

Ельцов, вахтенный командир и заведующий кают-компанейским столом, промолчал. В таких случаях отвечать не приходится.

— Просто черт знает что, — продолжал Клест — вообще говоря, человек сдержанный, но в это утро доведенный до пределов своего терпения. — Постыдная халатность!

Обычай требует, чтобы заведующим кают-компанией выбирали младшего из судовых командиров. Ельцов в свое время подчинился обычаю и теперь нес неизбежные, по его мнению, последствия.

Усилием воли Клест сдержался и встал из-за стола:

— Ни шпрот, ни чайных стаканов, а с нами в поход идет командир дивизии. Превосходно! По возвращении с моря посидите на корабле, приведете дела в порядок.

Что означало: в Ленинград не поедете.

— Есть, — отвечал как всегда невозмутимый Ельцов.

Разговор этот, подобно многим другим, происходил в каюте помощника командира.

В штурманской каюте в то же самое время флагманский штурман Василевский беседовал с судовым штурманом Елисеевым. Василевский будто нечаянно задавал вопросы, Елисеев отвечал впопад, но сидел на койке красный и даже чуть вспотевший.

Не меньше волновался и ученик-радиист Семилякин, который обыскивал радиорубку и нигде не мог найти вольтметра на восемьсот вольт. Он твердо помнил, что вчера сам положил его на место — в правый ящик стола, но старшина радиист Козловский не хотел этому верить и, как впоследствии выяснилось, был прав.

Еще хуже обстояли дела в правой машине. Чертов турбовоздушный насос, из-за которого было столько мучений во всю кампанию, на последнем походе окончательно отказал.

За время стоянки его целиком перебрали и сейчас должны были дать пары и опробовать. А до съемки оставалось всего полчаса. Что, если опять какая-нибудь дрянь получится?

Старший механик Иван Кузьмич Овчинников вытер лицо стрижкой, выплюнул попавшую в рот нитку и приказал:

— Давайте!

Но труднее всего было самому командиру эскадренного миноносца «Бауман» Павлу Павловичу Рыбину. Флот под флагом наркома должен был идти через всю Балтику вплоть до шведских берегов и по дороге проводить всяческие учебно-боевые операции. А обстоятельства складывались неблагоприятно.

С утра было занятие с судовыми командирами — старая игра, в которой разложенные по кают-компа-нейскому столу спички, изображавшие миноносцы, перестраивались во всевозможные походные ордера. Артиллерист Цветков отвечал неуверенно. Что, если напутает на вахте?

Еще на занятии с внезапной яростью заболели зубы. Было трудно думать и почти невозможно говорить.

Барограф с ночи круто загнул свою кривую вниз, и с моря задул свежий норд-вест. Беспокоил турбовоздушный насос, и, как назло, по разным неладным причинам к походу на корабле осталось только двое рулевых.

Потом пришла нефтеналивная баржа «Наташа». Отдала якорь через якорный канат «Баумана» и заодно ободрала ему чуть не половину свежеекрашенного левого борта.

И тут же боцман каким-то непонятным образом ухитрился растянуть себе ногу и теперь еще ковылял по палубе.

Боцман! Нужнейший человек на съемке!

В каюту один за другим приходили люди, — все с неотложными делами. И никак не удавалось дописать письмо жене.

Оно лежало запрятанным под деловыми бумагами

на столе. Закончить и отослать его было совершенно необходимо, но физически невозможно.

И вовсе не помогали зубные капли, которые дал лекпом. Они только оставляли металлический привкус во рту.

Почти всё вышесказанное было отлично известно сидевшему в кают-компании «Баумана» командиру дивизии эсминцев Семену Александровичу Плетневу. Известно ему было и то, что морская служба вообще сопряжена с рядом мелких неприятностей, которые, однако, никакого влияния на выполнение боевых заданий не имеют.

Кроме того, он вполне справедливо считал «Баумана» одним из лучших своих кораблей, а потому не беспокоился и пил чай с печеньем.

И с ним пили чай: комиссар корабля Василий Лунин, прибывшие на поход два шефа-комсомольца, два кинооператора и я, исполнявший обязанности флаг-свя-зиста.

2

В одиннадцать часов двадцать минут сыграли большой сбор. Выстроили команду на полубаке и по борту и скомандовали: «Вольно!»

День был как сумерки. Сквозь мелкий дождь слева, со стороны моря, смутно виднелись громоздкие силуэты линкоров. Поближе, в тусклой воде, лежали подводные лодки.

Флот четырьмя колоннами — заградители, тральщики, учебный отряд и все корабли дивизии эсминцев — стоял на якорях и ожидал прибытия наркома.

А над флотом шли почти черные рваные тучи и шквалами летела холодная водяная пыль. И ветер, налетая, гудел в оснастке наверху, и море шипело, закипая белой пеной.

— Красивая погода, — негромко сказал комиссар Лунин.

Командир корабля Рыбин мотнул головой. А потом приложил руку к ноющим зубам.

— Погода самая военно-морская, — ответил командир дивизии Плетнев и улыбнулся. — Ему везет на такую погоду: который раз к нам приезжает — почти всегда штормует. Хорошая проверка кораблям.

— Товарищ командир дивизии! — прокричал с мостика сигнальщик. — Эсминец под флагом наркома выходит из гавани.

— Есть! — отозвался Плетнев. — Товарищ помощник командира, действуйте.

— Кругом! — скомандовал Клест.

И обе шеренги повернулись лицом к борту. И снова наступила тишина.

Ветром корабли развернуло в строй уступа. На палубах и вдоль всего борта стояли ровные ряды белых фуражек и черных бушлатов. Флагман уже вышел из-за форта и шел, прямой и неторопливый.

Один за другим свистели захождение «Блюхер» и «Лассаль». Напротив на подводных лодках тоже звучали свистки и командиры брали под козырек. Пора было отдавать приветствие и «Бауману».

— Разрешите? — спросил Рыбин.

— Давайте, — отвечал Плетнев.

Рыбин поднял руку к фуражке, и сразу же на мостике вахтенный командир дал длинный свисток. И такой же длинной трелью отвечал уже поравнявшийся с «Бауманом» флагман.

На крыле его мостика стояла группа людей, и один из них был нарком. Хотелось бы знать: который именно? Хотелось, чтобы он обратил внимание на то, как превосходно выглядел эсминец «Бауман».

И командир Рыбин порадовался, что нарком проходит с правого борта. Конечно, «Бауман» не виноват в том, что «Наташа» испоганила ему левый, а все-таки было бы неприятно.

Пройдя строй кораблей, флагман должен был подойти к борту линкора «Октябрь», подать сходню и посадить командование. А при сегодняшнем ветре и течении это следовало делать у левого кормового среза. И, главное, без всякого шика — с малого хода.

Командир дивизии нахмурился. Флагманом командует совсем молодой Гришка Яхонтов. Что, если забудет, как он его учил, и сгоряча чего-нибудь не сообразит?

Клест тоже был неспокоен. В это утро его одолевали мелочи, и он не успел проверить радиорубку. И всё казалось ему неладным, особенно хозяйственная часть.

Старший механик Овчинников, напротив, был настроен благодушно. Сегодня он встречал наркома две-

надцатый раз, и его турбовоздушный насос работал как миленький.

И так же хорошо себя чувствовал комиссар Лунин. За всеми мелочами он видел главнейшее: отличное общее состояние корабля и веселые лица стоящих в строю.

Словом, всё происходило именно так, как должно было происходить. И наверху, на перекрытии мостика, один из кинооператоров, нагнувшись навстречу ветру, медленно вертел ручку своей камеры.

Наконец с мостика флагмана донеслись два коротких свистка.

— Отбой! — приказал Плетнев.

Рыбин опустил руку, и вахтенный командир «Баумана» ответил такими же короткими свистками. Парадная встреча закончилась.

— Командир, — сказал Плетнев, — имей в виду: снимем минут через десять, пятнадцать. — Потер подбородок и добавил: — Распускай команду. — А потом повернулся ко мне: — Пойдем, связист, на мостик.

И мы пошли на мостик смотреть, как Гришка Яхонтов на флагмане будет подходить к борту линкора. И увидели, как он, широко развернувшись, уверенно, не спеша подошел в точности куда полагалось.

Плетнев опустил бинокль только тогда, когда на грот-мачту линкора пополз новенький, ярко-красный на сером небе флаг с синими жезлами наркома.

— Всё в порядке, связист. Сейчас нам сигнал будет.

Действительно, почти сразу же за флагом на нижнем рее развернулись наши позывные и с ними короткий сигнал.

3

Миноносец всей тяжестью падал на волну. Зарывался в пену и кренился набок. Потом, выпрямившись, снова шел вверх и снова падал. С размаху хлестали крупные брызги, и встречный ветер был невыносим.

Сравнительно спокойно было только за прикрытием у рулевого. Там мы и стояли. Клест, оставшийся на мостике за командира корабля, флагманский штурман Василевский и я.

В широких стеклах, поднимаясь и опадая, шло навстречу свинцовое, с белыми прожилками море. С правого борта на голом камне стоял маяк, и по носу сквозь дымку на горизонте поднимались две вершины гористого острова. Разговаривать не хотелось.

Наконец сквозь внезапный прорыв в тучах вспыхнуло солнце, и сразу стало легче. Василевский взглянул на шедший слева линкор «Октябрь» и сказал:

— Вот что снять надо. Где операторы?

На темно-сером фоне сверкающий свежeweмытым бортом, разбрасывающий радужную пену, равнодушный к волне, огромный корабль был великолепен. Но Клест пожал плечами:

— Не выйдет. Операторы ублевались.

Он был не прав. Один оператор действительно вышел из строя. Но другого я только что сам видел в кают-компании веселым и даже пьющим чай.

— Внизу! — сказал я в переговорную трубу. — Кого-нибудь из кинооператоров просят на мостик.

Клест проявлял излишнюю на службе желчность, и его следовало пристыдить

— Есть! — ответила труба.

Но кинооператор не явился. И вскоре потухло солнце.

— Не вышло, товарищ флаг-связист! — усмехнулся Клест.

— Не вышло, — согласился я и по лицу Клеста увидел, что мое спокойствие ему не понравилось.

Еще меньше ему понравилось неожиданное появление оператора с камерой.

Раньше чем он до нас добрался, его с ног до головы окатило встречной волной. Согнувшись, он держался за поручень и говорил с трудом. Он в затемненной каюте колдовал со своими кассетами и раньше прийти не мог.

— Теперь вы не нужны, — резко начал Клест, но спохватился: — Видите ли, тут было солнце, а теперь его нет... — Подумал и совсем мягко закончил: — Идите отдыхать.

Оператор ушел, но разговор с ним вывел Клеста из равновесия. Он осмотрелся по сторонам, и ему показалось, что миноносец вышел вперед дальше, нежели ему следовало по походному ордеру.

— Вахтенный командир! — крикнул он, но стоявший

наверху, на дальномерном мостике, Ельцов не услышал. — Вахтенный командир! — повторил Клест, хватая Ельцова за ногу. Сбыводной рукой махнул в сторону флагманского линкора и прокричал: — Куда вы вылезли?

Ельцов не спеша проверил расстояние до флагмана дальномером и курсовой угол на него — пеленгатором главного компаса. Потом, нагнувшись, просунул голову под перекрытие и сказал:

— Находимся точно на своем месте.

Лицо у него было красное от ветра и воды, но, как всегда, безразличное, и это было хуже всего. Клест закурил губу и не знал, что отвечать. Уже собрался ответить: «Есть», признать себя неправым, однако не успел.

Выручил его внезапно появившийся сигнальщик Потемкин.

— Товарищ вахтенный командир! — закричал он чуть не прямо в ухо Ельцову. — На флагмане шар на средний!

По флагманскому кораблю равняется вся эскадра, а подъем шара означал уменьшение хода.

— Разрешите? — спросил Ельцов, берясь за машинный телеграф.

Клест улыбнулся, и улыбка его не предвещала ничего хорошего.

— Подождите. Что собираетесь давать?

— Средний ход.

— Так, — сказал Клест. — Не разрешаю.

Ельцов держался за ручки телеграфа и не понимал. Клест продолжал улыбаться. Еще немного выждав, вынул из кармана красную книжку. Это были «Правила совместного плавания», против которых согрешил Ельцов.

Он должен был прежде всего шаром показать идущим сзади кораблям, что уменьшает ход, и только потом браться за телеграф.

— Шар на средний! — скомандовал Клест. И, когда шар был поднят: — Теперь давайте в машину.

Ельцов, отзвонив телеграфом, хотел выпрямиться, но Клест его остановил. Разыскал в книжке соответствующий параграф и медленно и отдельно начал читать.

Согнувшийся Ельцов тяжело дышал. Рядом улыббался заинтересованный происходившим сигнальщик

Потемкин. Все это получалось неладно, и, кроме того, за разговором была забыта служба. Взяв Клеста под руку, я прервал его чтение:

— Давайте доложим командиру дивизии, что ход уменьшили.

Клест захлопнул книжку:

— Вахтенный командир, распорядитесь! — Ни на кого не глядя, круто повернулся, ушел вперед и стал рядом с рулевым.

Корабль с размаху врезался в волну, и брызги дробным треском ударили по брезенту и стеклам. В конце концов всё это были неизбежные в море случайности.

4

В огромной пустоте вокруг земного шара блуждают грозные трески, шелест и сухие шорохи, внезапный рев духового оркестра, заунывное, непонятное пение, тонкий свист интерференции, журчание автоматического телеграфа, выкрики на хриплом чужом языке и гулкий бой большого колокола. Далекие скрипки, снова удар грозного разряда и снова полный оркестровый гром.

И сквозь всё это смятение электромагнитных колебаний, сквозь дикую путаницу в наушниках, сквозь сплошной звон в ушах и голове в любую минуту может зазвучать знакомый голос — депеша или просто проверочный вызов, и хуже всего на свете было бы его пропустить.

— Костыль! Костыль! Говорит Крыжовник. (Это мимо. Это вызывают другой корабль.) Даю для проверки. Отвечайте, как меня слышите. Кончаю, кончаю, перехожу на прием.

Новый голос:

— Крыжовник! Крыжовник! Говорит Костыль.

Это опять мимо, но в любую минуту могут вызвать тебя, и тогда нужно отвечать сразу.

Значит, жди, а ждать — это самое трудное, потому что тускло горит лампочка, тускло блестит циферблат часов и стоит духота, такая духота, что голова плывет на размахах качки и всё тело немеет, а в наушниках всё та же кипящая каша, и до конца вахты осталось целых пятьдесят минут.

На столе журнал, и в журнале надпись: в таком-то часу вахту принял. И больше ничего. Решительно ничего. Хоть бы что-нибудь наконец случилось! Какое угодно происшествие!

И точно в ответ пришел голос:

— Кактус! Кактус!

Теперь началось происшествие, и Семилякин выпрямился. Теперь нужно было не прохлопать.

— Принимайте радиофонограмму!

И пошли сплошные цифры.

Что же, дело привычное. Но на одной из групп ударил длинный разряд. Шестнадцать ноль три или семнадцать ноль три?

Кончает, переходит на прием. Нужно переспросить. Положил карандаш и включил рубильник. В окнах передатчика, постепенно светлея, загорелись лампы, и в наушниках пошел ровный фон. Взглянул на антенный амперметр: всё в порядке.

Наклонился к микрофону, заговорил, но вдруг перестал слышать с приемника свой голос. И даже фон пропал.

Что такое? Лампы горят, а на амперметре — ноль. Почему? Что-то с передатчиком, но что именно? И как теперь переспросишь? Вот тебе и происшествие!

Семилякин почувствовал, что холодеет, и схватился за микрофонный шнур. «Какая глупость! Ведь дело совсем не в микрофоне». Вспомнил: под током может еще что-нибудь сгореть, и вырубил питание.

Потом сорвал со стены телефонную трубку и с размаху ударил ею по наушникам: забыл их снять. Наконец распутался.

— Центральная, — ответил телефон.

— Старшину!

— Старшину? А зачем он тебе нужен?

— Авария. — И Семилякин повесил трубку, машинально снова надел наушники, закрыл лицо руками и локтями оперся о стол.

Мог где-нибудь нарушиться контакт, могло пробить какую-нибудь изоляцию. В самом передатчике или внизу, в умформере питания, или по дороге, в кабелях и распределительном щите. Сколько времени потребуется на то, чтобы разыскать и привести в порядок? И как быть с депсшей?

Тихо звонила детекторная лампа, и далекий голос Ленинграда говорил: «Слушайте концерт граммофонной записи». А за переборкой гудел ветер и тяжелая волна билась о борт. И билось сердце. С такой силой, что не давало дышать.

Скрежеща, раскрылась стальная дверь. На пороге стоял бледный старшина радист Козловский:

— Что за авария?

— Вот, товарищ старшина.— И Семилякин протянул депешу.— А переспросить не вышло. Передатчик...

Больше Семилякин выговорить ничего не мог,

— Сопли распустил! Отойди!

Козловский оттолкнул Семилякина, ухватился за переговорную трубу:

— На мостике! — И, когда мостик ответил: — Рассыльного в радиофон!

— Она ж неправильно принята,— пытался протестовать Семилякин.— Как же так?

— Она ждать не может. У непонятных групп поставишь вопросительный знак, а там...

Но Семилякин поднял руку:

— Опять вызывают.

— Кто? — неожиданно тихо спросил Козловский.

— «Кострома». — И после небольшой паузы: — Дает для проверки.

— К черту!

Козловский снова вспылил, и снова его прервали. В раскрывшейся двери стоял рассыльный. С него текла вода, и он жмурится от света:

— Здорóво, радисты! Что новенького?

— Получай! — И Козловский протянул рассыльному синий листок.

Лицо у него при этом было такое, что рассыльный покачал головой:

— Эх, вы! В тепле живете, а зады холодные.— Махнул рукой и ушел.

Козловский даже задрожал, но сдержался. Потом все-таки обрушился на Семилякина:

— Рот закрой! И другой раз чтобы депеши сразу на мостик! Службу помнить надо!

Здесь следует отметить, что Козловский сам забыл службу. Приступил к ремонту передатчика, но вахтенному командиру о случившейся аварии не доложил.

Стаканы приходилось наливать неполными и блюдечки придерживать рукой.

— Ну, механик, — спросил командир дивизии Плетнев, — живешь?

— Живу, — ответил старший механик Овчинников. — Разрешите второй, — и протянул пустой стакан Клесту, по положению сидевшему на председательском месте.

— Положим, что четвертый, — заметил Клест, осторожно поднимая чайник.

— Какие же это стаканы? — запротестовал Овчинников. — Одно баловство.

— А как турбовоздушный? — всё еще балансируя чайником, спросил Клест.

— Наливай, наливай, — вмешался Плетнев. — Служить потом будешь.

— Турбовоздушный? — Овчинников улыбнулся: сегодня он мог гордиться своим свежотремонтированным турбовоздушным насосом. — Работает как часы.

Клест тоже улыбнулся, но невесело. После всего, что случилось на мостике, он чувствовал себя неладно. У него от ветра горело лицо, но ему казалось, что он краснеет от какой-то неловкости.

— Есть такая поговорка, — сказал он, — работает как часы: идет, идет и станет.

— Фу! — ответил Овчинников, ожегшись чаем.

— Вот язва, — усмехнулся Плетнев. — А ты его не слушай, механик. Подуй и пей на здоровье.

Наступила тишина. Глухо гудело за бортом море, уютно шипело паровое отопление, и позвякивали стаканы.

Хорошо пить чай, сменившись с ходовой вахты, изнутри прогреться после нестерпимого ветра, хлестких брызг и постоянного напряжения. Пить и знать, что вот допьешь — и сразу же на койку, где совсем чудесно.

— Да-а! — удовлетворенно произнес вахтенный командир Ельцов.

Значительно менее приятно пить, помня, что после чая нужно снова идти наверх, в темень и стужу.

— Да? — переспросил Клест, которому предстояло еще два часа стоять на мостике за командира корабля. — Может быть, вы уточните? Означает ли «да», что

нужно сперва давать уменьшение хода в машину, а потом поднимать шар, или наоборот?

— Это ты насчет чего? — поинтересовался Плетнев.

— Да вот, товарищ командир дивизии, у нас с Ельцовым на мостике спор вышел по поводу того, как ход уменьшать.

Плетнев потер подбородок, что у него было признаком озабоченности:

— Ну, вышел спор. Ты, надо думать, ему всё разъяснил. Зачем еще спорить?

Клест развел руками:

— Не знает человек самых элементарных правил совместного плавания. Надо же его учить.

— Говоришь, надо его учить, — медленно повторил Плетнев. Медленно и отдельно, видимо, уже думая дальше. — Слушай, я тебе еще два правила совместного плавания расскажу. Они тоже элементарные.

Остановился и снова потер подбородок:

— Так вот, первое: язвительность в разговорах на корабле ни к чему. Разве когда по службе кого погрызть надо... А служить за столом в кают-компании не полагается. Это второе правило.

Подумал и смягчил:

— Так ты, значит, не расстраивайся. Лучше мне чайку подлей.

Снова наступила тишина. Для Клеста душная и удручающая. Наконец облегчением пришел из переговорной трубы сдавленный голос:

— Внизу! Помощника командира на мостик к командиру корабля!

Клест встал.

На мостике были ветер, и ночь, и служба, но всё же было лучше, чем здесь. Чаю ему больше не хотелось.

Антенный амперметр стоял на ноле. Лампы горели исправно, и цилиндры анодов тлели вишневым накалом. Значит, в лампах и дальше, в контурах, должны были возникать колебания высокой частоты. И ровно ничего не происходило: амперметр стоял на ноле.

Всю изоляцию проверили, просмотрели все контакты, проследили целостность цепей, сменили полный комплект ламп. Спускались вниз к умформёру питания и притирали у него щетки. Поднимались наверх ощупью, в темноте, под сплошным ливнем брызг осматривали антенный ввод. Работали больше часа, сделали всё, что только было возможно; все равно — ноль.

От этого ноля темнело в глазах, руки и лоб покрывались испариной, колотилось сердце и хотелось умереть.

Конечно, об аварии вахтенному командиру так и не доложили.

Авария — позор, и, пока она не устранена, докладывать о ней нелегко. А если никак устранить ее не можешь, но не хочешь сдаваться? Снова и снова, с головы до хвоста и обратно, с хвоста до головы, идешь по той же схеме, опять включаешь питание, и опять ни к чему.

Где же тут вспомнить о докладе? Нет, я отнюдь не оправдываю старшину Козловского, но я его понимаю.

Сложная техника и напряженная вахта. Радиста нужно беречь. Освобождать от судовых работ и, по возможности, от общественных нагрузок.

От всего этого получается какая-то условная жизнь в огромной пустоте эфира и в тесной радиорубке. И безусловная оторванность от жизни своего корабля, чуть ли не кастовая замкнутость и вовсе неподходящее высокомерие по адресу всего прочего личного состава.

Подобная профессиональная болезнь, конечно, не обязательна и легко излечивается самыми простыми средствами политического воспитания. Козловский, однако, страдал самой острой ее формой и вдобавок в ту ночь, о которой я говорю, был совершенно потрясен аварией.

Когда рассыльный во второй раз пришел в рубку и спросил: «Чего еще наколдовали?» — он вскочил со стула, головой ударился о железный шкаф передатчика и не своим голосом закричал:

— Пошел вон!

— Тихо, — ответил рассыльный. — Принимай депешу. — Положил на стол голубой бланк и повернулся, чтобы уйти.

— Стой! — И Козловский снова сел. — Слушай (теперь никакого выхода не существовало), доложи вахтенному командиру...

Говорить было трудно, особенно из-за того, что только что кричал. Так трудно, что пришлось обеими руками взяться за стол.

— Что доложить? — спросил наконец рассыльный.

— Деша передана быть не может.. Авария передатчика...

Конечно, я осуждаю поведение Козловского. Осуждаю самым решительным образом. Но всё же я знаю, что чувствует человек после часа безуспешной борьбы со схемой радиопередатчика, а потому мне его жаль.

Пожалел его и рассыльный.

— Есть доложить, — ответил он, а потом, покачивая головой, добавил: — Ну и ну!

Но через две минуты в рубке появился Клест. Он пришел в таком состоянии, что даже приказание командира корабля выяснить и доложить, что за авария, показалось ему издевкой.

Почему только выяснить? Как будто он не может принять мер к ее устранению. Зачем не сказал прямо по телефону, а вызвал к себе наверх и говорил при всех?

Он стоял красный и задыхающийся от жары в кают-компании, от ветра на мостике и от воображаемой несправедливости всех на свете.

— Что тут такое? — И сразу же показал пальцем в угол. — Окурки?

— Верно, товарищ командир, — ответил Козловский. Наклонившись, взял окурки, вышел с ним из рубки и закрыл за собой дверь.

7

Стрекочет и дрожит в темноте освещенное кольцо гирокомпаса. Против курсовой черты цифра 270. Чистый вест, и рулевой, несмотря на волну, твердо лежит на курсе. Это хорошо.

На вахте Зинченко. Это тоже хорошо. За ним можно не смотреть. Можно опереться о машинный телеграф, поглубже заправить руки в рукава бушлата и закрыть глаза.

— Прямо по носу маяк! — издали прокричал сигнальщик.

— Товарищ командир корабля, — над самым ухом сказал Зинченко. — Эрансгрунд.

Опять хорошо. Вышли как следует, куда полагалось и вовремя.

Но плохого было тоже достаточно. Зубы и авария передатчика. И то, и другое — боль, наплывавшая волнами, муть, от которой невозможно было отвязаться, сплошная пакость.

Примерно через двадцать минут поворот, и дальше — дозор, и в любой момент — бой с крейсерами условного противника, а голова не действует и в ногах такая усталость, точно все сотни миль похода прошел пешком.

И передатчик тоже не действует.

— Командир! — позвал неожиданный голос комиссара Лунина.

— Да?

— Я к тебе насчет Клеста.

— А что он там делает?

Лунин вынул папироску, нагнулся и не спеша закурил.

— Сердится. Козловскому пять суток гауптвахты припаял.

Но Козловский командира корабля сейчас не интересовал:

— Как передатчик?

— Никак.

Шипя, разбилась на палубе невидимая в темноте волна, и коротко звякнули стекла перекрытия. Ночь, ветер и вода, тусклые вспышки маяка на горизонте. Всё по положению. Ничего особенного.

— Пойдет передатчик, — сказал наконец Лунин. — Ты не тревожься, — и локтем подтолкнул Рыбина. — Как зубы твои?

Но Рыбин не ответил.

— Беда мне с тобой, командир. Н^а, закуривай! — И Лунин протянул портсигар. — Лечить^{ся} тебе надо. Опытные врачи советуют полоскать рот спиртом и не сплевывать. Раз десять, пятнадцать прополощешь — как рукой снимет.

Рыбин улыбнулся, что и требовалось. Теперь можно было перейти к очередным делам.

— Ну вот, — сказал Лунин. — Я теперь к Клесту спущусь. Он там сердится, а это ни к чему. Передатчика все равно не напугает.

Высоко подбросил в ветер горящую папиросу и спус-

тился на крыло мостика — ощупью в темноте, осторожно держась на размахах качки. Мимо огромного, за-вернутого в тулуп и вцепившегося в поручни сигнальщика к трапу и по трапу вниз, а в спину ударило шквалом и брызгами, а на палубе скользко, и двери рубки заело, — пришлось рвануть, чтобы ее открыть.

Дальше штурманской рубки Лунин не пошел. Сел на диван, вынул из кармана платок и вытер лицо.

Дверь в радиофон стояла распахнутой, но входить туда не следовало. Там и без него было слишком тесно, а в случае чего помочь он мог и отсюда.

— Где же, наконец, вольтметр? — спросил раздраженный Клест. — Товарищ Семилякин, пять нарядов!

Лунин покачал головой и откинулся на спинку дивана. Клест зря дергал людей, но вмешиваться было ни к чему. Тоже получилось бы дерганье.

— Товарищ Козловский, схему!

Что ж, пусть разбирается. Только разберется ли? И почему здесь не было флагманского связиста? Очевидно, ему не доложили. Зря.

— Включить питание! — скомандовал Клест.

Лунин снял со стены телефонную трубку, прикрыл ее рукой и на коммутаторе соединился с каютой связиста:

— Слушай, дело есть. Это я, Лунин. Приходи в штурманскую рубку.

— Товарищ командир, — дрожащим голосом сказал Козловский, — это же двадцать раз проверено.

— Я приказываю! — ответил Клест.

— Скорее приходи, — добавил Лунин. — Тут кое-какой компот.

8

Я вошел в радиофон как раз в тот момент, когда Козловский обеими руками лез в открытый шкаф передатчика. Лампы горели полным накалом. Значит, лез он под током, но предупредить его я не успел.

Он вдруг откинулся назад, с размаху сел на палубу и головой ударился о ножку стола. Потом схватился за грудь: ему не хватало воздуха.

Клест одним рывком вырубил питание. Конечно, теперь это было уже ни к чему. Семилякин бросился

поднимать Козловского, но я его остановил. В таких случаях лучше сперва дать отдышаться.

На лбу у Козловского крупными каплями выступил пот, и руки у него тряслись так, что на них страшно было смотреть.

— Сыт я, товарищ командир,— тихо сказал он.— Сыт!

Он получил восемьсот вольт, а этого больше чем достаточно.

— Искусственное дыхание... — с трудом сказал Клест. Он был так же бледен, как Козловский, и почти так же сильно дрожал.

— Не нужно,— ответил я.— Лучше выйдите из рубки и прихватите с собой Семилякина.

Они вышли молча и не оглядываясь. Сразу же в дверях появился Лунин:

— Звать лекпома?

— Зови,— согласился я.

Но Козловский замотал головой и попытался встать. Почувствовал, что не может, и снова сел:

— Товарищ связист... Сетка... Сетка модулятора... Она меня ударила.

Я понял. На сетке высокому напряжению быть не полагалось. Произошло что-то неладное.

— Думаете, пробило конденсатор?

Говорить Козловскому, видимо, было очень трудно. Больше того, ему всё еще не легко было дышать. Все-таки он себя пересилил:

— Пробило, товарищ связист... Прикажете из центральной рубки взять запасной... две тысячи... и впасть в схему.

— Сидите тихо,— остановил я его.— Знаю сам.

Пальцы на его левой руке почернели от ожога, но он думал не о них, а о блокировочном конденсаторе сетки.

Это можно назвать геройством, однако ни сам он, ни я в тот момент ничего особого в этом не заметили. Нам нужно было пустить в ход передатчик.

И мы пустили его через десять минут.

— Ты понял? — спросил Лунин.

И Клест ответил:

— Понял.

— Тогда я тебе повторю, чтобы ты запомнил.

Лунин повернулся в кресле и выключил электрический чайник:

— Хочешь?

Но Клесту было не до чая:

— Спасибо, не нужно.

— Ну, тогда слушай. Плаваю я двадцатый год и знаю, что служба у нас не так чтобы очень простая. Однако служить мне легко.

Чтоб стакан не ходил на качке, Лунин зажал его между двумя книгами. Потом взялся за чайник:

— Отчего мне легко? Оттого, что знаю правила. Те самые правила совместного плавания, про которые командир дивизии говорил.

Поднял чайник и остановился:

— А может, все-таки выпьешь?

— Нет, товарищ комиссар, право, не надо.

— Не надо, говоришь. Так вот, ты не расстраивайся, а все-таки знай: это ты сегодня Козловского током расшиб. До того его закрутил, что он куда не надо залез.

Клест опустил голову. Ему было так тяжело, как еще никогда не было.

— Вот тебе сейчас трудно, — продолжал Лунин, всё еще держа чайник на весу. — И всегда будет трудно, если будешь так к людям относиться. — Внимательно взглянул на Клеста и сразу переменял тон: — Ладно. Брось. Ты еще молодой и научись. Давай все-таки чай пить.

Клест против воли улыбнулся и сказал:

— Ладно. Спасибо.

— Ну, держи, я тебе в кружку налью.

И Клест взял кружку.

Это очень старая морская традиция — такой разговор в сопровождении чая, и сколько раз мне самому и моим друзьям чай помогал совершенно так же, как только что помог Клесту.

Хвала ему за это.

Всё же служба не могла позволить, чтобы ошибка целого дня похода была искуплена мирным чаепитием в каюте комиссара.

Клест в этом не сомневался и нисколько не был удивлен, когда его вызвали к командиру дивизии.

— Ну, молодой,— сказал Плетнев,— тебя уже Лу-нин поучил, а теперь я добавлю.

Клест стоял как мог прямо, стараясь не раскачиваться.

— За то, что твой старшина не доложил тебе об аварии, ты дал ему пять суток. Это ты правильно сделал. А за то, что ты сам моему связисту о той же штуке не доложил, сколько тебе полагается?

Клест промолчал.

— Я полагаю, столько же. Как придешь в Кронштадт, так и сядешь.

— Есть, товарищ командир дивизии.

— Можешь быть свободным. Впрочем, подожди.

Плетнев встал и подошел вплотную к Клесту. Наказание наказанием, но в отношении Клеста у него были определенные планы, а по этим планам давать ему падать духом никак нельзя было.

— Слушай, Клест, по всем статьям ты отличный командир, только такта еще не хватает. Значит, будешь теперь над собой работать. Зимой дам тебе миноносец.

— Есть работать, товарищ командир,— ответил Клест.

За переборкой длинной трелью зазвенел звонок.

— Боевая тревога,— сказал Плетнев.— Врага увидели. Пойдем, молодой.

И они пошли делать свое дело.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Яков Чёркасский. «Моряки четырех морей, но одной революционной крови»</i>	3
АРСЕН ЛЮПЕН	8
«ДЖИГИТ»	74
РЕКА	145
ПОХОД «РЕВОЛЮЦИИ»	216
РАССВЕТ	232
ПРАВИЛА СОВМЕСТНОГО ПЛАВАНИЯ	250

Сергей Адамович Колбасьев

▷ ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Редактор А. Б. Тимофеев
Художественный редактор В. С. Жарков
Технический редактор Т. В. Кабанова
Корректор Р. А. Варушина

ИБ № 288

Сдано в набор 24.10.80. Подписано в печать 26.05.81.
Формат 84×108/32. Бумага типографская № 3. Гарни-
тура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28.
Уч.-изд. л. 14,71. Усл. кр.-отт. 14,49. Тираж 200 000 экз.
(1-й завод 1—120 000 экз.) Заказ 153. Цена 1 руб. 30 коп.
Мурманское книжное издательство, г. Мурманск, пр.
Ленина, 100. Сортавальская книжная типография
Управления по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли Совета Министров Карельской АССР,
г. Сортавала, ул. Карельская, 42